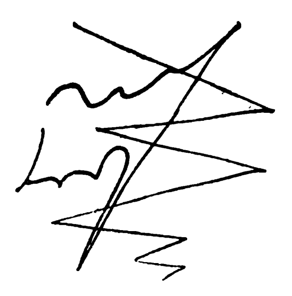
ПОБЕДА

И. ЕВДОКИМОВ

И. ЕВДОКИМОВ — ПОБЕДА

ПОБЕДА

ИВАН ЕВДОКИМОВ



МОСКОВСКОЕ
ТОВАРИЩЕСТВО
ПИСАТЕЛЕЙ
1938

Прилож. на отд. листе. Портрет Ивана Евдокимова работы художника В. Милашевского

Второе издание

Ред. Г. М. Шульц *Техред М. Чуванов*

Художник В. Милашевский

Интернациональная типография. Москва, ул. Скворцова-Степанова, 3. З. Т. № 1502. Сдано в набор 26. 9. 32 г. Подписано к печати 4.1.33 г. Статформат Б—6, 125×176. Печ. лист. $^1/_{32}$—$9^1/_2$. Печ. зн. в 1 п. л.—23760. Мособлит № 23166. Тираж 5200 экз.

1933 *МТП № 266/1*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

Ночи над Заозерьем стояли полные опасных предчувствий. Мужики тревожно прислушивались к растущим звукам весны. Они точно разучились понимать, что в полях тает снег, шурша ползет с гор и обваливается в оврагах. В темном ночном шуме было что-то недоброе и подозрительное. Недобрая была и тишина дней, когда вдруг по большакам перестали проезжать привычные земские тройки, несущие начальственные мундиры, шинели, кокарды и погоны. Мужики терпеливо затаились по деревням. Так они, напав на след, стерегли в лесах зверя. Мужики смутно угадывали, что где-то и что-то сломалось. Необыкновенность была уже в том, что из волостей незаметно скрывалось начальство. В других местах начальство присмирело и укладывалось в отъезд. Опрометью, неудержимо, словно сговорились, куда-то побежали налегке помещики. Барские вотчины обезлюдели. Мужики почувствовали даже стеснительный простор. Они не знали, как им воспользоваться столь чудесными превращениями жизни. Они осторожно приглядывались к большим дорогам, ведущим в заозерские города. Дороги были тихи и пустынны, как заброшенные проселки по волокам. Города — Загорск и Заозерск — молчали. Никто оттуда не шел, не ехал, не грозил, не командовал.

Так начались мартовские оттепели семнадцатого года. Они настигли внезапно, как настигает ночью спящую приречную деревушку полая вода.

Подобно спорому весеннему дождю, благодатно оживляющему чуть глянувшую из земли былинку, откуда ни взялась заозерская солдатня. Она шла и шла, ехала на подводах, скакала верхами, вела за собой пришлых. Точно за каждым бугром само собой вырастало по солдату. В деревни вваливались целые солдатские артели. Давно не было такого многолюдства в Заозерьи. Мужикам стало казаться, что островерхие еловые леса, которые запирали дальние заозерские окоемы, были совсем не лесами, а солдатскими сборищами. Они, подняв винтовочки, будто пережидали, покуда разбредутся по местам первые, — и тогда можно будет двинуться остальным. Бабы встречали гостей на околицах и дуро вопили.

Мужики вгустую толклись по волостным правлениям. Шумливые галдежные сходы так и не расходились спозаранок до сумерок. Веселые городские вести были невероятны и баснословны. Верховые гонцы поскакали в города и ошеломленно вернулись обратно, загоняя лошадей.

На Березники примчался Павел Евстигнеев в совершенно диковинном виде. В папаху у него было воткнуто какое-то красное перо, а грудь крест-накрест препоясана широченной красной лентой. Он дико ворвался в деревню, свистнул, ухнул, пронесся дважды из конца в конец и подкатил к волостному правлению. Натянув левой рукой поводья, так, что загнул горделиво лошадиную морду кверху, в правой руке он высоко держал тяжелое красное одеяло. Оно было прибито к увесистой палке и долженствовало изображать флаг. Весь как выкупанный в дорожной грязи, Павел окатил весенней жиделью мужиков у крыльца, захохотал

и взмахнул своим одеялом. Мужики хотя и осудили неподобающее Павлу обличье, но не могли не ответить на смех вестового. А тот захлебывался до слез и истошно кричал:

— Верно! Все верно, мужики! Ура-а! Ура-а!

Мужики дрогнули и поддержали, кинулись к глашатаю, стащили его со вспаренного коня, покачали и понесли на руках в дом.

— Индейца, индейца пымали! — пустил Платон Кутьков, благополучно приплясывая впереди.—Волоки его, братцы, с почетом, разведчика!

Павел утратил свой торжественный вид: потерял перо из папахи. Перо поймал на лету Сергей Еремин и водрузил на шапку-уханку, как горящий фитиль. Павел запутался в одеяле, а красная лента слезла ему на шею вроде кушака. Павел важно и смешливо надул щеки и плыл по воздуху, точно великан, переросший всех вдвое.

Минули первые недели. Мужики уверились и окрепли. До этого они были заняты только собой и, казалось, не замечали в волостях пришельцев. Казалось, они крепко запамятовали о прошлом и начали вести новое деревенское летоисчисление. Мужики мирно коптили самосадкой заозерское небо, бездельно, вразвалку восседали на завалинках. Мужики не могли наговориться друг с другом, наскучавшись за долгую солдатскую отлучку. Но вот кто-то очнулся и назвал недругов. Мужики словно поджидали нужное слово. Заозерье воспрянуло. Сразу понадобилась самогонка. Подбодрились — и принялись выпроваживать из волостей лишних и замешкавшихся заштатных особ.

Глава вторая

Земский начальник Леонид Григорьевич Саблин, едва началась заозерская неразбериха, вострепетал

неведомым ему ранее страхом. Он без оглядки покинул село Новленское и даже как следует не прикрыл дверей в своей канцелярии. Усадьба «Старое Куркино» была стародавняя, прадедовская, в парках, в прудах, в увялых цветниках. Она возвышалась на горке и летом была чуть видна из-за деревьев и плодоносных полей. Она будто захлебывалась во ржах: на пять окоемных верст плавилось саблинское ржаное золото. Там безвыездно и засел бегствующий барин. Он понадеялся на мужичью тихость в своем стане. Но все-таки нетерпеливо подгонял весну, чтобы травяное и хлебное произрастание прикрыло неуютную голость земли. Так, под прикрытием, в родной норке, представлялось, было надежнее дожидаться тишины.

Но мужики обманули. Уже поднимались злые и рывучие ветра. На заднем дворе усадьбы стояла каменная тысячелетняя баба. По заносчивой прихоти саблинской прабабушки ее выволокли из размытого берега лесосплавной речки Еленьги, ошпарили щелоком, вычистили конскими щетками, вымыли с мылом и заставили стоять против садовой террасы.

Из-за каменной бабы и глядел раз Саблин на недальнее ночное зарево. Оно, точно огромный гривастый зверь, высунуло язык и ползало в низине. Горело имение Воздвиженское. Саблин почувствовал угрозу. Смятенно и безвыходно забилось сердце. Огненное чудовище было предвестием неизбежного исхода. Саблин мгновенно содрогнулся от тоски. Беспощадное уныние завладело им. Как ясно теплившуюся звезду над головой, он отчетливо увидел белоколонное Воздвиженское, въездные обелиски, плотину с мраморными львами, изумрудные газоны перед домом, угловатые фонари с матовыми стеклами у парадного.

В эту растерянную минуту, теряя от волнения устойчивость в ногах, Саблин непроизвольно схватился за

каменную бабу. Сначала с недоумением, а потом с тишайшей усмешкой он вглядался в нее. Свет лампы из столовой осенял каменно-грубое и простодушно-наивное лицо. Внутри скопилась горечь. Он с дружеской нежностью и родственной лаской обнял камень. Каменная баба была свидетелем его радостного рождения и жалкого падения!

Вслед за воздвиженским пожаром произошли новые. Ночные зарева переходили с одного темного небесного поля на другое. Саблин издерганно метался по дому, грустил над любимыми вещами, горевал о них и не мог на них наглядеться. Он даже не подумал о себе самом. Вещи властительно и беспощадно обступили его. Без них его собственная участь была уже решена. Покуда вещи спокойно и деловито стояли на своих местах, были неприкосновенно своими, они как будто бы даже казались часто ненужными. Теперь их отнимали у него, — и этого нельзя было перенести.

Тут, в Старом Куркине, ершовские и молевские мужики вместе с приставшими к ним ближнедеревенскими и застигли Саблина. Середь дня, на подводах, верхами показались они в барских воротах.

Сыздавна помещались перед домом как барская затея две охранительных маленьких пушки. Саблинские дедушки и бабушки палили из них в почетные именинные дни. Мужики подъехали вплотную к пушкам. Платон Кутьков, Терехин и Подувалов кувырнули одну пушку в сторону. Пушка мешала удобно и широко входить. Мужики были с ружьями, топорами, вилами и дрекольем. С большой корявой дубиной на плече, с злой усмешкой вел мужиков грузный Павел Евстигнеев. За ним шагали — Енька с отчаянно задирчивым лицом и сумрачный Никандр. Остальные валили вразброд, кучей, целой деревней...

Саблин пережил роковые секунды. Он видел ружья,

топоры, вилы и колья. И все это страшное вооружение было приготовлено для него. В беспамятстве он кинулся бежать, только бы не замечать этих людей, не слышать их разбитой походки, не распознавать знакомых голосов. Он промчался анфиладой комнат, суетливо побегал в угловой, юркнул в боковушку, выглянул в окно и примерился... Но снизу какие-то бабы подставили ему навозные вилы, замахали руками и приглашали прыгать. Саблин с искаженным лицом ворвался в спальню — и полез под перину. До него доносились разъяренный шум и грохот. Мужики передвигали диваны, кресла, сбросили на пол платяной шкаф. Саблин понял это по звуку падения. Одновременно ему захотелось заслужить у мужиков милость и не подымать выше мужичьего гнева. Он приготовился вылезть — и не успел...

Вдруг Саблина давнули грубые и злые руки, кто-то навалился, а затем Саблин как бы оказался перед мужиками нагим. Павел и Никандр взялись за два конца перины и швырнули ее в угол, на стоявший там круглый туалетный столик. Висячее, прикрепленное к колонкам зеркало ударилось о стену, закачалось, но уцелело. По полу рассыпались всякие баночки, флакончики и безделушки. Уютный туалетный угол украшал спальню, делал ее какой-то человечески теплой, обжитой и нужной. Теперь он сразу преобразился. В своей разгромленности он напоминал свалку продажных вещей. Повсюду летал грязный пух. В спальне вспорхнула пыль. В стыде и сраме Саблин сел на кровати. И сразу Павел Евстигнеев громко и ясно приказал:

— Собирайся!

Саблин почувствовал оскорбительное презрение и гадливость в кучерском голосе Павла. Невзирая на зависимое свое положение, не подходящее для воспоми-

наний, Саблин признал в Павле неизменного кучера Николая Петровича Шеина, а не своего судью. Он даже припомнил, что Павел давно уже не служил в Юрове. Но это не изменяло его отношения: Павел был для него вечным кучером, который часто привозил Шеина в Старое Куркино. Саблин вспыхнул огнем сильнейшего возмущения. Поругание было непереносимо. И тотчас ему пришлось смириться, прикорнуть со своими запоздало барственными чувствами. Недовольный промедлением Саблина, Павел строже и настойчивее сказал:

— Собирайся! Ж-живо! Не вводи в соблазн!

Он молча и послушно поднялся. Павлу было уже трудно сдерживаться. Он задыхался.

— Не надо нам тебя!.. — пробормотал гадливо Павел.— Поезжай в город. Там с тобой управятся! Там тебя ждут, голубчика!

Саблина вывели и посадили в приготовленную телегу. Мужики шли так близко и тесно, что между его спиной и мужицкими грудями нельзя было просунуть пальца.

Он с недоумением прислушался к сдержанному разговору мужиков. Происходила какая-то заминка. Енька перебила шептунов и недовольно сказала:

— Нашли время препираться! Сдадим — и ворочаться! Я — в сторожихи. Бабы остаются — баба и надсмотрщик!

Мужики согласились. Поехали молча. По узкой дороге в низинку, на которую свернул многолошадный мужичий обоз, можно было достичь только железнодорожной станции Бережок. Саблин сообразил, куда его везли. В голове обоза вздымался на белой лошаденке Павел. Саблинская телега была посредине.

В полях пронзительно дуло с прадедовских земель. Ветренный день был бессолнечен и осенне остр. Саб-

лин ежился и приниженно поглядывал из-под фуражки с красным околышем на стоймя торчавшую у его плеча сырую и суковатую дубину смиреннейшего мужика Васьки-кузнеца. Этот недавно ковал саблинского коня Бедуина, поддакивал барину во всем и рассудительно осуждал заозерские перемены. Бок о бок возлежал дряхлеющий Платон Кутьков. В черном, обросшем морщинами кулаке он держал рогатые навозные вилы. Они отливали чистым блеском. Саблин жутко представил себе, как старик старательно начищал их о землю, прокалывал ее и всовывал в нее вилы до плечиков. Сзади еще сидели два незнакомых парня и тихонько над чем-то пересмеивались. Повозничала кругленькая Аннушка. Она часто привозила в Старое Куркино миглеевских сигов.

Мужики окружили Саблина на перроне зазябшим кружалом, смрадно и много курили, кидали под ноги цыгарки и растаптывали. Они в сердцах отгоняли любопытных.

— Земской, земской! В клетке! — слушал Саблин возбужденные довольные голоса.— Куды его? В тюрьму? Расстреливать? Заслуженный человек пуле! Чего рабочий день тратить,— под колесо бы его, братцы, а?! Хрусточек один — и нет человека! И... памятно на весь стан!

По платформе скакал воробей. Ветер раздувал его послушные перья. И тогда вместо воробья появлялся какой-то живой, подпрыгивающий серый комочек. Он был полон прожорливости и живости. Воробей жадно подбирал крошки, зерна и всякую мелкую шелуху. Он восторженно чирикал от сытной удачи. Казалось, он был в таком увлечении, что ничего и никого не видел. Но вот в него нацелился окурком Платон Кутьков и стрельнул. Воробей взвился с места и перелетел раньше, чем окурок, белея, смешно кувыльнулся в воздухе,

Мужики одобрительно засмеялись. Платон Кутьков тронул за плечо Саблина и показал на воробья:

— Гляди, тоже жить хочет! А ты, поди, его на жаркое потребляешь?

Саблин не поднимал глаз на мужичий частокол. Между черных и грязовитых мужичьих сапогов он внимательно следил за успокоенным воробьем. Тот радостно жил, неуловимо скакал, по-своему, по-воробьиному, был счастлив. И Саблину завистливо захотелось хотя бы этого воробьиного счастья. Ему захотелось, чтобы скорее пришел поезд,— и Саблин тогда мог бы остаться в нужном ему одиночестве.

При огнях, наконец, подошел поезд. Мужики глумились и складывались по копейкам на билет. Они купили билет третьего класса, довели Саблина до вагона, втолкнули — и всё сразу, глядя неотступно и угрожающе, черство закричали:

— Назад не вертайся! Убьем!

Саблин украдкой придерживал унылое сердце. Уже тронулся поезд, метнулись в окнах мужичьи вилы и пропали, а Саблин все еще слышал предупреждающие голоса, как гром колес под вагоном. Саблин с отвращением и ужасом зажмурился и не мог побороть озноба до города.

Глава третья

Мужики вернулись в Старое Куркино около полуночи и решили ожидать света. Они распоряжались в усадьбе, как в собственном хозяйстве. Весело, с прибаутками поставили лошадей на двор, заперли ворота и расположились на ночевку в барских флигелях. В главном доме ночевали одни бабы. Они держались тесной грудкой, заняли гостиную и вповалку улеглись на диванах, на сдвинутых креслах, прямо на полу.

Вера не заснула во всю ночь, гневно морщила лоб, прищуривала презрительно глаза, слушала, как ржали мужицкие кони и перекликалась мужицкая охрана под окнами. Вперемежку с этими звуками из недалекого леска, который продолжал куркинский парк, настойчиво ухал филин. Обыкновенный зов ночной птицы был еле слышен вчера, даже воспринимался он со сладостной тревогой, как неопровержимое весеннее стояние. Сегодня он приобретал другой, уныло многозначительный смысл. Пред Верой неотступно повторялся и повторялся протекший день. И за ночь она накопила в себе, как в закупоренном кипящем сосуде, безрассудную ярость.

Жажда отплаты и мести точно раскаляла ее двадцатилетнюю кровь. Вера пережила невиданное вторжение в ее жизнь. Мужики казались ей какими-то завоевателями-чужестранцами. Она должна была бороться с ними за свою куркинскую землю, за свой дом, парк, за опрокинутую пушку, неподвижно стоявшую на одном месте сто лет. Вера не знала, как бороться. Мужики, однако, были явно сильнее. Она даже привыкла считать их бесстрашными. Оттого, что мужики были сильнее, так малодушно и унизительно прятался от них отец, так страдальчески отбивалась во сне тонкими маленькими руками мать, так бессловесно стояла на террасе днем сама Вера и глядела на отцовскую позорную телегу. Та же мужичья сила непонятно притягивала ее к ночному окну, заставляла боязливо и осторожно отгибать сбоку штору и в незаметно узкую щелку томительно следить за красными стерегущими огоньками курильщиков. Та же мужичья сила невольно принуждала ее слушать ровный бабий храп, который приходил из гостиной. Двери были закрыты вплотную; внятный храп победительно преодолевал пре-

пятствия. Вера слушала; негодование и возмущение искажали ее лицо.

Мужики поднялись рано. Бабы еще раньше. Уверенно мужики принялись нагружать телеги барскими богатствами. Дружно и миролюбиво вычистили хлебный амбар. В конюшне добра на всех недостало. Мужики заторопились и обгоняли друг друга. У малосильных оттягивали шлеи, чересседельники, вожжи. В хозяйственном сарае тоже не поладили — и раскричались. Прозевавшие мужики беспокойно и бестолково бегали взад и вперед с вытаращенными голодными глазами. Ловкие и удачливые мужики привязывали к телегам быков и коров. Конный двор не тронули, так как на всех недостало коней. Бабы вынесли из дому мелкую и легкую мебель, посуду, белье. Они было потащили громоздкие диваны и кресла — и бросили. Бабы накинулись на стулья и старались распределить поровну. Захватившие лишнее не отдавали. У них тянули с телег. Они вырывали и садились на стулья.

Вера насилу сдерживалась. Минутами отвращение одолевало ее. Она готова была разразиться воплем обидных оскорблений. Вдруг ей стали противны и дом, и конюшни, и амбары. Ей прихотливо захотелось все это родное имущество уничтожить, чтобы мужикам ничего не досталось. Она осудила свою оплошность: имение надо было ночью поджечь. Воображение ее необузданно разыгралось. Вера даже забыла о сторожах.

Не в удаче оказался Платон Кутьков. Его обидели. По старости он не успел везде. Старик досадовал. Мужики уже кончали погрузку. Тогда старческий взор его и упал на каменную бабу. Мгновенно Платон Кутьков повеселел. Он забавно свистнул, покривлялся, для чего-то присел, взялся за бока и с отчаянным молодечеством стал хлестать бабу кнутом.

Мужики одобрили и присоединились к забаве.

Все старались до поту, до надсады. Летели оборванные кнуты, бабу били кнутовищами, поясами, ремнями. Под гвалт и смех вдруг Платон Кутьков обнял бабу и насмешливо взвыл:

— А мне хоть ее в пустую телегу!

Мужики поняли намек. Но озорства ради тотчас же пригнали кутьковского мерина, взялись за бабу и, кряхтя, навалили ее на единственный мешок зерна, который успел захватить старик.

— В головные его, в головные! — предложил первый кутьковский друг Терехин.

Платон Кутьков охотно и дружелюбно взобрался на телегу, тронул коня и поехал впереди.

Каменная баба, однако, скоро опостылела старику. Едва добрались до большой дороги и начали подыматься в березниковскую гору, кутьковская лошадь сдала. Мужики обступили телегу. Они долго потешались над Платоном, просившим вывалить бабу, потом облюбовали место, где бы поставить надоевшего седока, и втащили телегу на вершину. Тут каменная баба была высажена. Платон Кутьков довольно и облегченно обошел ее вокруг, насмешливо поклонился ей в пояс и с едцой торжественно завопил:

— Стой, дорожный болван, на месте! И... служи мужику!

Мужики прыснули. Они долго оглядывались на видневшееся каменное чучело. Всходило раннее весеннее солнце. Розовый луч, скользя, дотронулся до головы идола. Выдумка Платона Кутькова забавляла. Мужикам нравилось, что они поставили мужицкий памятник у всех на виду.

В то же время саблинские сородичи были не рады взошедшему солнцу. Оно беспощадно сияло над неприбранным сором от мужичьего постоя. Освобожденное

Старое Куркино укладывалось в отъезд. Закрывали ставни.

Глава четвертая

Заозерские мужики нагнали страх раньше, чем они тронулись из деревень. Сидячие мужики казались опаснее. Скоро они примелькались. Явственно обозначалось затишье. Гроза почернелась на небе и не разверзлась. Мужики слегка и милостиво пограбили усадьбы — и то не везде — кое-где их подпалили. Богобоязненно завернули в монастыри и прихватили там лишнее. Особенно же впрок пугнули монахов. Пронеслись по купеческим обиталищам и амбарам. Коекого побили из деревенских мироедов и перестали платить им долги.

Запоздалую ту весну мужики не пропустили. Они успели запахать помещичьи и монастырские земли. Время весеннего сева было неблагополучно. Плакала холодными ночными росами земля. Утренники отмякали только к полудню. Плохое, сорное зерно зябло и не давало роста. Тощая, исхудалая от недородов мужицкая земля и даже упитанная и обласканная уходом барская земля грозила не произрасти. Мужики невесело бродили в полях. Скоро кончилось и мужицкое безначалие. Опять заозерские города поднялись на мужика, — и оттуда раздался первый окрик.

Близко к середине лета, поутру, в Ершово наскакал солдатский конный отряд. Он застал мужиков врасплох. Мужики так заинтересованно разглядывали всадников, словно никак не могли понять, кто же такие к ним приехали. Но солдаты были строги и неразговорчивы. Они сразу взялись за дело. Мужики пошумели, попрепирались, помахали руками — и начали оглядываться за деревню. Бабы сразу расстроились, осыпали приезжих бранью и упреками, ярились и бес-

толково толклись на месте, а потом привычно всхлипнули и подняли вой. Догадливые мужики под шумок завернули за угол и кинулись наутек. Деревня была полным-полна дезертирами, — и выемка удалась.

Павел Евстигнеев не рассчитал. Он благополучно увернулся с глаз, юркнул за овины и бросился низовым лугом в Молево предупредить Никандра. Но у молевского отвода он оторопело наткнулся на облаву. Конные солдаты наехали на него. Они гнали большую кучу мужиков из ближних деревень. Павел увидал в толпе Никандра. Солдаты молча присоединили Павла к толпе. Енька управляла бабами, трусившими за мужиками. Она была неистово возбуждена и горячилась.

— Обра-а-довались! — в крайней ярости кричала она. — Нагря-я-нули! Пойма-а-ли! А кого поймали — не смыслите, черти! Самих себя поймали! Мало вас утюжили — все шероховатые! Будто горох от стены! Опять за старое! Хуже стражников налетели! Скакали бы, дурачье, по домам, ежели лошади даны! Все бы ускакали — и кончено! Наши пешие, ваши конные! А они тешатся, рыскают! Царские облавы на уме! В покорность мужиков приводят! Мужиков сызнова в угон! На говядину!

Всадники беспрекословно слушали. Негодование Еньки было впустую. Казалось, крик ее беспокоил одних коней. Они изредка норовили и подбрасывали седоков. В Ершове конные отряды соединились. Туда же стянулись отряды из Новленского, с Пучки, от Василия Великого. За каждой артелью дезертиров следовали угрюмые бабы.

На ершовской улице набралось народу, как в приходский праздник. Конные загнали мужиков в свободное кольцо и ревниво не подпускали к ним баб. Солдаты зорко и напряженно следили за густевшей вокруг толпой. И чем больше она прибавлялась, двигалась,

вопила, тем старательнее солдаты соблюдали расстояние между нею и собой.

Солдатское спокойствие не выдержало разноголосого натиска баб. На него действовало и явно враждебное многолюдство и тягостное безделье. Солдаты вынужденно кого-то поджидали, нетерпеливо поглядывали за околицу, перешептывались, ненужно теребили и поправляли уздечки.

Толпа понимала солдат, смелела и накалялась. А тот, кого поджидали, мешкал и не появлялся.

— Поди, всю округу обшарили! — зудила пылавшая Енька и сверкала неблекнувшими в годах зубами.

Она старалась выговаривать слова резче и раздельнее, чтобы они были слышны каждой бабе. И те вторили ей.

— Схватили!

— Потащили!

— Подкрались! Опомниться не дали! Опять на убой!

— В ловцах-то хорошо! И наши бы так послужили!

— Та же неволя, что и прежде!

— От свободы взятки гладки!

— Не додушили, дьяволов!

Платон Кутьков словно волновался и мучился за всех, прищуривал слезливые глаза и спрашивал у солдат:

— Молодцы, а молодцы, седлаете? Мужичка своего седлаете? Из оглобель выскочил, а?

Он твердил одно и то же и разжигал мужиков. Толпа вздыхала, шевелилась, бормотала.

— Не давать! — крикнул Подувалов.

— Отпуска-а-й! — требовал Терехин.

— Чего вы в рот воды набрали! Али самим охота в преисподнюю! — негодующе взвыла Настасья Евстигнеева.

— Мертвые! — презрительно бросила Енька.

В общем гуле, поднявшемся сразу по сю и по ту сторону всадников, ничего нельзя было разобрать.

— Бери их! — призывал старый Ивнягов.

— Не пальнут, не пальнут! — подбодрял Еремей Обухов. — Ноне мужик не прострельной! Ноне мужик мужика беречь должон!

— Раскрывай ворота! Освобождай! — повелительно подкатился Платон Кутьков к ближнему всаднику. — Не отпускаем! Так и докладай там, в городу.

Еще одно мгновение — и солдаты бы не устояли. Промежуток между ними и толпой убавился больше чем на половину. Круг сдавливался. Тогда молчаливые до сих пор и втайне согласные с мужиками солдаты вдруг рассердились и на мужичью непонятливость и на свою растерянность. Солдаты ожили. Ошеломленная толпа попятилась. Черные дыры винтовок преградили ей доступ за заповедную черту. Молоденький кавалерист, с каким-то совсем дитячьим взглядом, но в глубине его с ранней холодностью и озлоблением, выскочил вперед.

— Что вы прете! Дело тут не шуточное! Мы вам не на потеху прибыли! Не от царя дезертиров укрываете, а от революции! Свободные вы граждане... или попрежнему... мужики?

Противники померялись силами. Толпа начала тишеть и уступать. Бабы еще без умолку говорили, но уже между собой. Платон Кутьков уловил на миг даже полную тишину, нашелся и нехитро подсказал дезертирам:

— Ребята, а ноги у вас на своем месте?

Тотчас твердо и серьезно раздался голос Никандра:

— Убежим, дед, не сумлевайся!

Толпа развеселилась. Ухмыльнулись солдаты и не стали искать смельчака. И те и другие неловко пере-

минались. Тянулось скучное и беспокойное время. Молоденький кавалерист о чем-то задумался, что-то вспомнил и встряхнулся.

— Вы бы, — сказал он с укоризной бабам, — бросили языки портить, а собрали мужиков в дорогу. На ваше счастье и время есть.

Кавалерист завоевал баб. Они сначала огрызнулись, передразнили его, но кое-кто внял его рассудительности и ласково и одобрительно подмигнул ему. Одна за одной бабы понеслись по избам и потащили оттуда узелки, корзинки, одежу.

Бабы из других деревень всполошились и завидовали ершовским.

— Айда и вы, — подтрунил Платон Кутьков, — обождем вас!

Енька откликнулась:

— Дуры, о чем хлопочете! Да мужикам лишний груз — обуза, за дерево задевает. Порожняком скорее воротятся. Я так своему и заказала!

Толпа как будто совсем прояснела.

С долгим запозданием наконец появился подпрапорщик Знаменский. Он привел березниковских дезертиров. Его встретили так искоса и отчужденно, что ехидная улыбка, которая играла на его лице, больше не посмела показаться.

— Петька! Петька! Попа Никифора сын! — восклицали пораженные бабы. — Ах, негодяй! В офицерах сидит!

— Во-от кого ожида-а-ли! — протянул пренебрежительно и нехорошо Платон Кутьков.

Рослый и мордастый, с большой круглой головой, с какими-то выпученными глазами, победительно восседал на небольшой коренастой лошадке подпрапорщик. По его надуто-важному с фальшецой виду мужики чутко и обидчиво поняли, что единственной за-

ботой поповского сына было показать свою полную независимость от них, точно он приехал в незнакомую местность, где его никто не знал и где он сам никого не хотел знать. Платон Кутьков сразу и решительно определил к нему отношение. Он сильно и страстно закричал:

— Ты бы хоть постыдился в свое место казаться с бедой. Твои воины нас свинцовым горошком! Работников у нас вылавливают. Ты на своих мужиков солдатушек привел!

Так же думала вся толпа. Несдержанно и буйно заворочались мужики и бабы, забыли обо всем, кроме подпрапорщика, стеснили офицерскую лошадь и как бы сдавили ее.

Знаменский почуял немыслимую ненависть в мужицких голосах. Он дернул и взвил коня, растолкал народ и уставился на него с неменьшим ожесточением.

— Граждане, я требую от вас соблюдения революционного порядка! Временное правительство уполномочило меня...

Слова были некстати, пусты и выхолощены, как он сам.

— Поди-и-и-и ты, свистнул! — гаркнули мужики.

— Вот так уполномоченный! — презрительно вопил Платон Кутьков.— Вот так послали штучку! Поповского Петрушку в командиры! Других не сыскалось орлов!

Солдаты видели беспримерное посрамление своего начальства. Они растерялись, неловко ерзали на конях, прятали друг от друга довольные и смешливые глаза. Солдаты имели повод не вмешиваться в командирское недоразумение: приказа о помощи не было, мужики ругались, но не трогали подпрапорщика.

Негодование было обоюдно. С мужицкой стороны оно пылало, как огромный костер, и языки пламени

готовы были пожрать подпрапорщика. Он ненавидел исподтишка, бесславно и бессильно. Так, настигнутый сильным зверем звереныш стоит перед ним, трясется и скалит зубы. Подпрапорщик Знаменский сбивчиво и несуразно выкрикивал:

— Граждане, успокойтесь! Законный порядок! Кровью и железом! Временное правительство! Война до победного конца! Союзники! Дезертиры — изменники революции! На передовые позиции!

Никто его не слушал. Потный и красный оратор вдруг безнадежно глянул вдоль деревни, уловил сдержанное, насмешливое удовольствие на солдатских лицах, поперхнулся и оборвался... Спесивый вид исчез без остатка. На коне сидело жалкое, мокрое существо с хлопающими глазами. Оно должно было что-то делать. И оно вспомнило. Подпрапорщик Знаменский скомандовал в дорогу. Это вышло и удалось ему. Настало облегчение.

Мужики еще раз сделали неудачную попытку отбить дезертиров.

Шествие сопровождали ругательства и бабий плач. Командир ехал впереди с красной шеей. Он как будто безразлично оглядывался и следил за правильностью движения, но на лице его отражался бессильным раздражением всякий крик и попрек. Одни бабьи слезы были ему некоторой удовлетворяющей платой. И все же ему хотелось скорее освободиться от провожатых, мирно, покойно сидеть в седле, вернуть поколебленное солдатское уважение и больше его не утрачивать.

За деревенской околицей толпа поредела, но все же много народа не отставало. Точно потому и не отставали, что были ненасытимо враждебны подпрапорщику и хотели донять его, высказать ему начистоту всю свою злобу.

Недалекая дорога из Ершова прямо упиралась в

приходскую церковь Богородицы-на-Подоле. Тут стоял поповский дом. Миновать его было невозможно. Подпрапорщик Знаменский взглянул и тотчас с досадой понял, что совершил ошибку: не надо было скапливать отряды в Ершове. В куражливом и чванливом его сознании до того не возникало мысли о неизбежном столкновении с мужиками.

И действительно, у поповского дома снова заклокотали чувства. Тогда подпрапорщик с тревогой нашел еще одну совершенную им ошибку: он понадеялся на мужицкую понятливость. Ему не следовало совсем приезжать на родину. Мужики так бушевали, что он вынужден был из страха за отцовский дом остановиться. Старый поп Никифор долго улещал мужиков, молодок и баб и поправлял сыновью оплошность. Трудно, но обошлось: поп сидел в приходе сорок лет.

Дезертиров повели дальше, когда еще продолжался мужицкий спор с отцом Никифором. Горячность была уже ручная. Тут отстали все ругальщики. Подпрапорщик поспешил.

Павел, Никандр и Сергей шли дружно рядом, тихонько переговаривались и замышляли побег...

— — — — — — — — — — — — — — — —

Так началось. Мужиков теснили. В усадебных полях появились конные охранники с красными бантиками в петлицах. Потом принялись по деревням отбирать весеннюю мужичью поживу — барский и казенный скарб.

Прожорливая война пошатнулась — замерла в раздумчивости — и не кончилась. Армию били, как шубу, изъеденную молью. Она, избитая, нищая, вшивая, сыпная, разбегалась по голодным и одичавшим деревням.

Весенние мартовские оттепели подразнили и обма-

нули. Но заозерские мужики, подобно домашним медведям, которые отведали крови, уже скопом вышли на улицу из подполья. Заозерских мужиков загоняли обратно, старались им в ноздрю продеть хозяйское неласковое кольцо — и тщетно.

Заозерье, словно гигантский лежачий зверь с поднятой колючей шерстью, подрагивая и рыча от толчков, дожидалось своего времени.

Глава пятая

Они собрались как-то сразу, со всех сторон.

Каторжный загорский централ выпустил Яна Монстовича и Федора Столбова. По весенним тысячеверстным глухим дорогам в нетерпении на остановках вернулся из захолустной ссылки Петр Ворохобин. Не замедлил в Сибири Осташкин. Анохин и Букин были на месте. Сергей Гайгаров не усидел за границей. Кружными и самыми дальними путями, через враждебные государства и страны, меняя множество раз свой неприступный вид, он появился последним. Образовался губком.

Губкомское гнездо было малочисленно: семеро. Но семерка эта казалась огромной. Она всюду проникала, во все вмешивалась, нигде не опаздывала. В ней была непонятная стремительность. В ней предчувствовали опасную и злонамеренную силу. Ее боялись и ненавидели. Но на нее оглядывались в каждом деле — и без нее не начинали дела. К ней как будто перешли ключи от всего Заозерья. Она до поры до времени хранила их. И ее не смели трогать.

Загорский губком переживал сквозные дни. Ночей не было. Губкомцы, как бессменные ямщики, носились по Заозерью. И конные, и пешие, они были всегда вовремя и точно на месте. Они перестали понимать, как

можно было на свете не торопиться. Они знали только бессонную, напряженную и заполненную жизнь.

А главное — они отчетливо знали, чего хотели. И этим они отличались от всех других, запутанно искавших выхода. Они видели в жизни то, что казалось немыслимым. Пред ними сторонились. Семерку знали все.

— — — — — — — — — — — — — — — —

Знал ее и подпрапорщик Знаменский. В поле, под селом Кубенским, чтобы не собирать лишнего народа, он остановил усталый дезертирский отряд для привала. Предосторожность была неспроста. Во всех придорожных деревнях и селах, едва появлялся отряд, население поголовно вылезало на улицу. Обозленный ершовским натиском подпрапорщик Знаменский неприязненно называл любопытствующих бездельниками и зеваками. Но деревенское сочувствие к ведомым было столь нескрываемо очевидным, что приходилось опасаться новых затруднений в пути. Отряд провожали до отводов возмущенным шумом и свистом, невоздержными выкриками и угрозами, привычной и бессмертной бранью.

Солдаты понуро молчали, старались не замечать командира, глядели куда-то мимо него. Знаменскому неловко сиделось в седле. Он сознавал свое одиночество и оторванность. Единая связь скрепляла и солдат, и дезертиров, и свирепевших мужиков-провожатых. Они вели друг друга. Но это было явное притворство. Игра могла кончиться во всякое время. Офицерский конь не успел бы переступить, как солдаты слезли бы со своих коней, дезертиры не захотели бы итти дальше, а встречные деревенские согласно и дружелюбно смешались бы с ними.

И все это могло случиться без всякого участия Зна-

менского. Его самого могли отпустить, а могли и не отпустить. Подпрапорщик топорщился, непреклонно и безошибочно распоряжался — и тоже играл. Ему подчинялись, покуда хотели подчиняться. Он напоминал приставной нос, добровольно терпимый.

Под селом Кубенским губкомцы и наткнулись на Знаменского. Анохин, Монстович и Гайгаров издалека заметили стоянку.

— Вражеские силы, — пошутил Гайгаров, — кого-то конвоируют!

Анохин не разделил гайгаровского спокойствия и равнодушия. Он пристально разглядел становище, неожиданно для товарищей горько охнул, беспокойно шевельнулся и так же неожиданно для Гайгарова укорил его:

— Ты, Гайгаров, не был на фронте!

Тот с недоумением ждал продолжения.

— Это же ведут дезертиров! — воскликнул с болью Анохин. — Да. Больше некого: они!

Товарищи почувствовали волнение и скорбь в анохинских восклицаниях. Тут же он возбужденно начал вспоминать о фронте.

— Я был! Я знаю! Ты, Гайгаров, не поймешь!

Гайгаров не стал оспаривать Анохина. Он считал бесполезным и ненужным доказывать ему противоположное. Он всегда уклонялся от спора с горячившимися товарищами и не отвергал упреков. Но он понял, кого так страстно клеймил Анохин. Гайгаров, однако, не проявил никакого внешнего участия. Он даже с ленцой сказал:

— Все к лучшему. Пусть ведут. Они будут сильнее ненавидеть, а следовательно... и лучше драться. Это хорошо и... полезно для будущего.

Анохин иногда, особенно после таких небрежно и бесстрастно проговоренных слов, испытывал к Гайга-

рову неприятный душевный холод. Гайгаров представлялся ему черствым. В нем как будто отсутствовали всякое человеческое тепло и задушевность. Он их не умел ценить. Он искал во всем одну выгоду и пользу, как скопидомный и расчетливый делец.

Но Анохин вдруг с нежностью припомнил, что ни у кого из губкомцев не было такого затаенного и глубокого внимания ко всякому губкомскому делу, никто не был так вынослив, как Гайгаров. Он никогда не терялся, не отчаивался, не суетился. Он был одинаков и невозмутим при удачах и неудачах. Анохин невольно приглядывался тогда к Гайгарову и хотел быть на него похожим.

Анохин и сегодня испытал к Гайгарову минутное охлаждение, но увидал его белое, гладкое, почти чеканное лицо, сосредоточенное на чем-то до напряжения, и вернул свое расположение товарищу.

В молчании взяли невысокий пригорок и поровнялись с разбросанным привалом.

Подпрапорщик Знаменский прохаживался взад и вперед по лугу и насвистывал. Он не удосужился сначала обратить внимание на проезжающих. На дороге спутанно и вразброд стояли солдатские кони. В гуще губкомский тарантас полз мало заметным.

Внезапно слух подпрапорщика поразили громкие и радостные возгласы:

— Анохин! Аношка!

Подпрапорщик узнал Гайгарова и Монстовича. Анохин выпрыгнул из экипажа и подбежал к дезертирам. Тарантас остановился.

— Губошлепы! Дураки! — восторженно кричал Анохин.— Павел! Никандр! Серега! Опять влопались? Да ну же, други, давай лапы!

Удовольствие было общее. Мужики улыбались, здоровались с Анохиным, забыли свои страхи и необхо-

димую сдержанность в выражениях. Они любознательно косились на сидевших в тарантасе Гайгарова и Монстовича. Дружелюбные чувства распространялись и на них.

Подпрапорщик Знаменский на короткий срок находился в замешательстве. Он молча и остолбенело разглядывал свой расстроенный лагерь и туго соображал, что должен был предпринять. Постепенно в голове начало проясняться. Злая радость было возникла в сознании: большевики беззаконно ворвались в его табор и опрокинули его. Он мог воспользоваться большевистской ошибкой, задержать главных губкомцев и доставить их в город.

Знаменский на миг даже представил свое торжество. Он носил в себе затаенное ожесточение к большевикам. Дорожный случай давал ему большую удачу. Но тут же он совершил немыслимое попустительство. Он окинул невольным взглядом врага, довольных мужиков и сбившихся к большевистскому тарантасу солдат. Подпрапорщик Знаменский лишился мужества. И ему сразу не захотелось связываться с губкомцами.

Он крупно шагнул через дорогу к Анохину и с непреклонной видимостью, противоположной его подлинному душевному смятению, перебил и потребовал:

— Гражданин, прекратите разговоры с арестованными! Вас ждут!..

Он указал на тарантас. Офицерская решимость была замечена там. Гайгаров махнул Анохину рукой. Но тот с какой-то пронзительностью уперся на секунду в злые глаза подпрапорщика, уловил его пренебрежительный жест, вслушался в повелительно поднятый голос и разъярился. И глаза, и голос, и движение руки Знаменского напомнили ему старого фронтового офицера, а сам Анохин словно опять превращался в солдата.

Ненавистные эти воспоминания вызвали неизбежность столкновения. Анохина точно подбросило на месте.

— Ах ты... беспогонная сволочь! — так и хлынуло из него.

Солдаты суетливо потащили коней от тарантаса. Мужики замерли и затихли. Гайгаров и Монстович полезли вон...

Знаменский забыл все свои предусмотрительные расчеты. Сплошным кровавым пятном стало его лицо.

— Ма-арш! — загремел он вне себя, отстегнул пуговку на кобуре и выволок наган.— Убью!

Подпрапорщик наклонился вперед, вскинул — точно обрубок коровьей ноги — револьвер и навел... Мужики сразу сдали на шаг. Солдаты мгновенно вскочили в седла. Анохин, упорно не спуская глаз со Знаменского, старался вытащить из кармана пиджака браунинг. Иссиня-вороное дульце его наполовину вылезло — и дальше не подавалось. В одно летучее мгновение заминки он с остервенением рванул — и выдернул браунинг вместе с карманом.

Поединок, однако, не состоялся. Гайгаров встал грудью против Знаменского и заслонил товарища.

— Это ни к чему, гражданин офицер, — твердым и ровным, без всякой торопливости, тоном произнес Гайгаров, — лишние недоразумения! Мы лучше расстанемся без боев!

Монстович в свою очередь отобрал от Анохина браунинг, постоял, подумал, что-то сердито пробормотал, отошел в сторону и принялся с деловитой серьезностью освобождать оружие от смешных лоскутьев анохинского кармана.

Гайгаров закинул руки назад и оставался на месте. У него был самый будничный вид. Просто и ясно смотрели большие серые глаза с черными полосками ресниц, обычно бледно и замкнуто в решимости лицо,

полуоткрыты наивно губы. Он совершенно не замечал зева нагана. Подпрапорщик еще что-то хотел крикнуть, захлебнулся и начал трезветь.

— Не упорствуйте, — вежливо и настойчиво предупреждал Гайгаров, — давайте разойдемся!

Знаменский почувствовал освобождение. Предлагаемый выход казался и неожиданным и разумным.

Покуда подпрапорщик колебался, на губах Гайгарова тонко скользнула усмешка. Вслед за ней Знаменский изумленно испытал сильный толчок в руку; наган получил упор. Гайгаров закрыл дуло ладонью.

Точно одной огромной грудью вздохнули солдаты и мужики.

Лицо Анохина сверкнуло каким-то обаятельно стыдливым светом.

— Он уже не стреляет! — добавил уверенно и простодушно Гайгаров.

Эта гайгаровская находчивость разрядила взаимное клокотание ссоры. Противники отвернулись друг от друга. Всем стало легче. Подпрапорщик Знаменский в сердцах потянул к себе наган и убрал его. Тут наскакали замедлившие в нерешительности всадники. Теперь они готовы были проявить всяческое усердие, которого за минуту перед тем недоставало. Они как бы хотели оправдаться перед начальством во временном недружелюбии.

— Стройся! Что вы толчетесь — груда мала! — забушевал подпрапорщик.— Подымай... этих!

Он ткнул на мужиков. Все — и солдаты, и дезертиры, и большевики, и сам подпрапорщик — были словно в испарине, устали, поблекли и сгорбились. Знаменский с двух раз взобрался на лошадь. Губкомцы вяло усаживались в тарантас. Только тогда подпрапорщик более внимательно разглядел Яна Монстовича. Они обменялись продолжительным взглядом.

Подпрапорщик Знаменский сохранил в памяти из этой переклички глаз непривлекательный внешний образ Монстовича. Губкомец был непомерно высок. Лицо было у него узко и продолговато, как французская булка. Средняя размерами рыжая бороденка удлиняла его еще более. Обрезанная снизу, как по нитке, бороденка кидалась в глаза и своим нестерпимым цветом и в особенности какой-то подчеркнутостью подстрижки. В крайнем несоответствии находились маленькие плечи и широкий костлявый таз. Серый, в крупную клетку, пиджак был Монстовичу не впору. Точно пиджак сняли с другого человека — маленького и поджарого. Серые с зеленоватым отливом брюки надуто обхватывали уродливые мякоти.

Подпрапорщик Знаменский с гримасой заметил развороченные в рыжей бороде красные и жирные губы. Нескладная и даже смешная фигура Монстовича не обманула офицера. Он ярко увидел физические ошибки природы, но через них-то главным образом и догадался о серьезной и сокровенной жизни Монстовича, о его непримиримой к себе враждебности. Он, с внезапным холодком, подумал, что Монстович был опаснее других большевиков.

Село Кубенское разделило враждовавших противников. Одни по сю, другие по ту сторону, они перестали видеть друг друга.

Едва губкомский тарантас сдвинулся, Гайгаров сейчас же сказал:

— Надо погонять! Можем запоздать к месту!

По тому, как блаженно задумался Анохин, Гайгаров ждал неловких и ненужных разговоров. Он не выносил излияний. Опорожняемое по всякому поводу русское нутро претило ему. Гайгаров неприступно отверг анохинские попытки.

Глава шестая

Губкомский тарантас оказался более добротным. На березниковской горе, у подножья каменной бабы стояла собственная эсеровская пролетка. Пара распряженных лошадей пощипывала около идола подсохшую траву. Трое людей в белых коломенковых пиджаках, а четвертый — в красной рубахе — суетились вокруг сломанного экипажа.

На придорожной канаве схватилась за голову, раскачивалась из стороны в сторону нищая-юродивая и безустанно пела:

> **Ваня не был, Ваня не был, Ваня был...**
> **Ваня не был, Ваня не был, Ваня был...**

Мотив был приятен и плясуч. Юродивая доводила частоту его до невозможной убыстренности, задыхалась и кашляла. Тогда лохмотья ее содрогались, и странно, с подергиваниями тряслась голова. Нищая захлебывалась, показывала кому-то красный и толстый, как размоченный перец, язык и снова начинала свое.

Губкомцы неторопливо взбирались к вершине.

— Сам герр Слободчиков с присными, — шепнул Монстович, — и Пустозеров и Саватьев! Полное содружество — и одна колымага. Будет бой!

Гайгаров заинтересованно слушал дикое пение нищей, скользнул вперед холодно взглядом и негромко заметил:

— Где эсеры и меньшевики, — там и юродивые!

Баба явно привлекала его внимание больше, чем проезжие. Он не сводил с нее глаз. Он даже не слыхал довольного шопота Анохина:

— Гляди, гляди, Гайгаров, пиджачки-то у топтунчиков! Ей-ей, половые в трактире!

Анохин неудержимо расцвел, словно он встретился с самыми ему дорогими и близкими людьми.

Губкомский тарантас был узнан и теми.

— Гайгарята плывут,— вполголоса произнес Слободчиков.

Пустозеров и Саватьев серьезно и недружелюбно взглянули с горы. Слободчиков, прочно и крепко, несколько раздвинув ноги, бородатый, плечистый и большой, стоял у задка пролетки. Фигура Слободчикова была полна неукротимой отчаянности.

— Какое глупое здоровье! — пробурчал Гайгаров с невольным любованием.

Слободчиков между тем крупно шагнул к губкомскому тарантасу и жизнерадостно закричал:

— Тпрррy! А нас вывалило! А мы колесо потеряли!

Слободчиков приветливо совал руку и охотно рассказывал:

— Понимаешь, Ян! Понимаете, Гайгаров, лошади досмерти перепугались этой дурехи-певчей. Или этого каменного урода! Не разберешь! Рванули... Кинулись удирать... Наша красная рубаха — кучер — сама кучерская находчивость! Он — в канаву... Колесо долой, нас к чорту о землю!

Слободчиков добродушно показывал в направлении кучера, каменной бабы и нищей.

Пустозеров и Саватьев отчужденно поздоровались с губкомцами.

— Дурная примета, Слободчиков, — значительно сказал Гайгаров.

Слободчиков уверенно и весело отозвался:

— Не думаю, не думаю! Скорее к благополучию: чудесное избавление от дорожных затруднений. Однако, уважаемые противники, такова традиция: в несчастии помогают. Видно, судьба ехать вместе...

Вдруг истошно грянула и распелась опять юродивая:

Ваня не был, Ваня не был, Ваня был...
Ваня не был, Ваня не был, Ваня был...

— А, чтоб тебя! — с досадой воскликнул Слободчиков.— Откуда ее нелегкая принесла пугать лошадей! Чучело земляное!

Губкомцы без всякого старания начали вылезать из тарантаса.

— Блок, блок, — самодовольно покрикивал Слободчиков, — первый блок!

— Хотя бы такой, — нехотя вставил Монстович.

— Ян, на тебя все упование,—торопился Слободчиков, — ты будешь подпирать пролетку. Нам нужны только ваши руки и спины. Пустозеров и Саватьев у меня жидкие. У них ноги бульонные. Без упора! Погиб с ними. Одна надежда на большевиков.

Меньшевики криво и неприязненно переглянулись. Они точно уловили в веселой шутке какой-то отдаленный оскорбительный намек.

Скоро пролетку изладили. Она пошла впереди. Тарантас не отставал. Юродивая опять впала в тоску от одиночества и принялась конючить надрывно и протяжно ту же песню. Гайгаров несколько раз оглядывался на нищую, покуда не повел с отвращением плечами. У него как-то горько вырвалось:

— Ничего подобного я не встречал за границей!

Тут молчаливый губкомский кучер Шершаков неожиданно заступился за юродивую:

— Где видать! Убогая на всех зверей похожа! А... и пожалеть несчастную кому-нибудь надо!

Гайгаров уловил в голосе кучера неудовольствие и несогласие.

Кучер отъехал немного и растроганно добавил:

— Марфуша из нашей деревни из Каменки. Побирается. Дадут — и покушает. Не дадут — и так хорошо. Опоздай покормить, — на дороге и ноги вытянет. А Ваня — это ейный сын. На войне в расход вышел. По нем и свихнулась. По нем и плачет.

Упорная его спина широко заслоняла лошадей, она устало согнулась, и по ней можно было безошибочно догадаться, как по-разному думали и чувствовали кучер и Гайгаров.

К вечеру, друг за другом, невольные попутчики добрались до Прибыткова.

На никуличевской лесопилке происходил съезд порубщиков и сплавщиков леса. Каждогодно, примерно в одно и то же время, сюда являлись мужики наниматься на зимнюю порубку и на весенний сплав. Являлись сюда мужики целыми деревнями. Так приучили их дальновидные Василий Иванович Никуличев и Лафтаков. Они не затягивали дела до последних сроков: тогда мужики были бы норовисты. Они поднимали их в самую нужную, предъильинскую пору. И давали, что хотели.

Они собрались без зова и в этот сумбурный год. Теперь справляться с ними было труднее. Купцы с разочарованием натолкнулись на мужичью смелость и упорство, каких у тех не было никогда раньше. Мужики пришли с большим запросом. Рабочие лесопилки все незанятое время вертелись среди них. Лафтаков и Никуличев с Сергунькой кидали неодобрительные взгляды, но испугать ими было уже нельзя вчерашних смиренных и покладистых работников.

Из прибытковских палат, как с пожарной каланчи, они уставились на эсеровскую пролетку и губкомский тарантас. По новой крепкой и обмятой дороге экипажи солидно и уверенно взобрались на Прибытковскую

гору. В то время как наблюдатели испытывали тревогу, экипажи остановились у летнего рабочего клуба. Так называлось убогое, дырявое помещение. Легкая досчатая постройка, служившая для хранения всякого лесопильного хлама, подгнила и покривилась. В одну из неосторожно щедрых минут, а больше за ненадобностью, Никуличев отдал ее рабочим. Потом он неоднократно упрекал себя за оплошность: дар обратился ему во вред.

— Все бездельники приехали! — ехидно и пренебрежительно сказал Никуличев. — Мужиков теперь не обломаешь. Ах ты, говоруны треклятые! Собьют с правильной дороги!

Вечером было собрание на лесопилке: переизбирали прибытковский совет. Противники схватились с такой яростью и ожесточением, точно от того или другого поднятия семидесяти рабочих рук решались и собственная жизнь ораторов, и все дела в Заозерьи, и даже во всей республике. Ораторы говорили часовые речи, потели, краснели, задыхались, выпивали ковш за ковшом некупленную шожменскую воду, черпая из большой бадьи, стоявшей около стола, — и были беспощадны друг к другу, как пристрастные враги.

С злыми, взбешенными глазами говорил Слободчиков. Пустозеров и Саватьев с красными опалинами на щеках шипели и морщились на дикую разноголосицу и галдеж выборщиков. Большевики по-бычьи уперлись лбами, нахмурились, осатанели. Они поделили вражеский лагерь на три части и били каждую часть порознь. Перекрестный огонь был обдуман, хитер и выгоден. Последнее слово оставалось за ними. Гайгаров, как опытный военачальник, вел за собой свой маленький и невозмутимый отряд.

В Прибытковский совет переизбрали одних большевиков. Толпа довольно повалила на ночную улицу.

Побито и смущенно, как-то сразу уменьшился в росте, с торопливостью полез в двери Слободчиков. За ним вяло проследовали взъерошенные меньшевики.

Победители старательно вытирали потные шеи и лица, устало зевали удовлетворенно посмеивались. Сладость победы волновала. Пятеро вновь избранных советчиков резделяли с ними радость от дорого доставшейся удачи.

Так, без умолку, с шумом и смехом, они гурьбой пришли в клуб. Там отчужденно сбились в угол и нахохлившиеся меньшевики. Слободчиков грузно бегал по комнате. Кое-как настланный, даже не обструганный пол скрипел. Гайгаров прислушался. Слободчиков напоминал безрессорный экипаж на колкой деревянной мостовой.

За большим хлопотливым самоваром сгрудились вместе. И почти тотчас же завязался неизбежный спор. Он был теперь неравен. Большевики охотно и снисходительно уступали.

Гайгаров видел себя в ярко блиставшем самоварном боку, тихонько жевал хлеб и запивал его чаем. Время от времени он легонько и покорно отбивался односложными восклицаниями. И это его победоносное, уверенное спокойствие было непереносимо.

Слободчиков нескрываемо досадовал, опрометчиво кипятился и беспрерывно чертыхался. Меньшевики дулись и язвили. Лицо Яна Монстовича было предельно равнодушно к тому, что говорили противники.

Понемногу в спор ввязался Анохин. И на него с успехом кинулись обрадованные меньшевики. Анохин вскакивал с табуретки, запутывался, сбивался. Но торжество над ним было преждевременным. Он вдруг помолчал, как будто сдался, а затем, просиявший, восторженно заладил:

— Крышка! Скоро везде будет так. Везде! Советы будут нашими!

Пустозерову пророчество показалось скучным и надоедливым, таким же, как осенний тюремный дождь. А Саватьев покровительственно и раздельно протянул:

— Не-о-бос-но-ван-но...

Наутро столкновение возобновилось за порубщиков и сплавщиков. Огромная мужичья толпа собралась недалеко от никуличевских хором. Она полегла и расселась прямо на земле. Новые советчики распоряжались. Откуда-то прикатили старую селедочную бочку, опрокинули ее невыбитым дном кверху и на средину поместили поддужный погремок.

Солнце отсверкало в глаза ораторам, заглянуло на них сбоку, потом под резким креном покатилось вниз. Свет его померк. Состязание ненадолго прерывалось и возобновлялось. Мужики тут же вытаскивали из котомок свой харч и подкармливались. Ораторам было не до еды.

Никуличев с Сергунькой и Лафтаков тоже высидели с утра. Они переживали полнейшее удовольствие. Мужики не вспомнили ни о порубке, ни о сплаве. Мужики решали: воевать или не воевать? Стяжателям была приятна возня над этим безденежным вопросом. Они первые, едва день переломился на вечер, освобожденно почувствовали приближающуюся развязку.

Мужики сильнее и сильнее колебались в неблагоприятную сторону для большевиков. Начинался несдержанный шум, передразнивания ораторов, все учащались и учащались недружелюбные выкрики, кто-то громко смеялся, отдельные кучки устали слушать и независимо от митинга переговаривались.

Слободчиков, как цирковой борец, взвесил дрогнувшие силы противника, нажал. Меньшевики поддакивали и подзуживали.

— Пра-а-вильно! Действительно! — закричала тысячная толпа.

У ней была точно одна гигантская глотка, похожая по крайней мере на донышко от селедочной бочки. Рев, как огромная шипучая волна, покатился, загрохотал, раздавил все слова. Слободчиков неизвестно для чего воздымал правую руку и потрясал ею, смешно и быстро шевелил губами, широко раскрывал бородатый рот. Слова на мгновение умерли. Но мужики вновь дали ему говорить под сплошной, как проливной дождь, благожелательный гул.

«Лес, лесные люди», — подумал, присмотрелся и прислушался Гайгаров.

— Надо кончать, — шепнул он Монстовичу. — Видимо, эти мужики пользуются отсрочкой по призыву, и на чужой счет они согласны воевать. Вода течет в дыру.

Монстович не сводил глаз со Слободчикова. На лице того уже проскальзывало предчувствие близкого торжества: вспыхивали масляно довольные взгляды, мужал и крепчал голос. Слободчиков рассыпал, как цветной хвост, удачные сравнения. Он бессознательно горделиво подбочился. Монстович не мог узнать старого товарища по каторге. Десяти лет, проведенных вместе, не было. Нельзя было ни узнать, ни понять. Чужой человек почему-то называл его Яном, дружески шутил с ним при встречах, они даже вчера возились у каменной бабы. Это был настоящий, изворотливый и упорный враг.

Слободчиков неостановимо плел пустую и лживую сеть слов. Глухой и непроницаемый туман был в его голове. Он торопился победить и не стеснялся. Он даже унизился до какого-то жалкого намека между слов, запнулся, отвел глаза... Но этого уже было достаточно.

Меньшевики притворно разводили руками и щипали свои уютные бородки.

— Негодяй! — гаркнул Анохин и рванулся к Слободчикову. — Повтори, негодяй!

Слободчиков иронически показал на него пальцем и звонко выкинул в толпу:

— Во-от смотрите! Ему нечего сказать больше! Я... не буду отвечать!

И он снова пошел вскачь, словно настоявшийся конь.

Толпа не могла больше сдерживать нетерпения. Точно горячее течение воздуха наплыло на нее.

— Долой! Во-он! К немцам ступайте! Предатели!

Над головой неподвижно стоявшего Гайгарова пронеслась откушенная наполовину картошка. Толпа захохотала. Сигнал был дан. В губкомцев полетели куски хлеба, картофельные очистки, яичная скорлупа, грязь, песок. Воздух замутился, как в ветер.

Мужики сорвались с места, подошли к селедочной трибуне. Они подхватили на руки Слободчикова и долго качали его. Мужики расходились. Черные и лохматые кулаки протянулись вперед. Прибытковские советчики не подпускали мужиков и застраняли губкомцев. Меньшевики лениво, с перевальцем, усовещивали толпу. Поддужный колокольчик бессильно кричал и плаксиво просил тишины.

Кое-как — и Слободчиков, и меньшевики, и советчики — угомонили мужиков. Гайгаров держал белый листок с написанной заранее резолюцией. Он так и не смог ее огласить. Мужики не слушали.

— Не надо! Не надо! Зна-а-ем! Давай другого! Гони их!

Тут какие-то двое незаметно подкрались к Гайгарову. Один с силой и стремительностью рванул листок, поднял его над головой, бросился в мужичью гущу и дурашливо взвизгнул:

— Не отдам! Бумага цыгарочная! Ха-ха!

Потеха пришлась по сердцу мужикам. И они одобрили ее продолжительным хохотом. Другой мужик швырнул в Гайгарова горстью опилок.

Возник еще больший содом. Монстович крепко взял под-руку Гайгарова. Он смотрел вызывающими глазами в лицо толпы. Анохин жалобно простонал. Ему казалось, он должен был отомстить за поругание товарища. Он полез за своим браунингом. Монстович накануне возвратил ему оружие. Но Гайгаров ни на минуту не растерялся.

— Это безрассудство! — скороговоркой сказал он и схватил за руку Анохина. — Они же рехнулись!

Толпа бесновалась и требовала удаления губкомцев. Она снова налезала. Гайгаров с любопытством видел напоенные злобой глаза, вытаращенные и неприязненные. Он понял необходимость не притягивать их и не вызывать в них голодного и дикого блеска. Прямо и независимо он пошел мимо толпы. Его осыпали ругательствами и насмешками. Кто-то запустил в спину вареным желтком. Гайгаров не оборотился. За ним, сбиваясь, двигались Анохин, Монстович и советчики.

Они с негодованием видели желтое пятно на спине Гайгарова.

Слободчиков сделал вид, что не заметил отсутствия губкомцев. Трудная победа преобразила его. Он уже не имел ни достаточной сдержанности, ни достаточной скромности. Он уже не мог удовольствоваться стоянием около селедочной бочки. Слободчиков вскочил на гулкое ее донышко — и говорил оттуда. Меньшевики важно и спесиво заняли большевистские места. Пустозеров положил руку на завоеванный погремок, а Саватьев что-то исправлял карандашом на полосатом блокнотном листочке будущей резолюции.

Губкомцы невесело стояли у клуба и поджидали лошадей.

Сплавщики и порубщики никак не успокаивались. Неостановимый грохот голосов катился издали. Тут напуганно прибежал один рабочий и конфузливо шепнул:

—Товарищ Гайгаров, мужики одурели!.. Собираются вас бить! Сговаривается целая артель. Я случайно подслушал. Надо скорее уезжать!..

Гайгаров болезненно сморщился, глубоко подумал и так же тихо ответил:

— Что же делать: я сам не умею запрягать лошадей! Успеют запрячь! — мы уедем, не успеем — нас побьют!..

Он выжидательно взглянул на губкомского кучера. Рабочий кинулся ему помогать.

Уехать успели. Ночь застала губкомцев в дороге. Безвыходная темнота была и впереди и позади. Деревенские редкие огни, как волчьи глаза, светились по сторонам. Мрак был враждебен и необорим. Каждый думал об одном и том же. И не говорилось.

После нескольких темных и молчаливых верст, не спрашивая товарищей, слушают они или нет, Гайгаров задумчиво, с расстановкой проговорил:

— Мне почему-то сейчас вспомнилось одно очень сильное впечатление. С аэродрома поднимался аэроплан. Летчик и седок. Было много зевак. В том числе и я. Едва аэроплан отделился от земли, соскользнуло одно колесо и покатилось по лугу. Одноколесный аэроплан был еще пока низко, — все кричали и показывали летчику на неисправность. Думали, он не заметил. Летчик выглянул из открытой кабинки, однако стал забирать все выше и выше. На аэродроме ожидали катастрофы. Напряжение было страшное. Пилот летал долго, то снижался, то опять лез глубже и глубже.

Было уже понятно, что он примерялся, искал подходящего спуска. На наших глазах происходила замечательная борьба человека с нелепой случайностью. Человек не хотел умирать. Наконец ему как-то удалось спланировать на одно колесо, аэроплан кувыльнулся, сломал крыло, — а люди все-таки остались живы. Потом рассказывали — перепуганный седок требовал немедленного спуска от механика. Не будь привязан, седок наверняка бы выскочил из кабинки. Любопытно ответил ему летчик: «Убиться мы еще успеем, попробуем не убиться». И он удачно попробовал!

Монстович вздохнул и отозвался:

— Пожалуй, совсем походит на наши похождения.

— Пожалуй.

Гайгаров помолчал и добавил:

— Впрочем, не совсем, но походит!..

Подъезжая к Березниковской горе, они вдруг с неописуемым изумлением начали прислушиваться. В поеддождливой, удушливой темноте бодрствовала Марфуша-юродивая. Кучер осторожно и жальчиво охнул. Марфуша все пела и пела свою бесприютную песню. Губкомцам захотелось приюта.

Тогда Анохин вспомнил о Еньке Лепаковой. Он повез товарищей на ночевку в Молево.

Но перед тем, как свернули с большака под Березниковской горой, Гайгаров внезапно остановил тарантас и выпрыгнул. Он исчез в двух шагах. Товарищи недоумело слушали его торопливую и крепкую поступь. Гайгаров спешил в гору. Скоро оттуда усилилось шальное и напуганное пение Марфуши:

Ваня не был, Ваня не был, Ваня был...
Ваня не был, Ваня не был, Ваня был...

Гайгаров вернулся. Недовольно залез в тарантас и бросил:

— Дура пещерная, не хочет ехать!.. А скоро будет гроза!

Глава седьмая

Старое Куркино и Юрово напоминали раздавленные раковины. В Юрове осталась одна Марья Николаевна. Когда родители кинулись в город доживать назначенный им сумрачный вечер, она не пожелала даже выйти со своей половины. Так, не простившись, и расстались.

Николай Петрович давно перегорел в своей неприязни к Устье-Угольскому. Он не замечал аккуратных ежемесячных даяний невестки, наивно удивлялся неистощимым бифштексам за своим столом, но Семенков твердо и уверенно и, главное, часто появлялся в новом шеинском гнезде. Юрово подгнивало в тишине и было закупорено, как фамильная гробница. Теперь оно на городской фасон преобразилось. Общительность стала самой яркой его особенностью. Семенков ввел сюда заозерских тяжелоступов, мохнатых лесных кондовиков, новообращенных под парламентскую заграницу фабрикантов и заводчиков, легкоплавких адвокатов, выпивающих докторов и благоденствующих в делячестве инженеров. Михаил Георгиевич Шеин ввел армейские части.

Семенков не любил тесноты и питал пристрастие к одножительным домам. Старого шеинского червя достойно расквартировали с предусмотрительной внимательностью к сложным колебаниям времени. Обедневший и нежилой особняк наскоро подновили — точно поставили хромого на ходули, и бренный червь поместился тут, как в теплом шелковом коконе. Он даже умилился на неиссякаемые удачи в своей жизни: никогда не живал меньше чем в десяти комнатах.

Саблины еще до того перебрались на городскую квартиру. Несуразные месяцы укрепили старинную дружбу между домами. Укреплению дружбы способствовало также почти мгновенное сближение Веры и Михаила Георгиевича. Гостеприимство удвоилось. Родственные линии зигзагообразно перепутались с гостевыми. Дома, как старые секретные ларцы, вкладывались один в другой. Николай Петрович сравнивал их с двухглавым орлом. Был тут известный похвальный умысел: старик восторженно льстил внучку и Семенкову.

Однако в домах недоставало беззаботности. Все приходившие сюда люди находились в нерешительности. Они напоминали неопытных всадников, которые по первому разу залезали в седла, боялись конской рыси и потому хватались за гривы. Полнотелые, с рощеными подбородками и шеями, с накопленными брюшками, они как бы заново учились ходить по земле. А та вышла из повиновения, прихотливо подпрыгивала и ершилась. Они никак не могли понять своей ненужности. До сих пор они твердо и крепко, как умелые укротители, управлялись с жизнью. И вдруг они стали лишними. Один за другим сыпались злые толчки в грудь. Нельзя было опомниться, осмотреться. Они суматошливо толклись на маленькой плывущей льдине. Откуда-то взялись сонмы других, оттеснили, обогнали... Те, другие, вели жизнь. Новорожденный мир был странен и непривычен. Они точно тщетно старались поднять с земли железную бабу, всячески приноровлялись к ней, охватывали руками, тянули, — и все же многопудовая тяжесть была неподвижна и несворотима. История, как лошадь, выскочившая из упряжки, была непослушна.

Вскоре после встречи Знаменского с губкомцами и поражения их на лесопилке произошли другие собы-

тия, не менее важные и гораздо более возмутительные.

После них-то и собрались однажды вечером в шеинском особняке все его завсегдатаи. Такого общего расстройства еще никогда не было. В этот вечер нельзя было похвастаться старинной чинностью самоварного времяпрепровождения. Обычаю не изменяли: самовар, как корабль, окруженный стаканной и чашечной флотилией, стоял на своем месте. Он был явно заброшен или, по крайней мере, утратил свое серебряное очарование.

Под его тихую голубиную воркотню не могла обрести тишины даже сама хозяйка Елена Дмитриевна. Она уже давно научилась невозмутимо молчать при всяких жизненных каверзах и преспокойно няньчить прожорливого своего спутника, — а тут не выдержала. Она вмешивалась в беседу и рассеянно отвертывала самоварный кран в переполненный чайник. Дымящая лужа на голубой скатерти была знаком ослабленного хозяйского внимания.

Особенные же нелады сегодня были в душе молодого воина — Михаила Георгиевича Шеина.

После долгого и бесплодного спора он устало отошел в угол, и ему непременно захотелось посидеть тут как можно тише и незаметнее. Чувства его находились в таком смешанном и спутанном состоянии, словно несхожие вещи в опрокинутом наземь ящике.

Шеин стиснул голову руками, зажал уши, но голоса лезли через пальцы, будто теплые и текучие капли камфарного масла. Говорили возбужденно, все сразу, не кончали одного, перескакивали на другое. Спорщики были как рыба, захваченная сетью. Они совались и туда и сюда, искали дырки и не находили.

Михаил Георгиевич улавливал нестройный кавардак слов. Шеин непроизвольно разделял голоса на отдельные инструменты в оркестре. Басы-геликоны были у

Знаменского, у полковника Оранского, у Никуличева, у губернского комиссара Репьева; у Веры была флейта; у Семенкова, Лафтакова и Саблина — скрипка; у Струка — барабан; у дедушки — кларнет; а управский инженер Именинников обладал фаготом. Инструменты никак не слаживались.

Михаил Георгиевич безошибочно определял заранее, кто и что должен был сказать и как сказать. И это ему было неприятно. Он ждал такого слова, какого не знал сам. И нужное слово не произносилось.

Иногда смеялись на удачную фразу Семенкова. Изредка восстанавливалась тишина — говорил тогда армейский военачальник полковник Оранский. С притворным восторгом — оттого неверная дрожь была в голосе — возглашал беззастенчивое и льстивое «ура» подпрапорщик Знаменский. Но все эти люди только обманывали себя.

Михаил Георгиевич понимал, что они так же, как он, усомнились в своей силе изменить безвыходную, ошалелую жизнь. А главное — они усомнились в своем привычном праве на нее. Они напоминали проезжих на дороге у двинувшейся весенней реки.

— Я эмигрант в собственном отечестве! — вдруг неожиданно воскликнул дедушка и взволнованно вскочил со стула.

Стул загремел и поехал по паркету.

— Николенька, тебе нельзя делать резких движений,—протянула с мольбой Елена Дмитриевна.

— Эмигрант! Эмигрант! — твердил старик, бегал взад и вперед и толкал мешавшую ему мебель.

— У тебя же расширение сердца и аорты, — упрекала и настаивала жена, — сядь пожалуйста!

Николай Петрович на бегу вытирал потное лицо платком и досадливо морщился:

— Не сяду! Ни за что не сяду! Отстань! У меня

сердце и аорта в полном порядке! У меня душа расширена!

Столовая одобрительно зашумела. Восклицание произвело на внука сильнейшее действие. Хотя переполох чувств у него на минуту усилился, но уже многообразные чувства стали терять остроту настойчивости, они сцеплялись одно с другим, — и он не успевал на них сосредоточиваться. В горькости дедушкина голоса он почувствовал большую подлинную боль. Ненароком сказалось нужное определение.

— А Саблин? А Вера? Они — кто? Не эмигранты? — резко и озлобленно спрашивал старик.

Михаил Георгиевич посмотрел на Веру. Она сидела к нему вполоборота. Сдержанный свет от висящей над столом лампы падал на нее какими-то полосами. Вера была вся светлая и золотистая, с пятнышками, точно небольшой уютный шкафчик из карельской березы. Михаил Георгиевич нашел в себе это сравнение — и вдруг почувствовал нежную тревогу за девушку. Ему показалось страшно диким и уродливым, что его Вера вместе с другими подвергалась всем опасностям и неожиданностям взбунтовавшейся жизни. Даже больше. Вера представилась ему таким хрупким и прозрачным существом, — она как будто просвечивала, — которое только он мог уберечь от всего грубого, неловкого и оскверняющего. И на нее, на ее благополучие посягали какие-то заозерские мужики, схватили и повезли в телеге ее отца, точно преступника, а она сама вынуждена была бежать от того же мужичьего, как душный угар, гнева.

— А вы все? Вы не эмигранты? — кричал дедушка и обводил рукой вокруг комнаты.

Михаил Георгиевич бессчетно повторил эти слова. Он применил их к себе и к остальным. Чувства его как-то сразу начали оформляться.

В столовой раздавались напрасные геликоны, барабаны, кларнеты и фаготы. Шеин не замечал. Он низко согнулся, будто терпеливый проситель в важной приемной. Он просидел так весь длиннейший вечер. Снова и снова приходили те же неотступные мысли, которыми начинался и кончался каждый день. Михаил Георгиевич запутывался в них, как в густой траве, он старался итти быстрее, поднимал ноги, перешагивал травяные заросли, а повилика связывала движения, выматывала силы, и он устал от трудных переходов.

По заозерской земле ползла гнусная и властительная вша тифов. Гнила земля азиатской гостьей — черной холерой. Нищала земля и куталась в рубище, глодала дерево и смердящую падаль. Как березовая губа, вырастала ненависть в каждом, кто не был чист, сыт, силен и богат. Заозерье, подобно треснувшему от бури дереву, уныло качалось и устало скрипело. Война и мир, точно две непримиримых встречных волны, не могли разойтись. Они схватывались — и расшибали груди. Мужики и рабочие не хотели воевать. Они глядели исподлобья на всякого, кто звал в высушенные мужицким и рабочим здоровьем окопы и землянки. Михаил Георгиевич не мог примирить своих возмущенных чувств с такой пагубной дерзостью. Не примирил он и сегодня.

Поздно со всех ног в столовую вбежал Феликс Францевич Фирс. Он должен был принести исключительные вести, так как и необычайная стремительность его и всклокоченный вид не могли быть по маловажным причинам.

Столовая замерла от ожидания.

— Господа офицеры, — тревожно заторопился он, обращаясь к Оранскому, Знаменскому и Шеину, — скорее, скорее! Меня послал разыскать вас всех гене-

рал Водовозов. Он в офицерском собрании... В Петрограде восстание большевиков. Пришла секретка.

Изумление и страх настолько явственно проявились на всех лицах, что даже кругом недальновидный — так его называли — Феликс Францевич понял, какое впечатление произвело столичное известие.

— Не беспокойтесь, господа, они уже подавляются, — поспешил успокоить Фирс, — но завтра будет и здесь то же. Три полка — так сказал генерал Водовозов—ненадежны, завтра с ними предстоит возня. Это не я, это сказал генерал Водовозов. В казармах митинги. Все большевики там. Генерал Водовозов ждет вас. Прошу, господа офицеры, за мной.

Офицеры начали собираться. Полковник Оранский скрыл смущение под совершенным равнодушием и внешней невозмутимостью. Он покровительственно подшучивал над Фирсом, покуда Михаил Георгиевич куда-то исчез за Верой.

— Вы теперь у нас, Фирс, можно сказать, тень генерала Водовозова. У вас все новости из первых рук. Вот и нынче...

— Нынче я только попутный адъютант, — возражал не понимающий шуток Фирс, — меня генерал Водовозов подхватил... из окна. Я шел мимо. Он мне приказал...

Фирс незаметно и предупредительно отвел Оранского в сторону от любопытствующих Николая Петровича и Саблина.

— Я не хотел публично раскрывать всего. Генерал Водовозов сказал — завтра будет теплый день...

Оранский засмеялся.

— Не теплый, а горячий, Фирс!

Феликс Францевич задумался, восстановил, видимо, в памяти весь свой разговор с генералом Водовозовым и подтвердил:

— Да, действительно, я ошибался немного.

Офицеры четко и гулко шли притаившимися пустыми улицами. Густая и спертая теплынь июльской ночи заставила Михаила Георгиевича расстегнуть тугой ворот френча.

Глава восьмая.

Губкомцы заканчивали день. Другого исхода они не ожидали. Исход был неизбежен. Большевистские демонстрации разогнали. Большевистские полки разоружили. Губкомцы задними дворами, через заборы и калитки, поодиночке крались, как во времена империи, в свой окрайный губком. Но каков бы ни был исход, губкомцы переживали радостный и тревожный подъем чувств. Губкомцы впервые подсчитали свои раскиданные всюду подспудные силы. Их оказалось больше, чем можно было надеяться.

Демонстранты не волокли за собой, как в мартовские оттепельные дни, разряженную обывательскую чернь. Холодно и беспощадно демонстранты прижали к ее стенам домов, — и она набилась в каждую городскую щель. Тверды и суровы были эти новые колонны. Они возмужали на глазах и памяти всех. Они проходили скупой и скорой солдатской поступью по дымящим от солнечного накала июльским панелям.

Замученные и загнанные, как кони, сделавшие трудный перегон, губкомцы объезжали город. Городские перекрестки были бесконечны. И на каждом — губкомцы выступали. Ветер шатал губкомцев.

Гайгаров никогда и ничем не обольщался. Он к каждому своему чувству подходил с мерой и числом. Он носил в себе никогда не убывавший огонь осторожной мысли. В Гайгарове жарко и полно лилась встревоженная кровь. Она была устойчива, как выдержанное вино в винодельне. Сердце Гайгарова жило единым и не-

проходящим волнением. Но всегда острая и недоверчивая мысль была недреманным караульщиком над чувствами.

Гайгаров укрыл под мертвенно-сухую видимость счастливый трепет. Большевистская проба была ему сладка и головокружительна. А все же он был не раз обманувшимся полководцем. И потому он предвидел то, что должно было совершиться. Он заранее предупредил товарищей.

Генерал Водовозов миролюбиво пребывал в своем штабе и увлеченно играл в шахматы с полковником Оранским. Он держал наготове безупречные кавалерийские эскадроны и юнкерские роты и мог позволить себе безобидное шахматное развлечение. Он насильно усадил за шахматную доску полковника Оранского.

Тот не выдерживал и некстати и без надобности ходил королем, неумело проиграл королеву в самом начале игры и вообще разучился управлять и конницей, и пехотой, и офицерским составом, и архаическими слонами.

Генерал Водовозов смеялся. Он удерживал молодой и нетерпеливый пыл Шеина и Знаменского. Он заставил их наблюдать за оглушительным разгромом деревянной армии Оранского. Генерал Водовозов ограничил все свои начальственные мероприятия внимательным выслушиванием скоропалительного доклада Фирса. Феликс Францевич возился в соседней комнате у телефонных аппаратов, собирал предварительные сообщения и делал сводку. Ровно через пятнадцать минут он подходил к шахматному столику и рапортовал. Генерал Водовозов останавливал игру и вслушивался. Полковник Оранский обливался потом и жадно закуривал. Игра длилась часами. Генерал разохотился и

не давал передышки партнеру. Штаб переполнился суетливыми и напуганными офицерами.

— А ну, еще одну! — возглашал генерал Водовозов. — Расставляйте, полковник, фигуры. Матч так матч!

Глаза его были как-то резко и сухо навострены. Они таили в себе большую напряженность.

— Господа офицеры, — с выдержкой и старческим спокойствием говорил генерал, — рекомендую вам шахматы во всех случаях жизни. Лучшей стратегической школы не знаю.

Офицеры недружелюбно молчали.

Фирсовский доклад регулярно повторялся, игра прерывалась и продолжалась снова. Полковник Оранский томительно ожидал освобождения от неравного состязания. Он боязливо взглядывал на генерала и готов был немедленно вскочить, чтобы куда-нибудь скрыться или подсунуть на свое место другого. Но генерал притворялся непонимающим и старательно тягуче и длинно разъяснял неправильные полковничьи ходы. Он заставлял переигрывать своего невольника целые куски той же партии — и удовлетворенно торжествовал и радовался от кажущегося богатства своей шахматной мысли. Полковник Оранский, Знаменский, Шеин в эти секунды ненавидели всех генералов в мире.

Знаменский и Шеин меряли неустающими шагами пространное штабное помещение. Да и всем, ожидавшим прекращения генеральской несвоевременной забавы, не стоялось на месте. Штаб представлял встревоженную платформу перед отходящим с минуты на минуту экстренным поездом. Не было только вещей у пассажиров.

Генерал Водовозов смаковал полковничьи ошибки, жадно ел подставленные фигуры и точно с каким-то

гастрономическим наслаждением облизывал свои толстые на выпяте губы.

Михаил Георгиевич изнемогал. Он в негодовании затрещал пальцами. Вдруг изменившимся голосом он шепнул Знаменскому:

— Проклятый монумент! Не человек, а какая-то серая глыба! Медный памятник! Он издевается над нами. Я не в силах больше сидеть тут и представлять из себя откармливаемого петуха, которого... которого пожрут большевики.

Знаменскому показалось, что если бы дотронуться до шеинского френча, он наверное бы затрещал невидимыми на свету электрическими искрами.

— Я пойду брошу ему в лицо все наше возмущение! — бесился Михаил Георгиевич.

Знаменский перетрусил и бестолково начал удерживать его.

— Он же, старая мямля, ничего не делает! Ничего, видимо, не сделал, — кипятился Михаил Георгиевич.— Пусти! Знаменский, твое поведение глупо! Мы не на кулачном бою: ты меня толкаешь! Я не знаю, что он замышляет! Обычная генеральская самовлюбленность! И убожество!

Тогда Фирс раньше положенного и появился у генеральского столика:

— Начальник округа к телефону!

Генерал Водовозов вспылил, искоса стрельнул заблестевшим недовольно взглядом на смирного и подсушенного до костей служаку Фирса:

— Я же, я же сказал вам: меня нет в штабе!

Феликс Францевич невозмутимо и прямолинейно возразил:

— Вы не сказали — вас нет для начальника округа. Вам звонили со всех концов города — о других я не докладывал.

Генерал Водовозов подумал, вынул часы, разглядел какое-то пятнышко на золотой крышке, неспешно стер его платком, для чего-то поводил пальцем по стеклу над циферблатом и поднялся. Генерал Водовозов проследовал к телефону.

Полковник Оранский воспользовался генеральским отсутствием. Неверно, вприпрыжку загремел ненужными ему сейчас шпорами и ринулся вон. Офицеры сочувственно ухмыльнулись на постыдное бегство в лоск заигранного товарища. У шахматного стола шла шутливая офицерская возня. Офицеры сажали друг друга на стул Оранского и приглушенно смеялись.

Генерал Водовозов возвратился, с улыбкой заметил пустой стул бегствующего Оранского и резко опрокинул незаконченную шахматную битву.

— Господа офицеры, теперь вот нам не до шахмат, — серьезно сказал он, — прошу не осуждать меня за стариковские ухватки и привычки!

Он начал быстро и толково отдавать приказания. Штаб почувствовал продуманную до щепетильных мелочей водовозовскую операцию. Михаил Георгиевич был доволен более других.

— Господа офицеры, — напутствовал генерал и выразительно нажимал на каждом слове, — прошу помнить: осторожность, крайняя осторожность, никакой лихости! Революция наша — говорят — должна быть бескровной! Воздействовать строго, но... как-то... — генерал подергал плечами и непонятно помог сновавшими пальцами, — как-то так, помягче! Впрочем, строго, но без особенных ужасов. Без крови, без крови! — возвысился голос, и спрятались генеральские глаза в прищуренные веки. — Приказываю не стрелять! Разве... — генерал соображал короткую паузу и подыскал безобидное продолжение фразы, — разве уж в целях самозащиты и... и. — генерал наивно добавил: — и са-

мообороны, принимая во внимание большевистскую горячность и общую разгоряченность... так сказать, общее расстройство всех и каждого и козни некоторых. А впрочем, каждый учтет местную обстановку и, сообразуясь... вы понимаете... будет действительным солдатом и... гражданином. Вперед!.. Я сказал «вперед», — поправился генерал Водовозов, — а вы скажете: за Временное правительство!

Знаменский и Шеин вполне поняли напутствия своего вождя. Там, где они действовали, легло немало большевиков. Губкомцы — Ворохобин и Столбов — как раз были здесь с текстильными фабриками и металлистами. Они памятливо вглядались в бравых командиров. Текстильщикам и металлистам пришлось труднее остальных демонстрантов. Командиры работали с непревзойденным успехом и старанием. Ворохобин и Столбов едва увернулись от гибельной конницы Знаменского и от нахмуренной пехоты Шеина.

Полковник Оранский отстал в нужной прыти от удачливого офицерского молодняка. Но все же постегал нагайками и загнал свихнувшийся большевистский полк в казармы. Губкомец Осташкин, чья каторжная спина еще не успела отдохнуть и распрямиться, наткнулся на белую полковничью лошадь. Осташкин упал на мостовую и, покуда умный конь припрыгнул и не хотел растоптать его, почувствовал знакомый ожигающий удар плети.

Большевистских улиц не было.

На улицах накапливались те люди, которым незадолго перед этим не было места в колоннах. На улицы вылезала трусливая челядь. Она весь день смирно выглядывала в окна, с чердаков, с цветочных балконов и занавешанных террас, из глухих парадных подъездов — и расчетливо выжидала. И таких набрались нестройные тысячи, десятки тысяч...

Они пошли по той же усталой и заезженной городской земле. Они потащили свои знамена. На улицах качали рьяных вояк — щетинистых фельдфебелей. Встречным офицерам капризные женские ручки прикалывали не подлежащие воинскому званию цветочные ордена. Поклеванный и сниженный было орел Керенского опять парил в зенитной выси...

В эти часы губком, как давеча штаб генерала Водовозова, представлял шумное, разноголосое и нескладное гнездо. Его густо наполнили большевики. Нельзя было дохнуть и протискаться на шаг.

— Товарищи,—восклицал Столбов, затертый у входа, — да откуда вас столько взялось? Дворец у нас маленький — на семерых. Не раздувать нам его! Не меха — не раздуешь! Остановитесь! Дайте мне пройти в мое логовище — я же тут живу, чорт вас дери! Ступайте по домам. Все кончилось для начала!

Лезли все новые и новые люди. Они без дела и без зова толклись в губкоме. Но день был так необычен и так тревожен, и так многозначителен, что хотелось всем, особенно близким к губкому партийцам, побыть еще вместе, как-то подкрепить в себе силы, как-то теснее и дружнее встать рядом и разобраться в нахлынувших радостных ожиданиях. Губком не вместил всех. Большевики забили крыльцо, палисадник, мостовую перед домом...

Гайгаров высунулся из окна и остался недоволен. У губкома скапливались, кроме партийцев, всегда ненужные и небезопасные в те трудные и простые времена люди. На входную лестницу напирали опоздавшие большевики и, может быть, посторонние. Гайгаров прислушался к неразберимому гулу в комнате, заткнул устало уши и постоял в задумчивости. Потом он подтянул к столу из разных углов губкомцев и быстро переговорил с ними.

Самый громкоголосый Ворохобин взобрался на стул и закричал:

— Товарищи! В губкоме кавардак. Ничего не слышно! Нельзя сказать слова! Пора это бросить! Открытого заседанья сегодня не будет. Прошу, товарищи, разойтись! Вы нам, по совести говоря, мешаете! Нам надо остаться одним. А главное — народ тут набрался всякий. Многих ни мы, ни вы не знаем. Это, товарищи, вредно! Губком не расхожий двор. Не каждому тут место. Я говорю, вы понимаете, не о партийцах, а о чужих нам, о соглядатаях! Сыпьте, товарищи, без всяких препирательств! Заодно объявите об этом и товарищам на улице! Нечего без толку глазеть в пустые окна. Кроме того, не к чему сегодня большевикам торчать грудами. Всякое может случиться! Надо, чтобы настоящие большевики не убывали в городе. Держись сегодня ночью каждый в своей закуте! Мы малость набедокурили!

Кое-кто задерживался, нашлись недоконченные дела, разговоры. Некоторые наспех подбегали к губкомцам. Но те неумолимо выпроваживали всех. И наконец заперли двери.

Гайгаров не дал передохнуть. Покуда опустевали губкомские комнаты, он присел к столу и заполнил убористым почерком довольно большой листок.

— Товарищи,—привычным и знакомым по каждому заседанию деловым, председательским голосом сказал Гайгаров, — я вот тут наметил немного безотлагательных дел. Надо обсудить и решить. Надо дать себе отчет в проведенном, я бы сказал, очень и очень неплохом дне.

Так было всегда. Он точно оправдывался перед товарищами за беспокойство и нагромоздил кучи дел.

Спадающий денной зной был еще тягостен. В откры-

тые окна поступало недостаточно прохлады. Гайгаров скинул пиджак, повесил на спинку своего стула, оправил сдвинутый набок галстук и усердно повел заседание. Он просто и уверенно добивался того или другого решения, отступал и признавался в ошибках.

Губкомцы сегодня были невнимательны и рассеянны. Гайгаров старался овладеть ими. Он по два, по три раза повторял одни и те же предложения, начинал снова, писал, подсчитывал голоса. Он был так настойчив, точно не ладившаяся работа доставляла ему даже особенное удовлетворение. Но он не успел ее докончить...

Попеременно, все чаще и чаще, губкомцы осторожно вставали из-за стола, высовывались далеко в окна и заглядывали вдоль улицы. Непоседливость товарищей немного мешала и отвлекала. Но Гайгаров отнес ее к сегодняшней извинительной взволнованности губкомцев — и не препятствовал. А потом вскоре поднялись и все.

Из ближнего переулка с гамом и свистом вывалилась порядочная, в несколько сот человек, солдатская и штатская толпа. Одного взгляда было достаточно, — и губкомцы это поняли, — чтобы намерения ее стали ясны. Она оторвалась от противобольшевистских демонстраций в центре, и ее кто-то вел сюда с определенной целью.

— Надо отойти от окон! — сказал Гайгаров.

Он неспеша надел пиджак, собрал свои бумаги и сунул их охапкой в боковой карман. Он уронил на пол карандаш, поднял, как-то устало разогнулся и неожиданно для всех лукаво подмигнул:

— Это ушкуйники!

Толпа надвинулась к палисаднику, к подъезду, потрогала входные двери, на секунду замолкла и внезапно разразилась диким и вызывающим воем. В окна,

пробуравливая и кроша звонкие стекла, ворвались каменные струи песку.

— Недурно! — выдавил холодно Гайгаров. — Без долгих принялись за работу! Хорошо, что мы заперли двери!

Толпа наступала. Старый дом точно подпрыгивал. Каменная гроза тяжело лилась на него и норовила смять. Толпа была упоена. Деревянный и железный грохот, пронзительный звон стекла, томительное и унылое осыпание его, пыльный и сорный ветер как бы подбадривали ошалелый и остервенелый натиск толпы. Губкомцы оберегались от слепых ударов и пытались из-за оконных косяков перекричать погромщиков.

— Шпионы! Немецкие шпионы! — тупо рычала взбесившаяся патриотическая шайка. — В-выходи! Смерть изменникам!

— Смерть! — перекатывалось и опрокидывалось глухое и страшное слово.

— Ломи их! Пали!

Тут одновременно щелкнули револьверные короткие выстрелы, — и толпа начала рваться в двери.

— Товарищи! — трудно выговорил сквозь зубы Монстович. — Разговоры здесь не помогут!

Горячо и пылко ввязался Анохин:

— Перестрелять эту нанятую сволочь!

Он кинулся к окну и подставил было свою открытую грудь разъяренной улице.

Гайгаров мгновенно достал его из-за простенка и привлек к себе.

— Отстань петушиться! — рассудительно и сухо упрекнул он. — Теперь нужно совсем другое!

Ворохобин потрясал револьвером и вне себя восклицал:

— Товарищи! Позор! У нас у всех есть оружие! Отобьем! Отогнать! Отогнать их и... проучить!

Столбов, Осташкин и Букин стояли наготове с браунингами. Они точно ждали команды Гайгарова и не сводили с него глаз.

— Товарищи! — вдруг повелительно и нетерпеливо заговорил Гайгаров и надел свою кепку. — Пока не поздно, мы выйдем через задний ход. Думаю — они недогадливы — и заднее крыльцо свободно. Мы еще не готовы драться. Рано, товарищи! Я предпочитаю от этих, — он насмешливо показал за окно, — убежать. Пули нам пригодятся для более важного дела!

Замешательство губкомцев исчезло скорее, чем возникло. Когда они гуськом спускались по черной лестнице, толпа перековеркала и снесла входные двери. Губкомцы поторопились пройти узким двором — и на задах рассыпались.

Обманутые патриоты обрушились со всем своим неистовством на губкомское помещение. Полупустое, в закопченных и выцветших обоях, с табуретками и грубыми некрашеными лавками вместо всякой другой меблировки, оно было неказисто и неприглядно. Оно не дало никакой ценной поживы погромщикам. Солдатня набила карманы большевистскими воззваниями и книжками для раскуоки — и только.

Толпа, как дробильными машинами, прошлась по всем комнатам, истоптала и обратила в жалкую щепу все, что поддавалось ей, расковыряла и обрушила голландские печи, выбросила в палисадник рамы и засыпала вгустую растерзанной губкомской библиотекой, точно чудовищными и несвоевременными метельными хлопьями, улицу.

Наконец она разразилась последним бесплодным своеволием.

Огромными кострами сгребала по комнатам сухие погромные дрова и всякий мусор. Губком, на патриотическую потеху и увеселение, перенасыщенный горю-

чим, запылал гигантской багровой печью. Толпа не подпустила пожарные части и не дала тушить пожар.

Так жгли в Загорске, искореняя заразу и отраву зловредного поветрия, большевистские идеи! Злорадствующие зеваки сладострастно не расходились до последних губкомских угольков.

Губкомское пепелище радовало не только уличных ротозеев. В шеинском особняке, примерно с вечернего чая, когда совсем улеглась большевистская пыль, так сделалось весело и шумно, точно тут справлялся какой-то особенно знаменательный домашний карнавал. Гости наводнили длинную парадную анфиладу комнат. Губкомское зарево — Михаил Георгиевич и Вера не утерпели и поехали посмотреть ближе — усилило общее ликование.

В помпейской гостиной, за мраморной группой целующихся Амура и Психеи, на маленьком классическом диванчике с голубыми шелковыми подушками Шеин светло и влюбленно лепетал своей избраннице:

— Вера, я сегодня горд, я опять горд за русского человека! За Россию! За свое отечество! Нет, мы выберемся из волчьих ям большевизма и... и распрямимся! Наконец-то мы перестали быть больными! Мы оправляемся, мы взяли костыли — и начинаем ходить. Мы даже деремся!

Вера, которая накануне походила на усадебный шкафик из карельской березы и умиляла разочарованного поручика именно своей уютностью, тихостью и безгрешностью, — резко преобразилась сегодня. Нынче она напоминала достаточно и вдоволь пожившую на свете мстительную и владетельную госпожу.

Поздним вечером прибыл отдохнуть и поиграть в преферанс сам генерал Водовозов. Его встретили рояльным тушем в четыре руки.

Глава девятая

Большевистский костер потух, место выгорело, а дня через три губком обосновался на соседней улице. Нельзя же было жечь одну городскую постройку за другой! Неискоренимый большевистский корень прививался при любой погоде.

Хмель от большевистской рубки удержался совсем недолго. Полковник Оранский и подпрапорщик Знаменский еще неутомимо рассказывали и рассказывали о знаменательном дне, который раз присочиняли и присочиняли некоторые подробности, а Михаил Георгиевич Шеин уже вернулся назад.

Молодецкое выступление армии представлялось ему случайным. По неприятелю, который настойчиво и неутомимо, на глазах у всех, обстраивал свой военный лагерь, запасался всем нужным, собирал дерзкие полки, и врага не трогали, — для пустой острастки ударили какой-то хлопушкой. Произошла заминка, — и ничего существенно не изменилось.

Прежние тревожные переживания овладели им. Отчаяние, бывшее в его душе накануне губкомского пожара, укрепилось еще сильнее. Михаил Георгиевич с грустью и бесплодной досадой подсчитывал удар за ударом.

— — — — — — — — — — — — — — — —

Чинный, как архиерейское богослужение, кадетский митинг был таковым только вначале. Обширный пятиярусный городской театр набился спозаранку, когда по сцене еще ловко шаркали ножками одни обслуживающие митинг молодые кадетята. Они аккуратно и степенно — точно так, как делали дома головные проборы и франтовато облекались в выутюженные костюмы — обстраивали будущее ристалище.

Небольшой столик вблизи суфлерской будки они покрыли какой-то зеленоватой театральной тряпкой. Вместительный одутловатый графин с поблескивающей влагой занял подлежащую ему середину. Основательного и солидного объема колокольчик — подобный редкостной по величине груше — расположился возле графина. Меньшие размеры председательского глашатая тишины и порядка явно были бы недостаточными. Обширные театральные масштабы требовали известного соответствия во всем. Предусмотрительные устроители даже стакан отыскали какой-то особенный. Был он несоразмерно приземист и толст и гранен, вроде копилки. Малиновое кресло и два такого же цвета стула окончательно сконструировали председательское и свиты его седалище. Егозливые тонконогие венские стулья театральные сторожа расставляли в глубине сцены. Кадетские мальчики прищуренно наблюдали и ведали планировкой.

Главные и общепризнанные митинговые ораторы где-то ехали на извозчиках, на автомобилях, в трамваях, а театр уже неудержимо и шумно наполнялся людьми. Четыре широченных подъезда не успевали поглощать охотников.

Но вот... сцена начала густеть и густеть. Здесь расселись и соперники, и враги, и друзья.

Семенков занял малиновое кресло. Двое подручных — инженер Именинников и купец-хлеботорговец Овчинин сели по ту и по сю сторону председателя. Наутро предстояли первые республиканские выборы в Загорскую думу. Но рачительное городское хозяйство интересовало и беспокоило одного купца Овчинина, бывшего десятый год бессменным городским головою.

Овчинин оставался безгласным и безучастным свидетелем яростных боев, которые разыгрались перед его глазами. Он тяжело и неповоротливо думал — быть

ему одиннадцатый год городским головою и дальше, и следующее трехлетие, или же он напрасно сидит истуканом на этом предвыборном собрании и бьет глупые баклуши? Кадеты его назидательно показывали завтрашним избирателям как неоспоримое загорское чудо.

Митинг шел без отдыха и перебоев. Он иссяк за поздним и запрещенным временем. Сорок записавшихся ораторов не успели высказаться. Они-то наверное и коснулись бы будущего муниципалитета! Другие трибуны о нем не упоминали. Сражение разыгрывалось на иных злободневных фронтах. Стратеги шли на приступ всех крепостей, кроме обваленной земляным прадедовским валом городской крепостишки Овчинина.

Митинг и начался с недоумения. Неожиданно вместо кадетского лидера Семенкова первым докладчиком оказался какой-то молодой офицер. И сразу же председатель многозначительно вильнул и объявил это выступление внеочередным. Губкомцы подняли брови и переглянулись. К Слободчикову склонились Пустозеров и Саватьев с ехидными и чем-то довольными мордочками. Генерал Водовозов, полковник Оранский, подпрапорщик Знаменский и безымянная офицерня, заполнившие вперемежку с дамами бенуарные ложи и первые ряды партера, пошевелились на местах, внимательно вытянулись и приготовились не проронить ни одного слова.

Простенькая, повыше, публика насторожилась и любопытно всматривалась.

Михаил Георгиевич с пламенностью и пылкостью повел длинный рассказ. Он недавно вернулся с фронта. Кадеты решили подать лакомое кушание, до которого в те дни дорывался всякий, не покидавший насиженно-обогретого места для двинских болот и окопов.

Хитроватое изобретательство не совсем оправдало себя. Уловление избирателей, удачное по началу, по-

служило к постепенному и все нараставшему и наконец буйному сопротивлению. В различных углах точно зашипели заранее заложенные гранаты, ослепительно фукнули и разорвались огненными мечами.

Митинг был подожжен. Зачинатель кадетского натиска тужился из всех сил, багровел, размахивал руками и хлестал стаканами воду. Ее то-и-дело услужливо и заботливо подливал инженер Именинников. Но как будто бы общая митинговая нагретость была уже столь велика, что даже вода не утоляла ораторской жажды.

Шеин поддавался изнеможению. Ошеломленный недоброжелательным кипением верхних ярусов и оркестра, Михаил Георгиевич беспомощно и безотрадно заплетался. Ему представлялось, что пол головокружительно вертелся. Незадачливый фронтовой очевидец стремился из последних сил устоять на ногах. Председательский колокольчик был слышен одному председателю. Тысячи две голосов топтали его. Тут требовался большой и зычный колокол.

Семенков возмущенно отталкивал малиновое кресло и вскакивал. Он поднимал Именинникова и Овчинина и увлекал их за кулисы. Митинг обезглавливался. Но толпа не внимала ничему и только злорадно гоготала на председательские невразумительные хождения взад и вперед. Михаил Георгиевич не хотел уступить.

— Гони его, поджарого вертуна! — вызывающе голосил трубой из оркестра прямо в лицо Шеину оскаленный и взлохмаченный человек.

Он готов был от ярости прыгнуть на сцену.

— Гады! Буржуи! Долой стервятников! — гремела, как взрывы в каменоломнях, галерка.

Ее дружно поддерживали сотни взбудораженных и гневных криков.

Отовсюду перебивали, сталкивали, сминали скоро-

палительные и раздражающие слова докладчика. Отовсюду вонзались колючие иглы ненависти.

— Вояки несчастные! Шляпы! К дьяволу отечество! Нет у нас его! Ваше оно! Вы и защищайте!

На сцене была растерянная сутолока. Молодые кадетики куда-то стремглав бегали и возвращались. Председатель действовал с такой неуравновешенностью и даже беспамятством, что малиновое кресло казалось пустым. К рампе вылезали добровольные председательские помощники, открывали рты, что-то вопили и, ничего не достигнув, смущенно пятились вглубь. Избиратели точно рехнулись. Они представлялись со сцены кадетам разъяренным ревущим стадом, которое еще чем-то сдерживалось, но уже неприкрыто выразило желание покончить с ними. Зеленознаменные устроители митинга загнанно метались.

Гайгаров присматривался к этому метанию, и удовлетворенная усмешка скользила в его глазах. Кадеты напоминали ему ополоумевших цирковых укротителей, которые утратили свою плеточную власть над дрессированными животными.

— Гайгарова, даешь Гайгарова! — возникли властные требования толпы.—Долой! К чортовой матери офицерье! Во-он кадетов! На фронт их, на фронт!

В отместку сторонникам губкомцев с неменьшим азартом накатывались повелительные валы:

— Слободчикова! Саватьева! Подавай Пустозерова!

Благоразумное и выдержанное поведение оставило в конце концов и первогильдейцев, и армейские мундиры, и фабрикантов с заводчиками, и лаковую служилую интеллигенцию. Кадетские юноши также обнаружили завидные голосовые силы и средства. Они буквально неистовствовали и не уступали левому крылу:

— Семенкова! Именинникова! Шеина! Долой де-

магогов! Долой пломбированные вагоны! Стыдно! Стыдно!

Казалось, тончайшие и ломкие пленки, подобные льду от первых заморозков, разделяли враждующие лагери. Нужно было какое-то одно неосторожное и роковое мгновение, чтобы все забылись и рванулись друг на друга.

Тогда Михаил Георгиевич и сдался. Он кинул последний брезгливый взгляд на орущую толпу и круто отвернулся от нее. Высокие и стройные каблуки четко, как на подковах, понесли его за театральный занавес.

Это была самая большая неудача офицера. Пятиярусное многоголовое чудовище грохнуло торжествующим хохотом. Толпа сломила обреченное заранее упорство. Овчинин проводил сожалеющим взором побитого неудачника. Трибуной овладели губкомцы, эсеры, меньшевики.

За зеленым столом неизвестно для чего сидели трое кадетских заправил. Ничем они больше не заправляли. Вся их сидячая роль свелась к подбиранию кидаемых записок из оркестра. Гости, как кукушки, налетели в чужое гнездо и хозяйски в нем расположились. Митинг уже утратил первоначальное свое наименование. Отставных хозяев положительно не слушали. Они пытались отбивать перекрестные нападения, но потасовка наносила им один ущерб за другим. И Семенков, и Репьев, и Именинников, и другие, и третьи многосложно и хитроумно выводили нарядные показные узоры. Кадеты надтреснуто восклицали:

— Куда вы идете? Берегите революцию! Спасение революции — война!..

Плетучий лепет был неуверен, сомнителен, жалок, как всякая просьба и мольба, за которыми укрывались невысказанные и затаенные мысли.

— Уговаривай, уговаривай! — буйственно щетини-

лись неподатливые ярусы и галлереи. — Пошли-ка и вы!..

Кадетское обличье не могло обмануть. Ему не верили. Театр содрогался от неприязни к дорогим кадетским винам.

Губкомцы уже оттеснили и Слободчикова, и Пустозерова, и Саватьева. Тем, как и кадетам, мешали, кричали бранчливые прозвища, свистали и бешено топотали нестоящими на месте ногами. Толпа находчиво изощрялась. Когда ничто не могло задавить и заглушить голоса Слободчикова, она сразу во многих местах начала петь. То же повторялось с Пустозеровым и Саватьевым и со всеми, на кого заносили руку губкомцы.

Митинг тек по одному руслу. Все полые воды вобрались в межень. Толпе не нужно было теперь складное и стройное красноречие. Толпа умела находить драгоценности в безобразных земляных глыбах.

И когда вылез из оркестра к столику яростный человек, который столь пристально ненавидел Михаила Георгиевича, толпа тысячами рук готова была закачать его. Он сильно колотил себя в грудь, невразумительно нанизывал слова, сипло роптал. На что и на кого он роптал — понять было затруднительно. Но толпа почувствовала гневное трепетание в его голосе. Кое-где, кое-кто засмеялся и поморщился, но тысячный гул был добрым и приветливым ответом на чумазую, неприбранную и несуразную волну подлинного человеческого чувства.

Тут, в отчаянии, злобный и потасканный кадетствующий студент Лизунков, перед которым ясно открывалось завтрашнее выборное посрамление, а следовательно, какое-то колебание и в его, лизунковской, судьбе, взял слово. Он промолчал весь митинг, ненавидел каждого порознь и всех вместе губкомских, эсеровских и меньшевистских ораторов, а больше всего он

ненавидел тупую и нелепую, и распущенную толпу. Жажда бессмысленной мести заставляла его непоседливо ерзать на стуле, много раз приподыматься, — но он долго не решался выступать. Он давно заготовил свою неожиданную стрелу.

Студент терпеливо и серьезно стоял у суфлерской будки, покуда его гнала своевольная толпа. Он перестоял ее раздражение и настойчивость. Время повернуло за полночь, и толпа устала. Тем легче было подложно вкрасться в ее доверие. Лизунков принял скромненький и кроткий вид,—и сумел обмануть. Он заговорил отчетливо и звонко. Он достиг предельной слышимости во всех запутанных театральных закоулках.

— Товарищи! Я старый студент-математик. Я высчитал: если отобрать у всех заозерских буржуев капиталы, то каждому из вас достанется по двадцати тысяч. Верно, товарищи?

Пораженная и потрясенная необычным оборотом, толпа заинтересованно вздохнула и вознаградила незнакомого оратора жадными и стремительными рукоплесканиями. Лизунков играл в простачка и сделал самое довольное и благодушное лицо. Он низко кланялся, чуть-чуть смущенно улыбался и точно был крайне удивлен достигнутым успехом. Он продолжал:

— Товарищи! Я старый студент-математик. Я высчитал: если отобрать у всех заозерских помещиков земли, то каждому из вас достанется по сто десятин. Верно, товарищи?

Победа студента над толпой была чрезмерна. Театр восхищенно задохнулся, зашумел и загрохотал с немыслимой страстностью. Будто огромная веселая роща бешено сотрясалась своей взлохмаченной листвой. Каждая театральная пядь дрожала, неумолчно шелестела, пела, двигалась... Толпа прославляла студента, как первого своего любимца. Восторг был так беско-

нечен, что оратор уже не мог глядеть прямо в блиставшие ослепительной радостью театральные люстры. Ему было стыдно и стеснительно стоять на ликующем свету в потертой своей с золотыми орлами студенческой тужурке, стоять без дела, в ожидании, пока театр снова благоговейно замрет и жадно захочет услышать от него продолжение.

По лицу оратора резко, наискосок, пронесся неудержимый, неприятный и злой тик. Лизункова всего передернуло. Он словно укрывался от обнажающего света, отступил в глубь сцены, посмотрел к выходу — и еще медлительнее и раздельнее произнес:

— Товарищи! Я старый студент-математик. Я высчитал: много я видел на свете дураков, но таких еще не встречал. Верно, товарищи?

Лизунков выдержал одно напряженное мгновение — и неостановимо кинулся поперек сцены. Театр ошеломленно молчал затихшие секунды. Снова та же, но уже разгневанная, свистящая, шатающаяся роща сорвалась с места. Оратору робко хлопнули раз-другой насыщенные удовольствием ложи — и раздавленно смолкли. Кипящий котел взбешенных голосов забурлил. И была такая нестерпимая, зовущая, беспредельная боль в вое и крике поруганной толпы, что устроители митинга в смятении отказались от оратора. Его как будто никто не знал.

— Провокаторы! — гремела тысячами ног и требовала расправы толпа. — Долой, во-он кадетов! Кто это? Кто это? Ишь, чем взяли! Найти! Найдем его!

По лестницам точно низвергали какие-то громоздкие тяжести: то бежали в поисках студента разъяренные кучки обманутых слушателей. Из оркестра на сцену мгновенно вылезли злые люди, ринулись за кулисы, в негодовании обступили зелено-малиновое председательское место...

Яростный, в рыжих вихрах человек не умел сдержать внутреннюю свою игру. Он схватил грушеобразный колокольчик и с треском швырнул его на пол. Колокольчик привскочил, потерял язычок, опрокинулся и покатился.

— Объявляю себя председателем! — зарычал неуравновешенный человек.

Он было хотел повторить свое разгоряченное и непроизвольное движение. Но стиснутый в цепкой черной руке за горлышко графин, хотя и с трудом, у него отняли. Недопитая вода забрызгала малую и тесную окрестность. Растерянный Семенков стряхивал капли с лацканов пиджака и вытирал платком мокрые руки.

Опасную неразбериху усилили эсеры с меньшевиками. Оттесненные губкомцами, они воспользовались выгодным замешательством и ввязались снова. Слободчиков могуче расправил аршинные плечи и вскинул точно до театрального неба правую руку:

— Товарищи! Это оскорбление масс! Это надругательство над народом, который... Мы должны все вместе, забыв наши взаимные раздоры, сказать этим отбросам истории: руки прочь! Мы не позволим хулиганам потешаться над многострадальным крестьянством и фабрично-заводским пролетариатом, которые... Не допустим! Нет, нет, нет!

Слободчиков вскочил на своего ораторского коня и помчался в поле с малого ему размерами места бегов. Пустозеров и Саватьев боялись опоздать. Они также приняли участие в скачках. Розыгрыш дерби часто прерывался шумом оглушающего прибоя. А потому состязание не затянулось. Трое лидеров не могли перекричать друг друга — и скоро надоели.

Гайгаров едко отмахнулся от эсеровского и меньшевистского напыщенного тока.

— Все это пустяки, товарищи! Не дадим, не позволим! — иронически передразнил он.—Уже дали и уже позволили! И не может быть иначе! Подстреленный, но еще живой зверь умирает, кусаясь. И нас еще будут кусать! — убежденно возвысил он вздрогнувший голос. — Не в этом дело! Наше счастье и наша сила в том, что мы на вражеские бесцельные вылазки всегда отвечаем убийственными для врагов фактами. И сегодня мы останемся себе верны!

Гайгаров передохнул, удовлетворенно усмехнулся, загнул голову к верхним ярусам и показал туда рукой.

— И сегодня мы можем также ответить. Не правда ли, товарищи?

По театру пошел сдержанный и довольный гул, обещавший прорваться в общую овацию.

Гайгаров поспешил:

— Товарищи! За два часа до этого митинга Загорский совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов закончил перевыборы своего состава. Мы тоже подсчитали, подобно студенту-математику, — подчеркнул он. — Трудящиеся массы отдали руководство представителям единственной и настоящей рабочей партии, отдали его нам, большевикам!..

Театр долго не умолкал. Огромные валы возгласов катились к ногам Гайгарова. Он стоял точно посреди бухты, запертой горами: театр походил на круглую малую бухту. О каменистую гряду, которая подняла Гайгарова над водами, хлестали высоченные волны, разваливались до дна и с шипением, как взмыленные, легко вставали снова.

— Товарищи! — взывал он и чувствовал бодрящую ласку и поддержку многоглавых буйных ярусов. — Это наше незатупившееся оружие! Кто этого факта не взвесит и не поймет, — тот обречен! Да здравствуют советы!

Рыжий яростный человек метнулся как от внезапного толчка, как-то припрыгнул, обнял Гайгарова и принялся целовать его.

Потом их обоих подхватили вылезшие на сцену люди, подкинули и шумливо понесли на руках.

Кадетский митинг потух, как выгоревшая лампа. Кадеты пили назначенную им горечь поражения. Когда они вместе с Семенковым и офицерня с генералом Водовозовым возмущенно вышли из театрального подъезда, их встретили со всех сторон писком и визгом. свистульками, петушиными криками и собачьим лаем, а потом закидали горстями подсолнухов.

Глава десятая

Как и следовало ожидать, на другой день после бесславного кадетского митинга городской голова Овчинин последний раз надел свою почетную цепь. Он както сразу лишился всякой уверенности, заперся на неделю дома и вышел снова на улицу совсем померкшим и будто бы неполного разума человеком. Он застенчиво, без смысла и без цели, усмехался знакомым и отчужденно шарахался от них в сторону. Он напоминал замерзшего индюка, которого приняли за мертвого, ощипали, а тот очнулся, встал, заковылял на смешных и слабых ногах. Большевики заставляли многих совершать необъяснимые поступки!

На горестях от неудач, спустя неделю к Семенкову в Устье-Угольское съехалось большое городское общество. Усть-угольский фабрикант любил празднества. Отдыхавшие соратники тридневно и благополучно развлекались. Предотъездовский день превзошел все остальные.

В том леске, в котором когда-то губкомцы Анохин и Букин, выручая товарища из когтистых лап империи,

убили Артемова и опустили за ним в илистую озерную залоину сторожа с Уфтюги, — после полуден раскинулся широкой цветистой лужайкой буйный пикник. Не было только музыки.

Генерал Водовозов третьи сутки был под хмельком, но все же не терял своего стариковского сознания. Когда собирались утром в поездку и хватились музыки, и разгильдяистый полковник Оранский готов был вызвать полковой оркестр, — неожиданно в это вмешался осторожный полководец. Он строго и сухо запретил беспокоить музыкантов. Генерал был явно невежлив к дамам: он оставался несговорчивым при всей их настойчивости и обиженности. Просительницы в недоумении надулись.

Но они не успели лишить генерала своего снисходительного благоволения. В полупьяных глазах Водовозова они уловили серьезное осуждающее выражение. Генерал по-воински выкрикнул:

— Нельзя-с! Времена-с не те-с!

Не было музыки, но было множество вин и яств, фруктов и сластей. С десяти троек, оставленных неподалеку на опушке, кучера натаскали целый винный погребок и наставили прямо на лугу жирные кучи всевозможных припасов. Щедрое изобилие женщин заменяло мужчинам недостающий оркестр. Ограниченное количество мужчин, сообразно с военным временем, оскудившим тыл, возбуждало женскую предприимчивость и отвлекало их от музыки.

Неподвязанные погремки и дюжины шейных и поддужных бубенцов на конях даже напоминали своеобразный шумовой оркестр. Нежная мелодия безустанно веяла над «Сосновой Щелью». Так называлась полянка, на которой раскидался тесными и многоцветными клумбами многолюдный пикник. Она то стихала до какого-то удаленного музыкального шороха, то вне-

запно врывалась обеспокоенной и пестрой лопотливостью.

Едва двинулись в поездку, возникло безудержное и говорливое веселье, как загремевшие колеса. Его привезли в Сосновую Щель подобно крепкому озерному ветру, оно с шумом хлынуло на просеку и сохранилось на долгие часы. Бесшабашным и запьяневшим смехом, радостной визгливостью отвечали на последние неприятные треволнения потрепанные оборонцы.

Они изощренно перепробовали все виды удовольствий, возможные и доступные в скромной лесной обстановке. Каждый старался изо всех сил развлекать и развлекаться. И у каждого обнаружились неожиданные дарования. Они пригодились. Таланты, как опорожненные стаканы, были выпиты до дна. Удовольствия разделились на штатские, военные и дамские.

В белом газовом платье Вера исполнила, кажется, все плясовые номера, какие когда-либо выдумал человек. Пьяный пикник жадно хлопал в ладоши, поддерживал бесновато быстрый и уверенный темп плясуньи. Белые каблуки танцовщицы мелькали в траве, как бабочки. Молодые и тронутые легким морозом старости пожилые дамы дополняли женское обаяние. Танцы Веры сменились сольными, дуэтными и хоровыми выступлениями. Ало подкрашенные от вина и успеха, женщины пели на все голоса домашних и лесных птиц. Им лохмато отвечали мужественные хмельные басы, блеющие баритоны и тонкожильные пронзительные тенора.

Генерал Водовозов показывал фокусы. Серьезно и таинственно, в равном расстоянии одна от другой, он раскладывал три конфетки, опрокидывал на них стаканы, и постучав палочкой по донышкам, прикрывал свое стеклянное сооружение салфеткой. В полном удовольствии он посмеивался над затаенным любо-

пытством, затягивал надолго молчаливое бездействие, предлагал охотникам осторожно и неторопливо откидывать покрывало. Генерал не выдерживал до конца и разражался удовлетворенным хохотом над одураченным человеком. Тот бережно снимал фокуснические покровы и глупо обомлевал: конфетки находились в полной сохранности. Генерал разнообразил свое немудрое искусство и проделывал похожие трюки с рюмками, блюдечками и бутылками. Невзыскательные весельчаки качали столь остроумного и находчивого вождя.

Генеральской непосредственности неумело подражали прапорщики. Прославленный и поощренный старик пытался быть неистощимым в своих выдумках. После удачных фокусов он издал какой-то воинственный крик, собрал около себя нетвердо стоящих офицеров, отвел их в сторону и что-то объяснял им, наклонялся, выпадал вперед и браво выпрямлялся...

Ожидание было не напрасно. Хоровое военное представление вызвало бесчисленные одобрительные рукоплескания, совершенно очарованный смех и неумолчные клики. Так приветствуют только единомышленников!

Вооруженная палками, бутылками, ножами и вилками, ведомая республиканским генералом Водовозовым, разудалая, под пьянцом, военная компания разыгрывала бессмысленную клоунаду. С деревянными лицами, с выпученными глазами, с подчеркнуто развалившимися губами, они изображали солдатский подневольный строй. Шагистика была столь похожа на настоящую, генерал был столь безупречным командиром, потеха так одобрялась орущими до изнеможения зрителями, что надевшие личину актерства офицеры долго и неутомимо паясничали и кривлялись. Они исходили и вытоптали всю полянку, перекричали все здравствия начальству, истыкали смешным своим вооружением воображаемого неприятеля, — он укрывался за

соснами, — и по команде «оправься» ожесточенно, со свистом и наотмашь чистили носы.

Офицерское хоровое представление закончилось несуразной чехардой и новой победой генерала Водовозова. Он не утерпел, кинулся последним на полковника Оранского, повиснул у того на спине, был пойман за дрогнувшие ноги и торжественно несен на закорках вокруг пикника. Генерал цепко держался за полковничье плечо, делал смешные гримасы и отдавал честь.

Талантов было больше, чем нужно. Никто не хотел уступить другому. Штатские возревновали к успехам военных и тоже показали себя. Лафтаков открыл штатские штучки. Он неподражаемо представлял прыгающую и рычащую пантеру. Завоеванный пикник требовал повторений без конца. По широкой просеке, в поту и ярости, прыгала и охрипло рычала желтая пантера в пятнистом пиджаке.

Отличился и Семенков. Он умел ходить на руках. Выбросив напруженные ноги кверху, установив их прямым отвесом, — голова служила гирькой, — он, будто огромный камертон, прогуливался по замершей от удивления площадке.

Именинников и Овчинин кощунственно и дикообразно служили панихиду. Самодельная шутка не привилась. От нее исходил острый и колющий холод. Намек на каждую человеческую судьбу был некстати, как дикий выкрик над ухом заснувшего человека. Панихидчиков рассадили.

Василий Иванович Никуличев хвастался нерушимым русским здоровьем. Красный, с натугой, покряхтывая, он выдергивал с корнями небольшие сосенки и елки. В пьяном восторге мужчины обнимали русского богатыря, некоторые ему кланялись в ноги, а женщины осторожно и пугливо касались его мускулов. Никуличев досадливо шаркал смолистыми и окровавленными

пятернями о свои суконные ляжки. В замутневшей чуши его сознания вырванные деревья представлялись ему морковкой с длинной и огрубелой ботвой.

Губернский комиссар Репьев, как бульварный китаец, жонглировал нераскупоренными шампанскими бутылками.

Степенный немец Эдуард Эдуардович Струк и доктор Мигулин схватились бороться. Наподобие ремней, как в русско-швейцарской цирковой борьбе, они повязали себя полотенцами. Измазанные зернистой икрой, маслом, сметаной, они нелепо барахтались в тесном проходе между разостланными по лугу и облитыми скатертями. Они попадали ботинками на скатерти, били посуду и опрокидывали ее. Борцов остерегающе выталкивали подальше на луг.

Неисчислимыми забавами отметили себя все штатские и все военные. Подпрапорщик Знаменский соревновался и больше и горячее других. Он принимал неистощимые заказы. Зоологический сад со всей его хищной и пернатой живностью нашел в подпрапорщике незаменимого подражателя. Даже Саблин и даже Николай Петрович Шеин, коим уже было время ходить к ранним обедням, не пожелали остаться в незаметности. Под снисходительный плеск женских ручек они неудачно ломались и представляли хитроватого заозерского мужика, который попал в затруднительное положение.

Полковник Оранский в конце концов едва не затмил подпрапорщика Знаменского. Он безукоризненно играл на ложках все марши, — и на простом обглоданном карандаше исполнил труднейшую рапсодию Листа.

Нескудеющие вина и яства не давали устать хмелю радостных развлечений, но пикник требовал разнообразия и движения. Когда выдумка начала истощаться и шутки повторялись, гулявшее общество нашло выход в

общих играх и забавах. Пикник пошел в хороводы. Под звон стаканов и бутылок — кроме того играл на тубах, как на кларнете, полковник Оранский — пикник даже растанцовался, точно на обыкновенном зимнем балу.

Ослепительный день канул вместе с померкшим за сосновым вершинником солнцем. Недолгие сумерки взболтались быстро текущей лесной темнотой. Ослабевшее пьяное зрение изменяло: усталые гуляки неуверенно шарили по скатертям, залезали в кушанья, сталкивали посуду...

Предусмотрительный хозяин накануне распорядился. Из целых сосен и елей на полянке были заготовлены громадные костры. Целлюлозный фабрикант мог не скупиться на лесные материалы. Кипящее смоляное пламя затрещало и взметнулось в разных местах чудовищными багровыми гривами. Сосновая Щель наполнилась душистой и острой гарью. На весельчаков понесло легчайшие струи огня и света.

При льстивом, как всякий огонь, и ликующем его трепете пикник, однако, продолжился весьма недолго. Иллюминация послужила путеводной приманкой совсем другим и далеко не радостным людям. Никем не замеченные, нежданные, как зимняя молния, они напали внезапно. Над затуманенными и плохо соображавшими головами рванул ружейный залп. Он громогласно разорвался в лесных пустотах, столкнул на пути целые рощи, раздвинул лес на стороны, кувырнулся, повторился и неясно забормотал где-то в полях...

Два десятка обросших, как лесным ягелем, мужиков вывернулись из-за деревьев, лязгнули затворами и пристально нацелились. Точно хватил сразу валящий с ног ветер. Пировавшие до того люди сопротивлялись ему, остерегающе прикрыли головы и что-то в оцепенении пережидали. Но беспощадно блестевшие в шатучем пламени костров ружейные стволы одноглазо

всматривались и в затылки. Люди непроизвольно сгибались.

Однако замахнувшаяся бедой минута была так исключительна и решительна, что, и придавленные ниц, они не сводили вытаращенных глаз с неизвестных. Те это понимали. Торжествующая и хмурая отчужденность шла навстречу. Оборванные до нищенского вида, в лаптях или в расплюснутых, с дырьями, сапогах, загорелые, точно с желтой подкладкой на лицах и руках, волосачи, — они казались отъявленными грабителями и разбойниками. Никто не смел пошевелиться.

Расплох овладел всеми, кроме Михаила Георгиевича Шеина. Он был мрачен с утра. Он уклонился от водовозовской строевой пантомимы и за весь день не проявил даже таких простых и общераспространенных способностей, как старательное уничтожение семенковских угощений. Шеин был каким-то немым наблюдателем-чужестранцем на чужом ему и ненужном пиру. Он никак не мог найти внутри себя повода к радости и веселью. Наоборот, неутомимая возня и глум всех этих близких ему людей представлялись легкомысленными до крайности, притворными и даже возмутительными. Такой налетал порыв — и не проходил. Вера и танцовала со всей своей щедростью только для Михаила Георгиевича. Только из-за нее и не ускользнул с пикника унылующий человек.

Появление вооруженных возбудило в нем не находившую желанного выхода энергию. Он вздрогнул и ослеп от залпа, как и все. Но тотчас опомнился. Шеин догадчиво определил нападавших: это была перелетная дезертирская стая. Его точно толкнули в грудь раз и другой. Негодование всколыхнуло скучавшего офицера. Особенную злость вызвало в нем предположение, что солдаты неспроста сменили военную форму на нищенскую ветошь. Они перерядились не от страха

перед облавами, а потому, что хотели как можно скорее вернуться из солдатского состояния в мужицкое.

Михаил Георгиевич возобновил с ними спор, который подобно тлеющему труту, подброшенному в солому, дымил на каждом клоке заозерской земли и предвещал будущие запустелые пепелища. Он поймал хитрые и хищные солдатские усмешки. Перепуганный лагерь был как бы растоптан.

Шеин вдруг испытал обиду и оскорбление, словно его чувства были связаны не оговоренной, но круговой порукой с чувствами застигнутых гуляк. Он сидел с Верой на самом краю просеки, в некотором отдалении от остальных. Движимый не согласной с осторожностью кровью, он решительно поднялся и смело подошел к огромному, грязнее и нахальнее других, переряженному солдату.

— Вам чего здесь надо? — зло и требовательно швырнул он.

Вера вскочила и последовала за ним.

— А тебе чего надо? — озверело гаркнул верзила, стиснул зубы и моментально высоко занес винтовку над головой офицера.

Вся банда, видимо, жила также своими едиными чувствами, подобно тем, какие отыскал в себе Шеин к кутежникам. Она ехидно натравила и подзудила:

— Кулик, дай ему!

Михаил Георгиевич не успел опомниться, как Кулик, превосходивший его ростом, казалось, вдвое, обрушился сверху и давнул за плечи. Шеин почувствовал такую боль в пояснице, точно, не догадайся он беспомощно осесть, Кулик переломил бы его. Тут вцепилась буйно и крикливо Вера. Кулик, как маленького звереныша, откинул ее ногой. Тупое, будто продолговатый каблук, ложе наотмашь больно пнуло Михаила Георгиевича и свалило его.

— Раз-з-о-рву-у г-г-гаденыша!—вопил с вылезшими от ненависти глазами косматый Кулик, трясся от гнева и низко согнулся, словно готов был даже искусать свою упавшую поживу мокрыми, в пене, губами.— З-затопчу! Н-не трепыхать, барское отродье!

Горячность Шеина натолкнулась как бы на целую разверстую печь полыхавшего гнева. Сила Кулика могла только сминать все перед собой. Михаил Георгиевич был очень похож на прыгучего воробья перед тяжело ступавшим мохнатым битюгом.

— Показывай карманы, щенок кислогубый! — гремел Кулик, рвал и выворачивал шеинские карманы. — Давай свои пистолеты! По мужикам у вас хорошая цель, подлая с-сволота!

Губернский комиссар Репьев узнал Сеньку Кулика. Одновременно он вспомнил о недалеком отсюда имении своем Отрадное, о соседней деревушке, где жил Сенька и откуда часто приходил раньше на барскую летнюю сдельщину. Губернский комиссар невольно прижался ниже к земле, чтобы остаться в незамеченности. Семенков узнал своих бумажников — и отвернулся.

Самолюбивое и гордячее выступление Михаила Георгиевича повредило. Солдатами овладевала ярость. Они дали несколько новых залпов. Было ясно—дали для устрашения, но все же, точно само собой, ружья снижались, и вот-вот выстрелы могли смертоносно разметать пьяных.

Михаил Георгиевич сдержал бессильную и жалкую внутреннюю бурю. Она выжала на глазах его даже слезы.

Трусливое и покорное поведение всех, полное молчания на брань и неистовство, — точно тем самым признавалось солдатское господство, — постепенно начали утихомиривать дезертиров.

Кулик еще попрыгал около Шеина, солдаты высыпали мешки ругательства и матершины, но столкновение уже ослабевало, как усталый борец после крепкой схватки.

— Руки вверх! Не опускать! Держать так, покуда не прикажу!—распоряжался Кулик.—А то... ни одного не оставим на разживу! Буржуазы! Сквернота паршивая!

Приказания Кулика исполнялись с такой внимательностью и отчетливостью, так верноподданно ловили их подчиненные, что лесное начальство это заметило и ухмыльнулось. Кулику доставляло особенное наслаждение покомандовать и поизмываться над офицерами. Он злобно кричал на пленников, топал ногами, брал попеременно на мушку то генерала Водовозова, то полковника Оранского, то быстро скользил дулом по всем.

Несмотря на некоторую нарочитость этой потехи, Кулик был подобен крупной и сильной рыбе, ходившей на тончайшей лесе. Достаточно было малейшей неосторожности, чтобы леса лопнула, — и тогда одичавшая рыба снова могла бешено всплеснуться.

Офицеры это понимали и приниженно переносили издевательскую игру.

Унижающая солдатская забава казалась Михаилу Георгиевичу слишком затянувшейся. Он противоречиво призывал себя к выдержке и в то же время сознавал, что в какой-то дольше не переносимый момент снова не совладает с бурлящими чувствами.

Длинная, узкая и темная просека была точно перевязана посредине красным поясом. Костры горели чисто и ярко. Дым уже сошел. Косматые вершины густого соснового бора причудливо и таинственно сквозили над головой. Вперемешку с ними, чуть темнее, ниже, иглистыми ершами притаились редкие ели. Надвинувшаяся черно ночь была тепла и звездиста.

Михаил Георгиевич почувствовал нечто оскорбительное в бесстрастной и равнодушной природе, в ее безгласной красоте, одинаково открытой и Кулику и ему с Верой. Шеину представились совершенно бессмысленными трепетавшие в выси звездные огни, молчальник лес, обгорелые плешинки земли у костров, тепло и мир этой незабываемой ночи. Той же бессмыслицей были пронизаны действия Кулика, рабская затаенность самого Шеина и всех остальных. И ему мучительно хотелось прервать эту общую бессмыслицу каким-то особенным, значительным и все объясняющим действием, движением, поступком. И он не находил их. А пока он, как и все, бессмысленно вытягивал руки вверх. Они неровно дрожали. Бессмыслицу прервал Кулик.

— Пьяницы! Обжоры! — вдруг завопил он. — Мало вам места дома, к нам, в лес пожаловали — траву мять, строевые дерева палить, землю загаживать! У-у-у, мерзятина! Ребята, забирай провиант! Обыскивай!

Кулик вскинул ружье наперевес и следил, чтобы никто не опустил рук. Солдаты торопливо вытащили из-за пазух мешки и начали нагружать их остатками яств. Они жадно хватали и без разбору сваливали туда все.

— Черти неосмысленные, бутылки-то бери отдельно, в другой мешок! — горячился Кулик. — Васька! Степка! Жалую вас в целовальники! Дьяволы, вино пуще закуски нужно.

Солдаты суетливо бегали по скатертям, давили посуду и почти начисто обобрали все запасы. Потом обыскали офицеров и взяли оружие. Они угрюмо рассовывали его по карманам или кидали в те же продовольственные мешки. В заключение помогали офицерам снимать сапоги и многих оставили босыми. С не-

уклюжими распертыми мешками на спинах, с обувью подмышками, с торчащими стоймя винтовками солдаты полезли в темную чащу.

Кулик остался один настороже, выжидал, прислушивался. На опушке шла какая-то негромкая возня. Кто-то тпрукал лошадей. Ожили настойчивые колокольчики и бубенцы. Их точно пробовали кучера для дальней дороги, расправляли ожерелья и встряхивали. Кто-то засмеялся. Кто-то вслед пронзительно свистнул и воззвал:

— Го-то-о-во!

Кулик сразу пальнул в груду пустых бутылок, набросанных в сторонке. Стекло взвилось, брызнуло бесчисленными мелкими черенками, каплями, искрами и, будто росой, засыпало полянку. Он удовлетворенно взглянул на произведенное им разрушение, помрачнел и свирепо крикнул:

— Сволочи, не подглядывать, куда поедем! А то — в самих пальнем! Гаси костры, грабители: лес мужикам еще понадобится!

Это был последний устрашающий гнев Кулика. Сенька громоздко поворотился и скрылся в лесу.

После долгого безмолвия разгромленный табор понуро двинулся к лошадям. Возвращались в Устье-Угольское в тесноте, вповалку, на семи тройках: три тройки угнали налетчики.

Глава одиннадцатая

Из губкомской семерки уцелело только двое: Столбов и Ворохобин. Загорский централ, будто наглухо закупоренная гробовая колода, гнивший с весны в безлюдьи, открыл свои кротиные щелки. Надзирательская зевота прошла. Тюрьма глотала знакомых узников. Они словно для того и вышли ненадолго, чтобы устро-

ить губительный набор и привести с собою новых жильцов. Пустующая могила заселялась.

Столбов и Ворохобин напоминали безвестных шахтеров, которые копали под городом потайные норы. Сквозные катакомбы шли в предместья, огибали центральные улицы, выползали узкими лазами в тихие и благонадежные квартиры, углы и подполья. Столбов и Ворохобин были не одни. Целые кварталы из загорских централов не вместили бы пылких охотников, готовых помогать губкомцам.

Столбова и Ворохобина всюду подстерегали затруднения. Точно по первому ломкому и шаткому льду на крутой горной реке они совершали трудную и почти немыслимую переправу. Но они не отступили бы перед самыми глубочайшими волчьими ямами. Губкомцы заново сколачивали рассеянный губком.

Они удачно скрывались третью неделю. Прошло так еще немного времени, но они уже не помнили, когда, в какой день и час это началось. Время удваивалось, учетверялось, теряло меру и число. Бессонное, усталое солнце незакатно стояло на одном месте. Как часовые, забытые на посту, они бодрствовали по двое, по трое суток.

Губкомцев ловили за каждым каменным выступом, на каждой лестнице, в домах, на улицах, на задворках. Порой звериная облава хитроумными западнями преграждала им путь. Иногда летящая петля свистала над головой. Нередко, точно замотанные в клубок, Столбов и Ворохобин не дышали, не двигались и томительно отлеживались. Клубок медленно разматывался, нити ослабевали: вражеский ошейник развязывался. Неумело стянутый узел не держал — и губкомцы безнаказанно выскальзывали. Патриотическая разведка еще не наловчилась. Имперская техника была втуне с мартовских оттепелей. Она начала забываться,

а новые мастера не успели еще в ней усовершенствоваться. Это было на-руку губкомцам. Кроме того забылась не только ловучая имперская выучка. Забылось многое — и главное.

Когда затравливали губкомцев, заставляли их бездействовать, ничего не останавливалось, а лишь чуть-чуть, как перебои в сердце, сбивалось, — и снова в заведенных часах в положенном направлении строго качался труженик-маятник. В неповторимом прошлом было отчаянное единоборство. Там погибало все вместе с тем единственным, кто не выстоял и упал. Теперь Столбов и Ворохобин были не одни. Тысячами других они повторялись на фабриках и заводах, в рабочих клубах, читальнях, народных домах, в советах. Они были неустранимы.

По городской земле, подобно чертежной раскрашенной кальке, расползлись незаметные линии. У каждой петельки, у каждого квадратика, на каждом смыке стояли на карауле испытанные товарищи. Они перехватывали из усталых рук губкомцев дело и продолжали его.

Ксения Гайгарова проводила мужа до выходных дверей и не сказала ни слова. Его так и увели спокойного, даже с усмешкой. И эта много раз испытанная выдержка Ксении была ему самым дорогим напутствием. Гайгаров уходил и знал, кого он оставлял на воле.

Выносливое сердце Ксении метнулось не дольше, чем ей понадобилось прислушаться к солдатским шагам до полного их исчезновения.

У губкомских квартир, точно у полковых денежных ящиков, встала бессменная сторожка. Ксения Гайгарова умела не отчаиваться, умела когда нужно обходить облавы. Маленькая и худенькая, как косточка, она тут совсем превращалась в какое-то юркое, изворотливое и неуловимое существо.

Столбов и Ворохобин имели незаменимого конька-

скакунка. Он без устали носился из конца в конец и возил спешную большевистскую почту. И другие — Ксении, Марьи и Надежды тащили ту же повозку.

Столбов был одинок, как отшельник. Его смолоду швырнула империя на тюремную дорогу. И он затерялся на ней. Имперский компас неуклонно показывал столбовское направление только на север и только на северо-восток. Все родственные узы не дотянулись до имперских окраин. В недолгие промежутки от одной сидки до другой или в короткие передышки от бегства с сибирского привала до следующей этапной высылки — Столбову было некогда. Он был скуп и жаден к неверному времени революционера. И он не обременял непоседливой своей свободы ненужными ему связями.

Улыбка товарища, довольного успехом их общего требовательного дела, была ему лучшей наградой. Он тяжко переживал каждое поражение в работе. Столбов был весь насыщен единым напряжением. Такая, и только такая жизнь давала ему удовлетворение. Без нее — Столбова не оставалось.

Вот и теперь он жил одним стремлением воздвигнуть губком. Столбов ловил себя на лживом обмане слуха: он часто слышал сзади голос Гайгарова.

Ворохобину было труднее. Он исступленно желал того же, что и Столбов. Они будто два бегуна на состязании, в поту и мыле, в пыли, бежали рядом. Они не считали верст и принимали их за быстрые сажени.

В отличие от Столбова Ворохобин имел семью. Он любил свою давнишнюю спутницу, передвигавшуюся за ним туда, куда его загоняла озлобленная империя. Он три недели рвался к жене и не мог ее навестить. Она была больна, лежала с весны. Ворохобин в первые ночи, как не был дома, припомнил мокрую ветреную дорогу из ссылки, припомнил все свое нетерпе-

ние, припомнил с томительной жалостью стынущее у него на плече лицо заснувшей жены, плохую ее одежду, не для дальней дороги, припомнил все это с незнакомым ему раньше чувством осуждения себе. Он вынес холод утренников и продувающие ветры с океана. Она не выстояла. Он обвинял себя и терзался, что ничем не мог помочь ей. Не только помочь, но — даже навестить ее. Губкомские квартиры непроходимо стерегли, как квартиры сановников.

В тех случаях, когда он был невдалеке от своего жилья, он непременно задерживался лишнюю минуту, бессильно кружил в соседних улицах и откуда-нибудь из-за забора выглядывал на знакомый, с красным оттенком огонь. Кто-то ходил за женой, кто-то зажигал свет, — значит — там, за неопрятно пыльным городским окном, еще жили. Ворохобин не мог справиться с неладами в душе. Он больше и больше, чем дальше отодвигалась последняя ночевка дома, думал о больной. Он обвинял себя в черствости и небрежении к человеку, который много лет жил около него.

Ворохобин никогда еще до сих пор столь отчетливо не видел, что это близкое ему существо совсем забывало о себе. Оно всячески старалось, чтобы Ворохобину было лучше и удобнее на свете.

Как ни метался Ворохобин, он никак не мог примирить двойных своих обязанностей.

Ворохобину снилось: он стоял у кровати своей больной жены. Она запрокинула на подушке голову — и вся вытянулась. Кто-то темный, решительный сурово говорил ему о скорой ее смерти. Но Ворохобин делал выбор, неизменный для революционера...

Ксения Гайгарова ухитрилась проникнуть в ворохобинскую квартиру. В этот день, в конце третьей недели, Ворохобин был так расстроен, что едва не попался. Он выбрел на одну из самых людных улиц. Ночью он

будил Столбова пискучим кашлем и надоедливым насморком.

Ксения Гайгарова принесла от больной крошечную записку. Она была заклеена обрывком сигнатурки с лекарственного пузырька. Письмо резко пахло всякими аптечными снадобьями. Ворохобин тоскливо вдохнул мрачный запах больницы. Он по старой конспиративной привычке проглотил скатанную в горошинку бумагу, но словно бы навсегда запомнил и душную вонь специй и каждую букву женина послания.

Ксения Гайгарова сунула почту и отвернулась. Ворохобин ничего не расспрашивал. Двух строк было достаточно, чтобы наполнить их пространным содержанием. Ворохобин закрывал глаза и читал:

„Петр, не заходи, стерегут, попадешься.
Мне лучше. Я выживу, голубчик мой!"

Ворохобин не спал. Столбов возился на кровати, вздыхал, — и ему надоело дожидаться утра.

С новым солнцем, едва в загорском централе сделали раннюю перекличку, губкомцы озабоченно поднялись. Вновь и вновь они отсчитывали гонимые дни. Губком был накануне освобождения.

Глава двенадцатая.

Губернский комиссар Репьев бывал в замешательстве. В это же утро, перед самым репьевским выездом в присутствие, он переживал состояние полной огорошенности.

Вдруг его квартира оказалась занятой. Застигнутый в дверях Репьев остановился, простоял неподвижно несколько мгновений и ничего не мог сообразить. Какие-то неизвестные люди, по виду рабочие, молча закрывали окна. Так хозяйски свободно и обычно за-

творял их сам Репьев в ненастный день. Нынче же была жаркая и солнечная погода.

Репьев было намеревался спросить о странном и совсем ненужном поведении гостей... Но тут глаза его переполнились еще большим изумлением. Одновременно из разных дверей уверенно и деловито вошли двое новых посетителей. Комиссар попятился. Это были они, столь долго разыскиваемые, неуловимые преступники, предававшие усадебное тысячедесятинное репьевское отечество.

Но возмущенная мысль прикрыто пронеслась в мозгу, как стриж, пронеслась и возбудила недостававшую сообразительность. Комиссарское лицо привычно заиграло улыбкой, а комиссарская рука непроизвольно и предупредительно протянулась навстречу Столбову и Ворохобину.

Репьев старался привести себя в достойное равновесие. Он добивался установления с губкомцами совершенно дружеских и равноправных отношений. Однако скрыть унизительное смущение от перепуга было трудно. Попытка отстоять независимость вообще не удалась. Комиссарская приветливая игривость не была принята как должно. Губкомцы наскоро, по-занятому поздоровались и не захотели заметить комиссарской готовности к дружелюбию. Ворохобин с сухостью и резкостью сказал:

— Гражданин комиссар, мы имеем к вам неотложное дело! Вернитесь в кабинет!

Репьева так передернуло, точно в широком его тазу возобновился залеченный ишиас. Комиссар был избалованно властолюбив. Голос Ворохобина прозвучал для него как невообразимо грубое и потрясающее приказание.

Комиссарские переживания, замедлявшие дело, показались Столбову излишними. С ворохобинской на-

стойчивостью и не менее решительно проходя в кабинет, он недовольно пробормотал:

— Нам некогда! Нас ждут! Мы этак тут завозимся... до послезавтра!

От столбовского замечания негодующие чувства Репьева метнулись так высоко, что еще один миг—и он бы не сладился с ними.

— Провода перерезали? — вдруг озабоченно спросил Ворохобин у какой-то маленькой женщины, которая запыханно явилась из коридора.

Та кивнула. В это время Репьев исчерпал все средства, чтобы побороть себя... Вмешательство Ворохобина пришлось как раз. Комиссар как бы почувствовал на своей лысине мокрое успокоительное полотенце. Вместо неудержимой вспышки он ощутил в себе почти мгновенную слабость. В крайнем расстройстве он подавленно понял все свое бессилие.

Особенно Репьева поразила маленькая женщина. Она неотступно следила за ним, она явно подозревала его в какой-то вредной хитрости. Она стерегла каждое его движение. Взгляд ее был остр и жаден.

Он больше не искал подтверждения. Губкомцы явились с упорными и опасными намерениями, перед которыми самое лучшее было смириться. Благоразумие пришло на помощь остывшему комиссару. Он опустился в кресло перед своим, заваленным целыми поленницами бумаг, письменным столом. Губкомцы, точно не случайно, встали по обе стороны Репьева. Он попеременно взглянул на них, подумал и еще раз возымел желание придать всему происходящему иной смысл.

— Господа, я как будто арестован? — подчеркнуто и неестественно спросил он.

— Не как будто, — хмуро и сразу ответил Ворохобин, — а вы действительно арестованы. И будете на-

ходиться под арестом до тех пор, пока этого потребуют обстоятельства!

Комиссар что-то хотел возразить. Но ему не дали. Ворохобин вынул из кармана четвертушку большого формата бумаги и положил ее на средину стола. Столбов открыл чернильницу, обмакнул перо и протянул ручку комиссару. Репьев невольно принял эту услугу.

— Подписывайте, — твердо проговорил Ворохобин, — это мы заготовили ваш приказ об освобождении из тюрьмы Гайгарова с товарищами.

Комиссар отшатнулся и выронил ручку. Она покатилась по бумаге и оставила причудливые чернильные лапки. Столбов схватил пресс-папье и осторожно приложил его. Комиссар снова услыхал понуждающий голос Ворохобина и увидал протягиваемую ему вторично ручку. Бессознательно он снова вооружился ею, крепко сжал и почему-то старался не выпустить.

— Читайте, — услыхал он уже взволнованный трепет в словах Воробохина, — тут нет ничего лишнего! Вполне по форме. Отпуск взят в вашей канцелярии.

Комиссар прочитал знакомый и запомненный наизусть текст. Он был напечатан машинисткой на комиссарском бланке. Бумага и печать были похищены. Он вдруг вспомнил имена и отчества губкомцев. Репьев страдальчески воскликнул:

— Петр Петрович! Федор Сидорович! Что вы со мной делаете! Я же не могу! Это же немыслимо! Вы, вы, вы же не эсеры... не экспроприаторы! Это же крайность! Б-бе-зу-мие! Я... я комиссар, а не губернатор! Насилие надо мной неуместно! Преступно! Я, я не подчинюсь!

Репьев пожелал подняться. Однако не положил ручки обратно. Тут в плечо ему тяжело уперся Ворохобин, — и вздрогнувший комиссар обомлел от подлин-

ного ужаса. На комиссарский висок был направлен револьвер.

Репьев как скосил глаза на оружие, так и был не в силах оторваться от черной смертоносной дыры. Пришли малые секунды забывчивости. Сознание его вдруг обессмыслело. Он наивно и жалко, несообразно и не ко времени, сравнил револьверное дуло с фотографическим объективом.

Ворохобин вернул Репьева на безрадостную и враждебную землю.

— Довольно дурачиться, гражданин комиссар!—крикнул Ворохобин.—Ни слова больше! Мы знаем, зачем мы пришли! Сейчас же подписывайте! А то... Ну же!..

Комиссару пришлось поверить в действительность угрозы. Точно на подмогу губкомцам, а может быть, из желания присутствовать при развязке, в кабинет дружно и незвано передвинулись остальные большевики. Маленькая женщина, чтобы не слышать выстрела, закрыла уши ладонями и подсказала комиссару всю губительность дальнейшего опоздания.

Репьев торопливо метнулся к столу и подписал приказ. Крупный и сочный пот, как слезинки на жирном сыре, выступил у него на лбу. Столбов держал наготове пресс-папье и пережидал, давая засохнуть чернилам. Потом он аккуратно и бережно приложил, подул на подпись, взмахнул бумагой и передал ее Ворохобину.

Обе стороны, каждая по-своему, освобожденно вздохнули. Столкновение обошлось. Комиссар оставался в своем кресле, вертел между пальцев использованную ручку, с полнейшим безволием готов был выполнить все новые требования. Он стыдился своей малодушной уступчивости, называл себя трусом, презирал, сомневался в правильности своего поведения, — но воротить уже ничего нельзя было.

Губкомцы собирались в отъезд. Комиссар, как тупо и пониженно ни воспринимал то, что совершалось в его кабинете, все же не мог не отозваться на беспримерное и небывалое обращение с ним.

И до столкновеиия, и сейчас большевики ходили, говорили и распоряжались в его квартире, точно бы его самого просто не было здесь или он представлялся бессмысленной и неодушевленной вещью. Они уверенно, словно в механическом движении, преодолевали препятствия и не считались ни с кем и ни с чем кроме себя.

Комиссар бессильно кусал губы. Ему казалось, что большевики не замечали его нарочно. Тем большее рождалось негодование. Он так и отнесся к Ворохобину, когда тот на ходу, громко, уже значительно успокоеннее сказал ему:

— Вы, конечно, понимаете, мы не можем выпустить вас, покуда не освободим и не увезем товарищей. Но мы постараемся это ускорить!

Репьев испытал мстительное удовлетворение. Он сделал вид, что не слышит губкомца.

— Товарищи, — продолжал Ворохобин, — задерживайте всех, кто сюда ни покажется. Гражданина комиссара скоро хватятся и будут за ним присылать: служба!

Столбов перебивал. Плененный комиссар и к нему испытывал такие же обозленные чувства. Столбов показался ему не менее других отталкивающим.

— Сопротивляться никто не станет, — презрительно цедил Столбов, — народ благонадежный и безоружный. Запирайте смело — и конец!

Каждое большевистское слово было как намек на бесчисленные неотомщенные обиды. Ворохобин обстоятельно, будто поторговавший удачно и выгодно купец, дополнил рассуждения товарища:

— Если же найдется — на непредвиденный случай —

какой-нибудь неугомонный... — Ворохобин запнулся, и тут комиссар не пропустил подчеркнутой усмешки его, — что же делать, придется поступить иначе. Товарищи, — с предупреждающей тревогой повысил тон Воробохин, — вы знаете, от вас зависит почти все! Мы должны успеть! Вы держите в своих руках успех!

Маленькая женщина с неожиданной лаской погладила рукав ворохобинской серой курточки, легонько подтолкнула его к двери и быстро добавила:

— Телефон молчит, окна наглухо, к окнам никого не пустим... Поезжайте, поезжайте скорее!..

Губкомцы исчезли. В квартире остались немногие сторожа. Маленькая женщина — и комиссар безмолвно подчинился ей — потребовала от него перейти с кресла на диван, к задней стенке кабинета. Она сильно повернула пустое кресло и уселась в него лицом к Репьеву.

На диване комиссару было удобнее. Он с нескрываемым удовлетворением откинулся к мягкой спинке. Он чувствовал поперек шеи какую-то неприятную болевую линию. Словно он сделал неаккуратный поворот и растянул жилы. Немного болевшая шея заставляла его держать голову несколько вперед, в полуопущенном виде.

Время томительно, в неопределенной неизвестности замерло. В соседней комнате скромно и молчаливо ходили взад и вперед двое дежуривших большевиков. Комиссар прислушивался к шагам, к чьему-то кашлю в коридоре, к случайному треску рассыхающейся от летней сухости мебели, к слабому поскрипыванию кресла под маленькой женщиной и к редким позваниваниям пружин в диване.

Он изредка взглядывал исподлобья. Он не хотел видеть своей караульщицы, старался очернить ее образ и вызвать в себе неприязнь к нему, но помимо своей

воли он взглядывал и не мог враждебно сосредоточиться и разбивался в противочувствиях. Она привлекала, как привлекает все непохожее на других. Комиссар испытывал удивленное любопытство к большевичке. Более всего его заинтересовывала неподобающая роль для женщины, которую взяла на себя эта маленькая фурия. Он так называл ее, хотя и не вкладывал в это наименование никакого нелестного мнения о ней. Комиссар впервые с глазу на глаз виделся с непонятным ему существом.

Большевистский часовой поражал Репьева непривычной мужской крепостью и уверенной свободой в словах и действиях. И при этом часовой без всяких усилий сохранял известную женственность и мягкость во внешнем своем проявлении. Комиссар готов был наделить его теми же и внутренними чертами. Репьев даже с неподходящей для его зависимого состояния приязнью одобрил большевистского стража. Он с некоторой завистью подумал о способностях большевиков, которые умели приближать к себе и находить на свете даже каких-то особенных женщин.

Правда, комиссар немного разочаровался в своем прекраснодушии. Он не нашел никакой охоты у караульщика разговаривать с ним. Тот резко отверг две неосторожных и робких его попытки. Но все-таки он окончательно уже не мог переменить составленного мнения.

Время плелось медленно, как старая лошадь, назначенная на живодерню.

Маленькая женщина тайно и неведомо для комиссара погоняла его нывшим тревогой сердцем.

Не только комиссар, но обманулся бы всякий, кто посмотрел бы на ее худенькое, энергичное тельце, в котором, казалось, жили неистребимые бодрость и задор. Так же бы можно было объяснить два крохотных

язычка, похожих на осенние листья калины, которые пламенели на щеках женщины. На самом деле за видимой сдержанностью и затаенностью была мука.

Выдержанная женщина отчаивалась, терзалась унылыми и безнадежными сомнениями в удаче предприятия и трепетала каждой своей кровинкой.

Комиссар и маленькая женщина сидели на взгляд мирно. Но пути их никак не сходились. Комиссар сравнивал свое подневольное сиденье с долгим ожиданием поезда на какой-нибудь малолюдной станции, вдали от суетливых узловых остановок, в провинциальной темени. Поезд должен был притти, но не шел и не шел. Тоскливо ползли долгие и пустые и бездельные часы. Неприглядная окрестность примелькалась и не развлекала. А все же деваться было некуда — не уйдешь, не уедешь, — и надо было безвыходно дожидаться...

Маленькая женщина добросовестно стерегла, не запоздала бы в опасности и не ошиблась бы заставить комиссара оставаться в безгласной неподвижности. Но она то-и-дело мысленно раздвигала стены комиссарского кабинета и покидала свое кресло. Она была там, рядом со Столбовым и Ворохобиным, торопила товарищей, рвалась вперед и вела их подслеповатыми глухонемыми коридорами загорского централа.

Маленькая женщина по-комиссарски не скучала, она неугасимо тлела зароненным в ней огнем беспокойства. Всякий лишний час ей представлялся как нерадостный и неудачный день жизни.

Комиссар заинтересованно не оставлял наблюдений над своим караульным. Но он не мог заметить, как тот остро прислушивался к малейшему шуму в подъезде, в коридоре, на дворе, как вспыхивали его блиставшие глаза и неуспокоенно косились на двери. То хранители комиссарской квартиры забирали ошеломленных комиссарских посетителей.

Не прислушивайся сам комиссар с надеждой на освобождение, он бы иначе объяснил нетерпение маленькой женщины.

Время, как иссыхающий родник, медленно капало. Пересохшие губы Ксении Гайгаровой неутолимо горели.

Глава тринадцатая

В двух закрытых автомобилях, которые принадлежали разоруженному полковником Оранским большевистскому полку, губкомцы пригнали к тюремным воротам. Хотя в шоферах сидели серошинельные солдатики, но автомобили были наполнены до такой недозволительной тесноты штатскими, что тюремные часовые тронули было железную калитку в огромных воротах и начали приглядываться к неловкой выгрузке.

Столбов сразу испытал некое замешательство. В наряде оказались не те солдаты, с которыми было условлено. Но губкомцы предусмотрели возможные препятствия и неожиданности. Смутная подозрительность часовых не успела развиться. Губкомцы наступили на голову выползшей змеи.

Воробохин важно и с неприступным видом шагнул к воротам, небрежно махнул бумажкой и строго бросил:

— Товарищи, нам к начальнику тюрьмы! Ревизия от Совета! Дорогу мы знаем!

Он не дожидался разрешения, не дал солдатам опомниться и усомниться в его неоспоримом праве ревизовать, широко, с громом отвел калитку и прошел во двор. Комиссарский приказ он небрежно сунул в карман. За ним так же непринужденно проследовала свита.

Автомобили заворачивали в обратный путь. Шоферы не заглушили своих машин и не вылезли вон. Повидимому, ревизия не должна была затянуться, — и шоферам полагалось быть наготове. В короткую пере-

дышку они могли только закурить, что они тотчас же и осуществили.

Большевики миновали низкий сводчатый вход и скрылись от привратников. Знание Столбовым загорского централа пригодилось. Он повел товарищей в знакомое узилище.

Губкомцы выбрали удачный час. Тюрьма открыла свой зев для свидания с заключенными. В свидальной комнате, примыкавшей к канцелярии, было людно. Груда взошедших большевиков смешалась с посетителями и не привлекала особенно невыгодного надзирательского внимания. Покуда надзиратели недружелюбно осматривали среди других каких-то новых арестантских родственников, приходящие на свиданья еженедельно надоедали своими посещениями и узелковыми приношениями, — большевики разместились в назначенных местах.

Столбовский план развертывался. Он основан был на стремительности и внезапности. Надзиратели, как и постовые у ворот, подались на ту же приманку. Ревизия — это громоподобное слово — приводило людей в оторопь и здесь. Владетельное тюремное население строптиво и нечисто стерегло узников, оно боялось зловещего слова, как захлопнувшейся ловушки. Ворохобин повысил голос и ошеломительно произнес его.

В суетливой щели произошла сумятица. Надзиратели угодливо забегали, даже зачем-то потащили стулья, — и предупрежденный начальник тюрьмы Каранчаев немедленно появился в дверях своей каморки.

Он старался изобразить на лице спокойствие и приветливость, полнейшую незапятнанность начальственной чести и посему даже радостное нетерпение в скорейшем своем обревизовании.

Но в такой напрасной готовности он оставался недолго. Каранчаев разлетелся навстречу—и вдруг сразу

отсиял, сделался совсем скупым на улыбки, вид его не к добру изменился. Он узнал старого знакомого Столбова. Сознание подсказало ему о каком-то надвигавшемся неблагополучии.

Сознание было еще в зародыше, но чутье тюремной, виноватой, а потому догадливой ищейки скоро безошибочно определило степень опасности. Она была велика. Как же ему было не почувствовать, кто находился рядом со Столбовым? Он не знал больше никого в лицо, но немедленно почуял большевиков.

Прозорливые его колебания, несмотря на всю их непродолжительность, дошли до губкомцев. Ворохобин и Столбов с немногими товарищами почти вдвинули обратно недавно еще ревнивое к отчетности начальство, а теперь готовое к гибельному для них прыжку. Ворохобин сделал предостерегающий знак большевикам в приемной и накрепко притворил за собой двери.

Пойманный тюремный вождь уловил этот жест. Он окончательно уверился в своей подозрительности. Губкомцы выложили перед ним приказ губернского комиссара.

Пока Каранчаев не торопясь читал и перечитывал бумагу, они пошатывались на ногах. Они наклонились над его лысатой большой головой с таким вниманием, точно намеревались не пропустить нужного срока, чтобы обрушиться на нее сверху и придавить ее к столу.

Они понимали уловку тюремщика, который умышленно тянул чтение. Он уклонялся от дачи надлежащего ответа и распоряжения. Взволнованная мысль чтеца вышла из повиновения и никак не могла побороть своей бедности. Каранчаев, как ловкий канцелярист, шлепал штемпелем по красящей подушке и обратно по бумаге и попадал в одно место. Но дальше не двигался. Он все хотел закричать. Он нарочно не разгибался, чтобы внезапно крикнуть и удобнее юркнуть к двери.

Но он ощущал над собой такое теплое и неприятное дыхание большевиков, и они так близко прилипли, точно уже касались его кителя, что он не мог сделать это. Осторожность пересилила начальническую доблесть.

Время истекало в медлительных и неудачных поисках спасения. Между тем губкомцы придвинулись еще плотнее. Надо было как-то проявить себя. Надо было укрыться от наседавших врагов и непременно обмануть их бдительность. Надо было не показать им и всей своей злонамеренности.

Без смысла и без цели Каранчаев, как шут, начал игру.

— Что-о? — горячо и будто бы вне себя от большевистской наглости, воскликнул он. — Этого быть не может!

— Чего быть не может? — дрожаще насупился Ворохобин. — Не узнаете комиссарской подписи?

Он держал руки в карманах. Противник бегло, с суетцой шнырял по ним глазками.

— Что мы — подделыватели бумаг? Фальшивонотчики? — строго и вполголоса спрашивал Ворохобин, словно опасался спросить полным голосом и не отвечал за свою выдержку. Спрашивал и глядел в упор, в лоб — и шевелил руками в карманах.

Начальник юлил. Он почему-то вместо ответа Ворохобину обратился к Столбову:

— Вы, товарищ Столбов, законник! Вы знаете порядки. Я человек зависимый и подчиненный. Я не могу сразу, не подумав, на что-либо решиться! Я обязан сомневаться. Такова моя служба!

Тут он с радостью усмотрел еще одну норку. Он даже на одну передышку задумался и совсем повеселел. Ему показалось возможным попробовать оспорить большевиков с другого конца.

— Видите, — затараторил Каранчаев, — я теперь не помню. Но мы можем посмотреть... Кажется, товарищ

Гайгаров и другие товарищи арестованы не в административном порядке, приказом губернского комиссара, а по распоряжению прокурорского надзора. Различие немаловажное. Есть такой закон-с: кто арестовал, тот и освобождает. А здесь немножко спутались, спутались инстанции... Губернский комиссар не правомочен. Я в праве усомниться. Я вправе отказать. Я, конечно, не хочу затруднять освобождение... Но, но я должен проверить...

И он как-будто бы нашёл самый простой выход, который до сих пор, несмотря на его простоту и явную доступность, не приходил ни большевикам, ни ему самому.

— Я вызову комиссара по телефону, — тогда препирательства наши отпадут.

— Телефон у комиссара не звонит, — буркнул недовольно Столбов.

Каранчаевская увертливость раздражала. Ворохобин уже переступил грань терпения. Негодование затопило его.

— Не теряйте времени, гражданин Каранчаев, — зашипел он и склонился к поблекшему всеми своими задорными красками начальнику, — комиссар ваш сидит взаперти... и дожидается от нас милости!

Каранчаев отступал и отступал к шкафу. Большевики тесно, непролазно сгрудились. Начальник прижимался к скрипевшей дверце. Ворохобин добрался до телефонных проводов и рванул. Щелкнуло о пол несколько изоляторов, просыпалась по стене известь, и до потолка повисли, как потрепанные хвосты, лопнувшие обрывки проводов. Тогда Ворохобин неудержимо обрушился на Каранчаева:

— А с тобой, палач, мы по-другому, — пикни!

Один за другим большевики вытаскивали револьверы. Шесть неумолимых одноглазых стволов уперлось в грудь Каранчаева.

Он послушно замолк, не смел закрыть раскисших губ и остолбенело глядел в рот яростному губкомцу.

— Товарищи, уберите револьверы, — продолжал Ворохобин, — не надо. Он теперь сделает все. Сейчас сюда мы позовем старшего надзирателя Лихова.

Каранчаев слушал и неостановимо мотал головой, словно поддакивал ему и одобрял все, что бы ни сказал Ворохобин.

— Слушай ты, мерзость человеческая,—снова закипятился тот,—ты подтвердишь все, что я прикажу Лихову. Иначе...—Ворохобин опять полез в карман, и то же торопливо сделали другие большевики,—иначе всех перестреляем! Всю вашу гнусную щель!

Ворохобин громко потребовал надзирателя. Тот семеняще вбежал.

Столбов успел встать около разгромленного телефонного аппарата, прикрыл его, быстро подобрал с полу изоляторы и бросил их в корзину у стола.

Ворохобин твердо и начальнически приказал:

— Немедленно доставить сюда из одиночек заключенных: Гайгарова, Монстовича, Осташкина, Букина и Анохина!

Лихов не успел перевести понимающих глаз на Каранчаева, как тот словно рассердился на нерасторопного подчиненного, весь задвигался в суете и неестественно взвизгнул:

— Привести! Живо!

Надзиратель кинулся.

Большевики дожидались так же трудно, как в это время в комиссарской квартире Ксения Гайгарова мучительно слушала свое учащенное загнанное сердце. Каранчаев робко присел на стул и смотрел на сдвинутый с места будильник. Ему хотелось вернуть его по назначению к чернильнице. Но руки застыли и онеме-

ли. Каранчаеву казалось, что он уже не мог делать неразрешенных жестов.

Гайгаров вошел первым.

— А мы заждались вас!—весело сказал он, словно ничего не происходило заурядного вокруг, как будто он недавно еще расстался с товарищами и теперь возвратился с недолгой прогулки домой.—Вы на два часа просрочились!

Он немного подумал, поглядел пристально на товарищей и как бы заскучал от безделья.

— Что же, можно ехать?—спросил спокойно и лениво Гайгаров.—Кажется, все готово? Так едемте? Зачем остановка? Столбов постережет, покуда мы выберемся.

Большевики свободно двинулись мимо надзирателей. Ревизия продолжалась: она куда-то пошла на тюремный двор! Надзиратели с недоброжелательством подумали о Гайгарове и других одиночниках. Видимо, они сделали донос о тюремных непорядках. Надзиратели невесело затаились. Каждый перебирал в уме сделанные им упущения. Дежурные большевики оставались в приемной.

Ворохобинские свитские едва вступили на тюремную лестницу, разгрузили свои карманы. Освобожденных губкомцев вооружили запасным оружием. Но оно не стреляло в загорском централе! Привратники знакомо пропустили ревизоров.

— Товарищи,—проговорил Ворохобин,—там еще осталась следующая партия. Они скоро выйдут.

Один автомобиль ушел. Маленькое, как в курной деревенской избе, окно из каморки начальника тюрьмы было растворено. Столбов будто разглядел каждый поворот бешено заработавших колес. Тут и понадобился каранчаевский будильник. Столбов поставил его белым диском к себе, указал пальцем начальнику на

черное минутное копье и перескочил через два интервала.

— Немного: только десять минут нам оставаться наедине!—насмешливо протянул он.

Столбов встал у дверей и крепко держал ручку, чтобы предостеречь себя от незваных надзирательских вхождений.

— Впрочем,—дополнил он для точности,—это не все. После моего ухода вы еще пять минут не предпримите никаких... скверных шагов. Мне пять минут за глаза!

Каранчаев точно исхудал от длинной и трудной дороги, по которой он шел, придавленный чрезмерным грузом на плечах и в тесных, не на его ногу, сапогах.

И ему и Столбову эти десять минут показались самыми продолжительными и неудобными за всю их жизнь. Перед концом, когда часовое копье почти кололо назначенную ему цель, враги столкнулись в последний раз.

На столе, недалеко от будильника, белел комиссарский приказ. Вдруг Столбов заметил, что стариковская туша задвигалась. Морщинистая широкая лапа тихонько подползла к документу. Столбов поразился живучей алчности тюремщика. Каранчаев отыскал оправдание своей трусости: комиссаоский приказ прикрывал его, как зонт от дождя. Столбов перехватил бумагу, изорвал ее на мельчайшие доли и швырнул в лицо Каранчаеву.

— Складывай заново, тварь!—возопил Столбов.

Начальник тюрьмы жальчиво привстал и бережно встояхнул засыпавшие грудь лоскутки на стол.

Так его и бросил Столбов за собиранием клочков бумаги.

Автомобили развозили большевиков и постепенно высаживали их в благополучных местах.

Гайгаров задумался и смотрел вперед. Вылезавший на каком-то пустыре Ворохобин тронул его за плечо:

— Я за Ксенией...

Гайгаров высунулся из автомобиля, взглянул вдоль солнечной дороги и с усмешкой сказал:

— Как бы она там не расправилась с комиссаром!

По условию, автомобиль Столбова подобрал Ворохобина,—и они вместе вернулись в комиссарскую квартиру. Губкомцы с оглядкой, разновременно, выпустили двумя кучками товарищей и дали им разойтись. Ксения ничего не спросила, только положила маленькую узкую руку на лоб и неустанно ходила по кабинету.

Комиссар насупился и покраснел. Он понял по довольным лицам губкомцев удачное выполнение налета.

Тут, в подъезде, провожая последнего большевика-рабочего, Ворохобин с резнувшей мукой вспомнил о своей непогашенной печали.

— Семен,—застеснялся он,—я должен уехать из города. А ты знаешь, у меня умирает жена...

Рабочий торопился, пожал ему руку и ответил:

— Хорошо. Адрес я знаю. Пошлю мою бабу.

Он скользнул глазами по сжатым губам Ворохобина.

— В случае,—он безнадежно махнул рукой,—сам понимаешь... Не оставим... Кати, куда следует!

Ворохобин захлопнул тяжелые двери, приник к ним головой и так немного постоял.

— Гражданин Репьев,—через минуту сухо и холодно цедил Ворохобин,—мы уходим. Некоторую толику времени мы просим вас не открывать окон. Из предосторожности мы вынуждены все же запереть вас в квартире. Эту мелочь вы уже легко перенесете.

— Но зачем же?—воскликнул комиссар.—Я не пошевелюсь! Главное вами сделано! Я же не побегу, как мальчишка, подглядывать, куда вы поедете...

Комиссару не ответили. Мимо окон явственно проскочил большевистский автомобиль, но комиссар бестолково решал, сколько же времени он не может выйти из своей темницы...

— — — — — — — — — — — — — — — —

В ночь разными маршрутами Гайгаров, Ксения, Ворохобин и Анохин выбрались за город, другие для связи попрятались на месте. Иногородные путешественники сошлись в леске за Прилуками. Тут их поджидали крестьянские подводы. Ворохобин и Столбов любили обставлять каждое губкомское дело скромными, но полезными удобствами.

Павел Евстигнеев, Никандр Лепаков и Сергей Еремин избалованно не пожелали защищать республиканское отечество. Они давно променяли солдатский плен на бессрочную отлучку в деревню. Подпрапорщик Знаменский сделал июльский скачок в чинах и превратился в прапорщика, а они, непутевые неудачники, попрежнему оставались в своем дезертирском звании. Мужики предпочли на двух полузаезженных лошадках выехать за большевиками и доставить их в свои подозерные края.

Губкомское скопление необходимо было разрядить. Переночевавшего у Еньки Анохина Сергей Еремин на свету посадил в свою рыбацкую плоскодонку и перебросил на Устье-Угольское. Гайгаровы с Ворохобиным поселились в лепаковском сеновале, который стоял бобылем за версту от Молева. Енька строго обслуживала жильцов и заводила неистребимую в годах дружбу с Гайгаровым.

Ворохобин месяцем позже узнал о смерти жены. Семен исполнил обещание и похоронил ее. Ворохобин в тот опустелый день где-то скитался в приозерных мелколесистых болотах, показался на люди,—Гайгаров си-

дел невдалеке от сеновала и наблюдал за приближением товарища,—замедлил поступь, повернул обратно и скрылся на неделю. Возвратился он иссохший, как сухостойное дерево. Гайгаров как будто даже не вспоминал о Ворохобине.

Ксения не выдержала. Она вгляделась в него, дрогнула и неверным, прерывистым голосом сказала:

— Дайте я поцелую вас, Ворохобин!

Семь губкомских зерен, сдутых июльскими ветрами, снова принимались в земле. Подпольный губком жил. Предоктябрьская осень была тревожна, как взведенный курок.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

Волостные расправы были коротки и решительны.

Хромоножка—Марья Николаевна Шеина—не знала малодушия. Отцовская берданка, как на охоте, послужила ей. Садовый павильон, над которым в свое время трудились Платон Кутьков и Терехин, стал последним ее прибежищем.

Марья Николаевна издалека увидала мужицкий лошажий поезд. Как на масляной неделе, он вырвался из монастырской просеки. Нахлестываемые лошади шли вскачь. В первой телеге на длинном полунаклоненном шесте ветер нещадно полоскал красное знамя. Флаг был как огромная рыба, идущая против течения и виляющая хвостом. От пестрых бантиков на дугах, на всей сбруе, на мужицком одеянии казалось—по дороге раскатывали бесконечный разноцветный половик.

Марья Николаевна стояла тогда у террасных дверей.

Она была осведомлена обо всем. Она не сомневалась, что мужики не отстанут от большевистского города. Но горделивое упорство нрава заслоняло в ней сознание опасности, как заслоняет густое дерево окно. Она не двинулась весной, не пошевелилась и осенью.

Марья Николаевна пропустила головокружительный поезд до въездной аллеи с таким равнодушием, точно он должен был непременно миновать усадьбу. Но варварский и шутовски наряженный обоз—таким он ей представился—кинулся вверх, к воротам.

И сразу Марья Николаевна признала встречу с мужиками излишней. В многокомнатном пустом и гулком дому ей сделалось неудобно, скучно и сиротливо.

Марья Николаевна вдруг пожалела, что в своих раздумываниях она простояла напрасно порядочно времени.

Мужики приближались. Марье Николаевне захотелось спрятаться. Она тронулась. И тут всегдашняя горечь исказила ее лицо. Марья Николаевна постоянно забывала о прикованности своей к земле. Хромоножка была неспособна к скорым движениям.

Она захватила ружье и попыталась пробраться через парк в поле. И отказалась. Подмоченная осенней слякотью аллея была ей так же трудна для ходьбы, как малому ребенку неровный пол.

Мужики покрикивали на лошадей уже вблизи. Марья Николаевна с грустью посмотрела на свою непослушную ногу-коротышку, отдышалась и свернула по мокрому газону в павильон.

Она с жалкой усмешкой над собой заткнула ржавую задвижку у белых дверей. Тонкие и хилые, они рассохлись сквозными продольными щелями. Филенки немногим отличались от натянутого на лучинках детского бумажного змея.

Марья Николаевна огляделась. В навалку, грудой валялись на полу вороха листьев, обезноженные парковые скамейки, стружка, щепка, какие-то рогожи, остроконечные колышки, лопаты и тряпки...

Еще на-днях это запустение не воспринималось. А сегодня оно опечалило владелицу. Она с болью почуяла в этом бросовом развале что-то похожее на себя.

В сквозившие повсюду павильонные дыры, как в колосники, свистел и гудел ветер. Последовательно, настойчиво, с ровными затиханиями на крыше стучала съехавшая с гвоздей доска. Марья Николаевна обрати-

ла внимание и на этот стук. Над головой точно перебирали крышу и сколачивали ее.

Марья Николаевна для чего-то потрогала все павильонные рамы, некоторые потянула внутрь. Но они были хрупки, как игрушечные. В нескольких от нажима выпали стекла. Ее испугал этот стеклянный звук. Он словно привлекал к павильону мужиков.

Марья Николаевна уже слышала явственный и тревожный шум в главном доме. Туда проникли. Она, как ее ни тянуло взглянуть в окно, быстро отошла на середину павильона и оцепенела.

Мужики что-то столкнули в доме. Падение это послужило сигналом к мужичьему исступлению.

Марье Николаевне показалось, что мужики спихнули дом с места, переворачивали его с боку на бок, опрокидывали через голову, швыряли из стороны в сторону, разносили и раскатывали по бревнышку. Вот-вот на павильон должны были обрушиться балки, срубы и крыши... Разрозненно треск продолжался где-то на скотном дворе. Тут же в жадный слух Шеиной вломилась беготня по трескучим лестницам. Мужики искали хозяйку.

Марья Николаевна прихромала к простенку между окнами и чуть-чуть выглянула из-за косяка. Она была так потрясена, что неловко показалась вся в оконной раме.

Старуха Аграфена, которая прожила в Юрове долгие прислуживающие годы, уже не человек, а какая-то согбенная ракита над водой, оскорбительно и дико кривлялась, припадала на ногу и вызывала общее удовольствие в мужиках.

Затем старуха окончательно сразила барыню. Костлявым черным своим пальцем, которым она подтыкала изредка расположенную к миролюбию и доступности хозяйку, когда укладывала ту в постель, старуха рез-

ко показала на павильон. Глаза бабки непотухающе от долголетия видели.

Она мгновенно воззрилась на Марью Николаевну и как бы с радостью подтвердила ее местопребывание.

Аграфена не пошла за мужиками, но с ехидством и злорадными телодвижениями что-то выкрикивала вслед. И, должно быть, ее слова были чудовищно несоответственны даже тому, что происходило. Мужики как бы обещали ей проучить барыню и поэтому одобрительно мотали головами, но в то же время отмахивались от нее.

Бабкина ярость превышала всякую меру. Марью Николаевну словно проткнул старушечий палец.

Она увидела перед собой одну манящую цель. Мужики будто не появлялись. Шеина отбросила оконные створки, уперлась коленкой в подоконник, закусила взбешенно губы и уверенно навела мушку...

В этот миг в ее глазах сверкнуло хищное охотничье удовлетворение. На бабке была дареная Марьей Николаевной ватная продранная телогрейка с цветными поблекшими разводами на груди, полинялый красноватый платок и неопределимого, выношенного цвета юбка. Старуха напомнила разгоряченной Марье Николаевне необычайного по величине тетерева. Одновременно с выстрелом чудодейственная птица всплеснула наотмашь руками, рухнула, перекатилась, и юбчонка на ней задралась высоко и противно. Ноги, обутые в шерстяные чулки и сношенные мохнатые туфли, как-то попеременно привскочили, точно птица намеревалась подняться и взлететь.

Мужики отшатнулись и бросились бежать. Издали они косились на лохматый клубок, остановленный в своем живом движении.

Марья Николаевна села на подоконник. К ней вернулось изменявшее мужество.

Она расстегнула ворот беличьей шубки и сдвинула высоко на лоб такую же шапку. Марья Николаевна злыми глазами поглядывала на затихших мужиков. У нее было пренебрежительное к ним внимание. Она как будто была сильнее—и уже победила. Она не защищалась, а нападала.

Марья Николаевна не скрывалась, пребывала у всех на виду, двухствольная ее берданка открыто лежала на коленях и торчала черными своими ноздрями наружу, а струхнувшие громилы отхлынули и, повидимому, явились безоружными. Она дала им урок смелости и решимости! Она не пощадила бабки Аграфены, которая многолетне с притворством няньчила ее и задумала напоследок служить другим.

Тут взор ее упал на кудластого старичишку Платона Кутькова. Он показал бороду из-за нагой лиственницы.

— Эй, девка, погоди охотиться на людей! — закричал он.—Пережди маленько! Поговорим, нетерпеливая, сперва по-соседски. Мы тя не паляем!

Он кричал без всякой боязни из-за крепкой своей защиты, непроносной для берданочной начинки. Марья Николаевна зловредно и язвительно усмехнулась. Потом умело и быстро, как призовой стрелок, взмахнула ружьем. Платон Кутьков едва не пал: хлесткая дробь рванула по лиственнице, и на ней, как от разъяренных зубов, появились прокусы.

— Валяй, сатана, другой раз!—вывернулся неожиданно весь из-за дерева Платон Кутьков.—Выбивай всех стариков!

Марья Николаевна угадала его расчет: он надеялся на дважды разряженную берданку. Она не успела нацелить ее вторично, как смельчак исчез под неуязвимое прикрытие. Шеина громко, победоносно и презрительно засмеялась.

Напротив, дальше других, собралась небольшая кучка и совещалась. Марья Николаевна вздрогнула,—и у нее ненавистно завозилось сердце. Она узнала Павла Евстигнеева. Он показывал на павильон и в чем-то убеждал мужиков. Частые деревья мешали. Павел был далеко, заряд могло не донести, но Марье Николаевне неудержимо захотелось отомстить своему старому обидчику. Хотя бы вспугнуть его!

Она суетливо наклонилась к патронташу, открыла его, застонала и обмерла. Второпях Марья Николаевна взяла пустой.

Мужицкое совещание кончилось. Осенне голый парк задвигался. Казалось, из-за каждого дерева раздавалось угрожающее урчание. Мужики начали отчаянно охватывать павильон по кругу.

Марья Николаевна теперь уже беспомощно и жалко наблюдала, как при перебежках мужики тащили колья, поленья, палки. Она в несчастной и напрасной игре кидалась от одного до другого окна, распахнула их все, грозила берданкой и нарочно вскидывала ее к плечу.

Павильон засыпали камнями. Кто-то подобрался ползком до стены, пошарил ее и смолк. С другой стороны подкрались еще и резко забарабанили по опушке. Марья Николаевна с ужасом понимала, что мужики сползались к дверям.

Недалека была уже та минута, когда они должны были сорвать ничтожную задвижку, как слабый, ломкий карандаш. Марья Николаевна старалась напугать и отогнать мужиков мертвым своим оружием. Но они обняли павильон так плотно, что могли схватиться уже за руки. Однако бездействовали и готовы были от страха прыснуть наутек.

Павел Евстигнеев дал несколько выстрелов из револьвера. Марья Николаевна перестала показываться в окнах. Тогда он и догадался.

— Братишки,—словно отыскав клад, ликующе завопил он,—да у неприятеля, видно, снарядов не хватат!

Он тотчас вцепился за подоконник и полез.

— Стой, стой, берегись, Пашка!—предупреждал Платон Кутьков.—Стрельнет, бешеная!

— Пошел ты, старый вояка!—засмеялся уверенно Павел, уселся на подоконник и спустил внутрь ноги.— Отстреляла, карга!

Марья Николаевна испуганно прижалась в угол. Она в забывчивости, как часовой, держала у ноги берданку и уперлась неотступно в невесело блиставшие глаза Павла.

— Мужики, мужики,—распоряжался Платон Кутьков,—чего же вы обробели? Вали к другим окошкам! Залезай! Вырывай двери. А вот мы свои труды проверим! Крепость невелика!

Мужики сделали один общий прыжок к окнам. Платон Кутьков дернул задвижку и тихонько растворил двери.

Бабы не участвовали в опасном мужицком деле овладения павильоном. Они следили за нападением от главного дома. Едва мужики одолели Марью Николаевну, бабы жальчиво обступили Аграфену, одернули загнувшуюся юбку, поохали, постояли немного и только тогда суматошливо ринулись к убийце.

— А, сука попалась!—выкрикнула с плачем Настасья.

— Разбойница!—разгневанно поддержали бабы.

Павильон наполнился. Ошеломленная, пойманная, прижатая в угол, Марья Николаевна находилась в крохотной людской клетке, более крепкой, чем если бы она была из железных прутьев. Бабы настойчиво тормошили и подзуживали мужиков.

— Кровопийца! Аграфена за ней сто годов убирала! Не угодила! Почто, видишь, мужичка с мужиками!

За бар иди! Изверг проклятый! Да ее самую так-то смирить!

Бабы ожесточались.

— Чего стали?—недобро подталкивали они усталых мужиков.—Так на нее до вечера и станем глядеть?

— Бери ее! Волоки! Пускай опробует той же сладости! Другим-то готовила, ведьма!

— Что, дьяволица?—спрашивала разъяренная, красная, мокрая Настасья и протягивала к Марье Николаевне стиснутые кулаки.—Натешилась! Нахромалась!

Платон Кутьков выбрался наперед, растолкал баб и объявил с издевкой:

— Мне боле других она навредила! Не дам — моя! Веди ее к бабке! Каяться сперва должна!..

Шумно и довольно согласились бабы. Павел, как только коснулся горячего тела Марьи Николаевны, сразу сжал дряблое предплечье и понял, что был уже не в состоянии отнять руки и выпустить покоренного врага. Платон Кутьков подхватил Шеину с другого бока. Хромоножка сильно уперлась в пол и сделала назад движение плечами.

— Я сама пойду,—тяжело сказала она,—и голос ее трепетал гадливостью и отвращением.

Бабы все разом ненасытимо и горячо захлебнулись:

— Не хочет! Нутро воротит! Покойника страшно! От зверства своего тошно!

— Врешь, не уйдешь,—поддразнивал Платон Кутьков и насильно тащил, а потом оглянулся и сказал Терехину:—Ваня, дай поход!

Марью Николаевну больно толкнуло и понесло вперед. Терехин охотно пнул барыню коленком.

— Не вертись, кривобокая!—ненавистно пробормотал Павел и стиснул до ломоты руку хромоножки.

Марья Николаевна страдальчески сжалась, перетерпела, неловко пошла. Слезы затемнили ей последнюю

судную дорогу. За спиной грудно и близко шагали крикливые бабы. В недалекий свой путь Шеина услышала напоминание о стольких своих грехах, что не могла бы оправдаться в них. Вся ее жизнь была недостойна и никому не нужна и всем приносила вред.

— Гляди, что ты наделала! — гаркнул вдруг Павел и начал трясти Шеину с такой легкостью, как бы он тряс за ботву выдернутый клубень картофеля.

Марья Николаевна была подведена к ногам усопшей.

— Наклоняй ей хребет! — потребовала Настасья.

— В ноги, в ноги пусть поклонится! — рванули другие бабьи голоса.—Кланяйся, змея! Шапку, шапку с ней сбейте!

— Слышишь, что ль? — перемогался Павел, а Платон Кутьков швырнул в кусты ее беличью шапку, положил на барский затылок корявую плотничью изрубленную руку и начал гнуть книзу упорствующую голову.

Марья Николаевна встряхнула волосами и резко отказалась:

— Ни за что! Это вы виноваты, а не я!

Хромоножка в гневе забылась и совершила последнюю неосторожность. Она пронзительно завизжала:

— Я своим прислугам не кланяюсь!

Павел освободил руку, ударил кулаком наотмашь по лицу неуступчивую женщину и сшиб ее с ног. Он точно подбодрял себя и воззвал надорванным голосом:

— Убирай эту погань с земли!

Павел выстрелил. Маленький комок, как проколотый и обессиленный мяч, невысоко подбросило и притянуло обратно.

— Конча-ай!—рявкнул Платон Кутьков и взмахнул суковатым колом.—За такую паучиху сорок грехов простится! Сама напросилась!

Били споро и без самозабвения. Добивать не при-

шлось. Марья Николаевна умерла от нескольких ударов.

— Будет, братишки, — сказал грустно Павел, — не выматывай напрасно сил: не встанет! А силы понадобятся на других! Развелось такого добра не в одной нашей волости! По всему Заозерью! Долго накапливали!..

Бабы уже занялись бабкой Аграфеной. Она одна интересовала их. Старуху положили на лоскутное барское одеяло и дружно перенесли в бывший кабинет Николая Петровича. Кабинет нетронуто оставался в том же положении, в каком его покинул заторопившийся в отъезд барин. Аграфена равнодушно легла на владельческий диван, который она еще сегодня утром, заботясь о чистоте и неприкосновенном блеске старинного красного дерева, вытирала послушной ей сухой тряпкой. И так она ухаживала за ним всю свою жизнь. Раньше она не смела даже присесть на мягкие плюшевые подушки. Только сегодня она приготовила его для себя.

— Вы там обряжайтесь, Енюшка,—закричал жалостливо Платон Кутьков. — Обмыть старицу надо. Новины поищите в господских сундуках. А мы тут...

Мужики остались около трупа Марьи Николаевны.

— Куда же эту мертвечину? — соображал Платон.

Обдумывали недолго — и нашли.

— А чтоб не воняла, — сурово поморщился Павел, — тащи ее за парк... Там прежде были картофельные ямы...

И он взялся за еще теплые ноги Шеиной. Марью Николаевну, точно падаль, свергли в глубокую земляную нору и накрепко закопали.

Происшествие расстроило исполкомские планы. Вторую неделю исполкомцы, как радостные молодожены, справляли свою большевистскую свадьбу.

Дружественная кучка из ершовских и молевских мужиков — Павел, Никандр, Сергей и Платон Кутьков — точно вылезла на пригорок, видный во всей волости, и овладела управлением. Внезапно нашлось столько дела, что исполкомские главари с непривычки никак не одолевали его. Молодой исполком выбрал в председатели Павла Евстигнеева. Помощниками же председателя и разными исполкомскими членами состояли, кажется, все мужики из ближних деревень.

Как нескончаемый осенний праздник после умолотного богатого урожая, была чудесная новина жизни. Волость принарядилась, разукрасилась, повеселела. Никому не сиделось в дождливой пасмури неприглядных заозерских хатенок. Бабы—и старые, и молодые— и на выданьи девушки, и неотвязные ребятишки неотступно увязывались за мужиками.

Исполком словно заново бороновал поля и выдирал сорные корневища, которые грязнили густые и чистые всходы. Он изгонял из волости все пришлое, ненужное, что напоминало о недавнем мужицком плене и слабости. Неуживчивый и бедовый исполком намеревался войти во владение всем выморочным барским имуществом. Назначен был повсеместный объезд.

На случай неловких ошибок, чтобы не вызывать хулу и высмеивание своих ближайших деревенских, начали с дальних волостных окраин.

С благополучием и успехом объехали почти все хлебные места. Напоследок решили округлить дело у себя под боком, в видимых из исполкомского окошка владениях. Тут для пущей показной важности надо было действовать сообща. Тут каждому мужику памятен был прихотливый барский и богатейский шаг. Тут враг был виден, как жук в сметане. И враг должен был почувствовать мужика.

В Юрове мужики уперлись в неодолимый тын и за-

стряли. Выезд не удался. Продолжение волостного осмотра сегодня пришлось отложить. Полнейшее расстройство внесли бабы. Они надолго захлопотались около бабки Аграфены, не отходили от нее и распустили слезливое бабье сердце.

После похорон Марьи Николаевны мужики устало расселись у садового павильона. Павел Евстигнеев вошел внутрь, подобрал отслужившую хромоножке берданку, перекинул ее через плечо, надел порожний шеинский патронташ и разместился на ветхом крылечке.

— Павильончик-то, Паша, следовает из негодности вывести, — сказал озабоченно и с хитрецой Платон Кутьков, — другой хозяин, другое и обзаведение. За исполком, поди, возьмешь?

Но мужики были неразговорчивы и не поддержали ретивого плотника. Павел сонливыми глазами повел на павильон, помешкал, потом непоседливо поднялся, обошел его вокруг и начал затворять окна. Платон Кутьков молча следовал за ним.

В Юрове оставили для сторожки и для переписи барских накоплений писаря Мымрикова с Сергеем Ереминым, а остальные мужики недовольно поворотили обратно в исполком.

Павел Евстигнеев, точно у него вырывали, сердито и крепко держал в головной телеге красное знамя. Лошади шли трусцой. Знамя опять напоминало огромную рыбу, идущую против течения и виляющую хвостом.

Глава вторая

События распахнулись. Они бежали, как дождливые ветреные облака. Бабья месть свалилась на головы Никанорихи и Гаврилы Федоровича Рысина с такой беспощадностью, словно пребывание этих людей на

земле дольше не могло быть терпимо. Хмельной и блудный купеческий шинок, точно вестовой огонь, во всякую пору манил мужиков. В нем была как бы непроходимая и непролазная мужицкая беда.

Бабы были немилосердно ожесточены. Они так и явились в Подберезье, кто с паклей и куделью, кто с керосиновой фляжкой, кто с надранным пучком смолистого и чадного береста, кто с охапкой горючей и веселой соломы. Они пришли, как на жнивью помочь.

Дом был на запоре. Енька зло сказала:

— Сидите, сидите, голубчики! Сами себе трубу в печке закрыли! Нам меньше хлопот! Крепче завалим!

Бабы в молчании опоясали дом. Казалось, он был пуст, люди заранее оставили его, и теперь некому было подать голос. Бабы даже немного приостановились, недовольные тишиной и спокойствием обитателей вредного жилья.

— Спят с похмелья, — решила Енька, — тем лучше! Пусть дрыхнут: будить, что ль, станем бедненьких! Поджарим без лишнего воя. Угару нахлебаются и подохнут. Уйти им некуда: рано. Замок замкнут не снаружи. Спят.

Подберезские бабы еще с кануна несли добровольный дозор за намеченными к истреблению врагами.

— Довольно, довольно ждали! — уперлась Енька, словно торопилась скорее развязаться тут, чтобы поспеть к другому, более важному и нужному делу. — Приступай, бабы, к гнилому гнезду.

Бабы живо расхватали как будто нарочно для них приготовленный и еще не сваленный воз дров под окнами. И достаточно было упасть первым вязанкам на крыльце — то бабы подпирали тяжелой кладью выход, — как в доме объявились люди. Никанориха высунула в форточку непричесанную голову и невозбранно понесла.

Острую, злую брань рысинской наложницы бабы не переносили.

Сегодня она ошиблась. Бабы оказались так тверды, точно они навсегда оглохли. Эта бабья каменность вдруг удивила, напугала и как бы опрокинула навзничь Никаноpиху.

Гаврила Федорович выставил в соседнюю форточку свою белую голову. Он с умной тревогой в глазах безмолвно разглядывал подготовительно-страшную бабью работу. Он понял всю неуместность горячности своей невзнузданной подруги. Ему сразу захотелось оправдаться и закричать о пощаде.

В одно мгновенье Гаврила Федорович протрезвел от всей своей беспутной жизни. С мукой и сожаленьем он увидал в ней одни гадкие, скверные и позорные поступки. Он хотел пожаловаться на несправедливую случайность, которая толкнула его к пороку и сраму. Рысину нужно было сейчас снисхождение в такой же ненасытной мере, как старательным бабам отмщение.

Рысин резко оттащил Никаноpиху в комнату.

— Глядите, бабы,— холодно и насмешливо проговорила Енька,— дружки-то, никак, дерутся! Не поладили! Выбрали времечко!

Рысин раскрыл настежь окно. Тогда бабы и потеряли всю свою молчаливую затаенность и сосредоточенность. Они придвинулись ближе, зашумели, понесли откуда-то колья...

— Мужиков, мужиков надо позвать!— беспокойно возопила Настасья.— За мужиками надо! Выстрелит, подлая душа!

Часть баб кинулась вдоль улицы за мужиками.

— Затворяйся! — требовала иронически Енька. — Простынешь! Осень на дворе!

Вслед за этой фразой Енька помрачнела и твердо проговорила:

— Не выпускай его! Лупи кольями! Тычь ему в сытую, непроспанную морду!

Она сильно ударила колом по подоконнику.

— Прыгай! — вызывающе крикнула Аннушка.

Бабы беспощадно захохотали.

Гаврила Федорович с искривленным, жалким лицом отстранился вглубь и лепетал:

— Я... я не убегу!.. Я прошу выслушать меня! Я, я виноват...

Бабы не давали говорить, перебивали, заглушали и отгоняли его от окна.

— Нечего опустя пору жалиться! — сталкивались своры возмущенных голосов.— Не до разговоров! Пошел прочь, улещиватель! Не простим!

— Будет с ним препираться! — командовала жестоко и неподкупно Енька.— Затопляй теплину, бабы! Сторожи их тут! Застегивай на-смерть окаянных! А мы сзадку, сзадку! Мы им устроим масленку! Мы их потешим за бабьи слезинки! Мы их разуважим за мужицкое спаиванье! За пропой деревенский! Наскакались, распутники!

Гавриле Федоровичу так и не пришлось вступить в переговоры. Дом запалили со всех четырех углов.

К началу пожара сбежалось все Подберезье. Дым и горелый смрад тревожно подняли деревню. Рысинское здание стояло с краю, на отлете, жечь дом было удобно, а все же кидучий красный зверь, выпущенный на волю, был опасен. Мужики не принимали никакого участия. Они собрались на случай, если бы огонь разошелся или бабы не сладили с гиблым местом.

Тогда и обнаружилась излишняя торопливость приготовлений. Дровами и всякими несворотимыми чурбаками завалили каждую выходную дырку. Ничего не помнили, лишь бы надежнее законопатить.

Вдруг внутри началась новая возня. Гаврила Федо-

рович то скрывался, то появлялся вновь, и, наконец, его оттащили. В окне мелькнула знакомая кучерская Степанова голова. Воздетые стерегущие колья едва не угодили по ней. Степан выдвинулся по грудь и в негодовании тряс кулаками:

— Нечистая сила, заброды дурацкие, коней-то, коней-то забыли! Раскидывай наваль от ворот!

И Степан взобрался на подоконник, чтобы спрыгнуть. За ним подготовлялась к прыганью растрепанная, простоволосая, ревущая кухарка Агашка.

— Где вы были раньше? — зло укоряла Енька и наставила на них кол.

Бабы недоумевали, но послушно повторили за командиршей то же движение. Степан разинул потрясенно рот:

— И... и меня? — сорвался голос.— За что-о-о?

— Не торопись наутек, развара! — строжила Енька. — Поди, запор-то от ворот не догадался скинуть. Коней-то в подворотню тащить? Беги, отворяй, и Агашку там выпустим. Прыгуны какие нашлись: разбиться охота?

Агашка взвизгнула и кинулась на двор. Пара рысинских жеребцов жалобно ныла в стойлах, поднималась на дыбы, билась о тесную клетушку и грызла коновязи. Бабы мигом освободили проход.

Кони с ликующим ржанием вынеслись из конюшни и помчались со взвитыми хвостами в поле.

Степан и Агашка заглаживали причиненное ими беспокойство и усердно заваливали уже ненужный пролаз.

Гаврила Федорович выставлял зимние рамы. Он беспамятно швырял их на пол. Не все рамы поддавались. Он бил и протыкал их стульями.

Никанориха и Рысин носились по всему дому, чтобы найти освобождающую щелку. Дом занялся от

основания до крыши. Серый непроницаемый дым, как полати, собрался у потолка. Рысин и Никанориха ползали по комнатам. Пол сильно раскалялся, трещал, его коробило. Снизу вонзались въедливые, настойчивые струи.

Все слова, все просьбы и мольбы были истощены. Гаврила Федорович не предполагал, какое множество самых разнообразных просительных слов он незаметно усвоил за свою жизнь. Он чаще отказывал просителям, но обучался от них унизительному языку. Выучка пригодилась. И не помогла. Ему тоже отказали.

Никанориха сознала всю бесполезность просьб для себя. И не искала милости. Ей было душно, дым распирал грудь и застилал горько и тереблиIво глаза. Огонь, как от раскаленной банной каменки, жег и пек тело.

Он усиливался и был на грани нестерпимости. Никанориха пряталась от него, не отставала в метаниях от Гаврилы Федоровича, стучала кулаками в крылечные двери, в ворота, в подвальную дверцу, но молча, но не разжав напрасно губ.

Гаврила Федорович в отчаянии открыл стрельбу из браунинга по бабам. Он выпускал одну неверную пулю за другой. Шипящий багровый обвал прекратил этот предсмертный обстрел.

Сегодня был бабий день. Бабы бунтовали. Из Подберезья они перешли в мошенскую обитель. Бабий натиск увлек немало и мужиков. На Мошу вступил галдящий и озорной отряд. Монахов застали врасплох. Началось бегство. Со смехом и улюлюканьем их перехватывали, кидали на землю, заворачивали им на головы подрясники, садились на ноги, распинали крестом руки, а потом, кто чем попало, с прибаутками и нравоучениями, секли.

Нещадный бабий разгул развернулся на скотных и

страннприимных монастырских дворах. Тут все было давно знакомо. Бабья ревность обрушилась на скотниц. Бабы вваливались в прибранные келейки монашеских умильных жен. Тряпичные пуховые гнездышки, лелеявшие запретную иноческую плоть, испытали стремительное превращение. В них все было разнесено и взбито, точно в опрокинувшейся телеге коробейника.

Бабы метлами и вениками погнали вон мясистых и поджарых блудниц. Бабы, точно тяжелое стадо буйволов без пастухов, столкнули с дороги столетнюю оранжерею и переломали и вытоптали в ней все холеные, редкие горшечные цветы. От оранжереи осталось одно битое стекло. Бабы вскрыли запасливые странноприимные клетушки, погребки и кладовые. Они вышвырнули оттуда возы всевозможных стеклянных и глазурных глиняных баночек, кринок, опарниц с вареньями. Густое, ползучее цветное варево поднялось огромной пахучей кучей. Бабы облили ее из протухших помойных ведер.

Мужики возились с монахами. Они схватили за оградой тонконогого Агафадора. Он был притащен к запруде и передан бабам. Те раньше изловили его наперсницу. Бабы связали Феофанова заместителя с супругой и с веселым глумом троекратно погрузили в студеную запрудную воду.

Злая забава укрощения монашеской плоти пришлась бабьему нраву по вкусу. Игуменскую зловредную участь испытали многие, нарочно уловленные иноки и скотницы.

Бабы с мужиками выкупали в осенней купели перепуганных вероотступников. Потом настал черед поплатиться другим мошенским насельникам.

Когда толпа показалась на дороге, у хлебных амбаров Константина Андреяновича Косарева происходила родственная потасовка. Малолюдство не мешало ее

ожесточенному громогласию. Павел и Дмитрий Косаревы с женами прибыли на телегах. Они наступали на Константина Андреяновича, размахивали кулаками и отжимали его от широких плотных ворот, запиравших соблазнительные хлебные клады. Усохшая, согбенная бабка Афанасья с клюшкой, как крот, копалась под ногами сыновей и снох, бессильно расталкивала спорщиков и хныкала. Катерина суетливо кружила около мужа и застраняла его от угрожающе налезавших деверей и невесток.

— Еня,— взмолилась она, когда заметила ту впереди бабьей и мужичьей толпы,— голубушка, усовести ты их!

— Я тебе не Еня и не голубушка,— резко отвела просьбу Енька.

Константин Андреянович часто мигал, словно братья успели ему запорошить глаза. Он не мог сомневаться, что все его сопротивление было теперь напрасно. Братья и невестки непобедимо усилились.

— Что, Константин Андреянович, пришлось-таки нам с тобой поквитаться? — спросила Енька.— Поделись, поделись с братьями, жадюга, отмыкай свои воровские замки! Думал, до скончания века будешь над своими мужиками куражиться, в долгу гноить, самовары последние в заклад отбирать?

— Души его, мироеда! — крикнули мужики.

Косаревскую семью охватили. Она скрылась в толпе, как затопленный весенними водами малый и низкий куст на островке.

— И эта клюшница тут как тут! — процедила Енька на бабку Афанасью.— Неразлучна, подлюга, со своим пузаном!

Бабы охотно и дружно выпихнули старуху и погнали ее домой.

Константина Андреяновича разглядывали с таким

любопытством, как будто в толпе находилось совершенно диковинное существо, ничем не похожее на обыкновенного человека. Косарева обступил внезапный холод, точно он уже давно и связанно стоял на высоком косогоре, где продувал его насквозь морозный ветер.

— Что, поди, сердце болтается, как деньги в кошельке? — язвила возбужденно, колюче и зло Енька.

Дмитрий Косарев жаловался, негодовал и шумел:

— Ему обухом между глаз бей, никакого толку не будет! Не пошевелится, деревянный!

— Отпирай амбары! Чего тут прохлаждаться! — выкрикнули сразу из толпы.— Забирай, ребята, товары на большевистскую книжку! Беспортошным братьям полушки записывал, живоглот!

— На узелки лучше!—засмеялась Енька.—Заодно ему осталось развязывать узелки! Последняя утеха!

Павел Косарев кидался из стороны в сторону и радостно взывал:

— Ставим угощенье обществу! Ешь, бабы, косаревские пряники и леденцы! Мужикам самогонка будет!

В толпе не было ни одного, кто бы не бывал тут, у новеньких, громоздких и по-паучьи широко рассевшихся при дороге хлебных и лавочных вместилищ косаревской казны. Бывали здесь только с поклоном, с униженной, горбатой спиной. Продолговатая и узкая, как пирог, переплетенная в холстяную пестрядь, косаревская долговая книга была исписана старательными каракулями Константина Андреяновича. В ней, словно в волостной подушной книге, вразброд и врозь были повторены именные записи всей округи. Поданный Павлом знак был нужен, как звонок отходящему поезду.

Амбарные и лавочные замки сняли так просто,

точно раздавили сургучные печати на водочных бутылках. Телеги навалили мешками с хлебом горой.

— Довольно, ненасытные,— смеялась Енька,— за мост на чигунке заденет! Можно и вдругорядь увезти! Дорогу обкатали — приедем!

Павел и Дмитрий покрикивали:

— Грузи с навалом! Подряд берем! Кому надо — складай! Буржуи мы инакие, чем братец наш!

Бабы жадно уписывали даровые кулацкие сласти.

— Мало с него взяли! — злилась снова Енька и наблюдала за Константином Андреяновичем.— На исполком с него жертву! Будет на церкви дарить. Попы наелись. Пускай на волость раскошеливается!

Тогда и вспомнили о косаревском соседе Василии Дормидонтовиче Буракове.

— Ваську-то Носа забыли! — подсказала Машка, давно изгнанная постоялодержателем из прислуг.

С тех пор она то побиралась в волости, то переходила работницей с одного крестьянского двора на другой и скудно кормилась. Машка досевала, дожинала, доборанивала в войну безмужичьи, сиротливые бабьи поля. А теперь она была исполкомской сторожихой. Она куда-то спешила из Березников и ненароком подоспела к самому разгару косаревского посрамления. Машка покосилась на прежнее свое жилье и зло прищурилась. Случай привел ее ко времени.

— На постоялый! — всколыхнулась и даже запрыгала толпа.— В холодную их! Подбавляй нечисти! Чего они на вольном воздухе гуляют, негодяи! Аль исполкому денег девать некуда! Гляди, на них выросло шерсти сколько — и стричь некому!

Машка оказалась путеводительницей.

Василия Дормидонтовича извлекли с таким нетерпением, что лестничный спуск со второго этажа представился ему одной ступенькой.

Немалая (каждоутренняя и каждовечерняя) была провинность перед мужиками и у маслодела Федьки Бокова. Завернули на маслодельный завод. Молочный обвешиватель,— у него даже голос был как будто с молочными зубами, тонюсенький и слабый тенорок,— изобразил на своем глянцево-молочном лике приветливость.

— Ну, верста, закрывай фабрику! — строго потребовали смиренные носчики молока.— Удой у нас нынче такой — на вечер тебе не осталось!

Мужики подходили в очередь, пили по маленькому ковшу парных сливок, прикончили духом высокую узкогорлую тару и взялись за маслодела.

Бокова взашей вытолкали на улицу к Василию Дормидонтовичу и обоих с пинками повели. Машка старалась больше других.

— Парочка — коренной да пристяжной! — воскликнула Машка. — О, раздолье, мужики! Сейчас третьего в пристяжку! На тройке и покатим! Все, все натерпелись от них. Я им клетушку сыщу в исполкоме!

На Березниках толпа соединилась с другой. Там бывший человек, отставной старшина Антипа Иванович, в крови, в наполовину изодранной рубахе, с мохнатым, стынущим от оголенности брюхом был ведом сыном Федором и снохой Ольгой. Березниковское бабье и мелкотравчатая челядь окружили их. Безрукий инвалид на деревянной ноге размахивал пустым рукавом и гулко стучал деревяшкой.

В этот день Антипе Ивановичу припомнились все его прегрешения. Сноха и сын с единым мучительным криком повалили его на лавку, рвали бороду, волосы, душили... Они доконали бы Антипу Ивановича, не отбей его посланцы исполкома. Этот решил заключить под стражу всех волостных кулаков и богатеев, в особенности же долголетнего самоуправного старшину.

Исполкомская кутузка была загружена волостными отщепенцами, как сусек зерном. Исполком очистил волость от всей скверноты и был превознесен как бы на высокую гору, видимую из любой избы.

Мужики выбрали два ведреных дня и перекрасили старое волостное правление в красный цвет. В мошенской обители для какой-то надобности хранилась дорогая эмалевая краска.

Сам председатель Павел Евстигнеев залез на крышу и укрепил на трубе красное знамя.

Исполком обстраивался тогда же, и совершенно на военный лад. Из Старого Куркина были доставлены две маленьких столетних пушки, объявлены народным достоянием, вычищены от мусора, перевязаны красными лентами и водружены на исполкомском крыльце в качестве почетных и грозных часовых революции.

Вскорости после перевозки, в день наложения исполкомской контрибуции на Константина Андреяновича, на Василия Дормидонтовича и Антипу Ивановича с прочими узниками исполкомской холодной, — Федька по наряду на месяц колол дрова для исполкома, — был произведен из пушек праздничный салют.

Пушки были выкачены на большую дорогу и повернуты узкими своими смертоносными жерлами в пустое просторное поле. Исполком допустил к стрельбе подросшую терехинскую, ереминскую, обуховскую молодятню. Празднество омрачилось неудачей. Выстрелила одна пушка. Другую пушку, чрезмерно набитую порохом, разорвало. Так как подпаливали заряд издали, на длинной палке с наверченным наконечником из просмоленной горящей пакли, подпаливали лежа на земле, то разрыв обошелся без особенного вреда для пушкарей. Исполкомское крыльцо однобоко осталась сторожить уцелевшая пушка.

В пополнение убыли и чтобы уравновесить торжественный вход в исполком, предполагали было снять с Березниковской горы каменную бабу, но не достигли единогласия. Среди исполкомских членов нашлись упорные насмешники и не согласные ни с какими иными предметами украшений, кроме военных.

Контрибуцию взыскали.

Глава третья

В эти же дни председатель Устье-угольского исполкома Сенька Кулик со многими понятыми прибыл в усадьбу Отрадное. Судьба щелкала с одной стороны на другую не только самого губернского комиссара Репьева, но и родовое колено его. Прогоравшее от несоразмеренной выти с приходами старое отрадненское имение находилось в совладении двух братьев Репьевых. Сергей Иванович, маленький и лысенький человечек, жил в нем безвыездно, брат — Василий Иванович — только летами. Удар по одному бил и другого.

Председатель исполкома прибыл в совершенно разочарованную минуту жизни Сергея Ивановича. Тот глядел из большого господского дома в колоннах на отрадненские просторы, предавался многим накопленным воспоминаниям о твердокаменном минувшем и никак не мог примириться с ненадежным настоящим. Оно видоизменяло то, что Сергей Иванович считал самым главным в своей жизни.

Сергей Иванович с тоскующей подавленностью и сожалением рассматривал въездные красные ворота. Не пойманные озорники уже за войну разделались с царственными зверями, которые сидели на двух пилонах: на одном осталась львиная лапа, на другом — хвост.

Блуждающий взгляд Репьева перекидывался дальше, на барскую церковь со склепами. Там лежала вся

фамильная галлерея. Ротонда покрывала церковь, как юбкой на китовых усах. В этой архитектуре была милая улыбка прошлого: затейливые Репьевы носили кринолины, и они заставили крепостного архитектора повторить еще один кринолин. Сергей Иванович испытывал жалость и к этой утраченной ныне свободе самодурства.

Первый снег будто беличьими шкурками закутал французский парк с гротами, беседками, сфинксами на плотине и скульптурным партером. В расстроенном воображении Сергея Ивановича возник образ мрачного погребального катафалка: черная осенняя земля в первой пороше показалась ему чрезвычайно похожей на него.

Сенька Кулик с понятыми и застал его в задумчивом лицезрении многозначительных знаков, которые намекали на предстоящую горестную судьбу родословного дерева Репьевых.

— Вот что,— повышенно громко, почти крикливо, сказал председатель,— поди, слышал... Да ты знаешь! По всей земле поставлена власть крестьян и рабочих. Нам приказано вас из волостей долой!.. Забирай свои сертуки и... мадамов! К утру чтобы никого не было! Не то — худо будет!

Председатель скинул енотовую шубу, отобранную для зимних поездок исполкомского начальства у бумажного фабриканта Семенкова, и положил ее на обеденный круглый стол. Понятые не раздевались.

Сергей Иванович воспылал лютым возмущением. Он замахал маленькими кулачками и, багровый, словно клюквенный кисель, взвизгнул тоненькими голоском:

— Хам! Мужик!

Сенька Кулик равнодушно усмехнулся.

— От хама слышу! Останавливайся без глупостей!

Кажи дом! Квартира исполкому нужна? Нужна. Исполком здесь и будет!

Председатель стоял будто высокая колокольня. Рядом с ним Репьев пыхтел и фыркал, как вскипевший самовар. Сенька Кулик благодушно плюнул:

— Не за воротки мне с тобой ходить: поврежу раньше сроку! Куражиться не во всякое время можно. Ты какой-то, право, несуразный, барин! Я по-хорошему, а ты в гордость. Не грабители какие-нибудь приехали, а за своим добром. Мы и без тебя обойдемся: на кой-то ты чорт нужен!

Председатель принял вдруг совсем немилостивый и наказующий ослушников начальственный вид.

— Погоди, за сопротивление ответишь! Сам себе перекладину готовишь!

Сенька Кулик ударил с силой в грудь, передернул огромными плечами и зычно гаркнул своим провожатым:

— Правильно, граждане-мужики, я поступаю али неправильно?

Те одобрительно поддакнули. Председатель пошел с осмотром. Старые паркетные полы скрипели под тяжелым шествием. В зеркалах отражались дубленые рваные мужичьи шубы и полушубки. Большое председательское тело в вязаной желтой рубахе, с белым шарфом на шее возвышалось над всеми. У трюмо жакоб Сенька Кулик пригладил рыжую куделю волос, отставил ногу и покашлял. Он довольно наблюдал, как тряслась его борода от кашля. Понятые засмеялись и подтолкнули его вперед. Он нажал клавишу у раскрытого фортепьяно, похвалил музыку и дружелюбно подмигнул семенившему поодаль Сергею Ивановичу. За фортепьяно на высокой тумбочке из красного дерева с глубокими золочеными выдолбинками стояла мраморная Венера Медицейская. Председатель

застыл, малость растерялся, скосил рот и пренебрежительно ткнул пальцем в сосок богини:

— Ишь, срамница ровно баба в бане!

Он даже замахнулся на нее рукой. Репьев схватился за голову и простонал. Сенька Кулик заглянул во все углы и закоулки. Он усаживал мужиков на огромные диваны-самосоны, они ощупывали по-бабьи обивку, восхищались ее добротностью и подолгу вразвалку отдыхали. В барской спальной председатель приподнял из карельской березы кровати и попробовал пружины матрацев. В детской он запустил волчка и погладил по головке игравшую там дочку помещика. Та улыбнулась ему. Сенька Кулик хитро обратился к молчаливому Репьеву:

— Ишь, не как ты встречает! Кровь ровно другая!

В гостиной председатель встретил жену Сергея Ивановича и столетнюю бабушку. Они уставились на него робкими, приговоренными глазами. Сенька Кулик, поддержанный понятыми, густо крякнул.

— Эх вы, женщины арматурные! — сказал он почему-то сокрушительно и вздохнул.

Репьевы посторонились от него, а древняя бабушка замерла на диване и перекрестилась. Председатель нахмурился и важно бросил:

— Кажи дальше! Главное — по хозяйству! Без моего дозволения не вывозить ни коровы, ни лошади, ни сбруи! Инвентарь пуще всего! Шило на мыло мы не размениваем.

Мужики обошли комнаты, слазили на чердаки, в кладовки, в погреба и вернулись в столовую.

— Все взято на глаз! — подозрительно выкрикнул Сенька Кулик.— Любую вещь на ярмарке сыщу!

Мужики расселись вокруг стола. Председатель вынул из холстинного портфеля кучу засаленных, как передник у кухарки, бумаг, обмуслил желтый от ма-

хорки палец и стал неспешно перекладывать свою канцелярию.

— Во-о делов сколько! — весело усмехнулся Сенька Кулик.— Всему надо ход дать! Расписку с тебя придется получить: был-де я и все тебе рассказал по закону! Гляди сам — скорее отыщешь. На карандаш: не больно заметно, а пишет!

Сергей Иванович разыскал и расписался. Председатель повертел расписку, бережно разгладил ее и сунул в кучку. Мужики свернули цыгарки из самосадки, закурили от зажигалки Сеньки Кулика, сделанной из старого патрона, и долго чадили. Репьев стоял и мучительно задыхался в непривычном дыму. Потом председатель спохватился и начал залезать в свой енот. Он намеревался произвести осмотр всех надворных построек. Неожиданно для Сергея Ивановича он запретил ему участвовать.

— В хозяйстве мы как дома,— сердито сказал Сенька Кулик,—там ребята свои: не утаят, все покажут! На постой мы сюда к ночи воротимся. Любо — не любо, а жди! Мы не по своему делу, а по волостному. Нам почет должен оказывать всякий человек.

Председатель захватил подмышку портфель. Сенька Кулик ухмылялся в рыжую бороду и подчеркнуто стучал сапогами. Мужики торопливо следовали по пятам. Глаза Сергея Ивановича, точно два шила, тыкали им в спины. Репьев отчаянно схватился за голову, томительно дергался лицом, слушал, как мужики спускались по лестнице.

На скотном дворе, едва там появились исполкомцы, поднялось самое праздничное веселье. Сенька Кулик изображал в лицах барина. И от его смешного актерства дружно хохотали работники, а бабы с визгом хватались за животы.

В оранжерее председатель долго рассматривал

французскую грушу, разговаривал с садовником о теплом климате и кстати пересчитал, сколько было на дереве плодов. Он загнул шесть пальцев, садовник сделал то же, и оба серьезно поглядели друг на друга.

Мужики старательно обрядили своих лошадей и задали им на ночь вволю репьевского овса. Они поздно и громоздко вернулись в дом, разостлали на полу заеложенные меховики и улеглись. Сенька Кулик положил под голову портфель с исполкомскими бумагами, прикрыл его бараньей папахой и, закинув руки за голову, сладко растянулся.

Долго не спала в эту ночь девочка Репьевых и все расспрашивала о занятном дяде. И будимая нянька спросонья говорила:

— Спи, спи, Люсенька, это великан! Кто не спит, он того кладет в мешок и уносит в лес...

Девочка вздыхала, натягивала до глаз белое одеяло и крепко держала его обеими ручонками.

— Няня, а он не людоед? Он папу не скушает? Папа у нас такой маленький-маленький... Такусенький,— девочка делала в воздухе крошечную свою четверть,— а великан большой-большой!

Древняя бабушка смотрела в темноту непонимающими глазами. Ей было как-то так тепло в постели, как никогда не бывало раньше, словно тепло истекало из родных стен, пола, потолков. Старухе не верилось, что это тепло кто-то может отнять у нее, и она настойчиво перебирала в уме всех своих важных и влиятельных знакомых. Со вздохом бабушка не нашла никого, к кому бы она могла обратиться за помощью от покусителей

Сергей Иванович катался гремящим биллиардным шаром по кабинету, придумывал самые злейшие казни председателю, слушал плач дочери и думал о французской груше в оранжерее. Ему особенно было

жалко редкого насаждения. Словно кто-то шептал ему сначала грустным голосом, который потом переходил в клокочущую злость:

«Такое нежное и тонкое дерево... Им гордился весь уезд... Не уберегут, варвары! Сломают... заморозят...»

Сенька Кулик храпел из рыжей путаницы бороды. Снились ему неохватимые глазами отрадненские поля, ходили по ним, попыхивая, какие-то машины вроде паровозов, — он видал их на картинках, — разворачивали, как в разлив реки, разбухшую землю, — и вырастала из-под колес густой мохнатой зеленью озимь. Откидывая во сне председательскую руку, он стучал по полу, как по лукошку с тяжелым зерном...

— — — — — — — — — — — — — — — —

Ночные страдания репьевского отпрыска, будь они услышаны на стеклянном заводе Василия Ивановича Никуличева, за тридцать верст от Отрадного, вызвали бы самый родственный отклик. Они совпадали.

В заводской сторожке, взаперти, перед жалкой керосинной коптилкой, облокотившись на стол, проводил понурую ночь Никуличев. Его стерегли рабочие, которых нарядил завком. Василий Иванович никак не мог примириться со своим арестантским положением.

Василий Иванович понимал всю опасность, взгромоздившуюся над его головой. Он так много, через край, без удержу властвовал над стекольщиками, что не смел теперь рассчитывать на милость.

Сердце его злобствовало. Никуличев казнился, что недогадливо проглядел события и дал подкрасться к себе, как глупая птица в гнезде, покуда ловец не накроет ее шапкой.

Он ни на единую секунду не допускал, чтобы рабочие могли путно овладеть его предприятием. Он привык

считать стекольщиков способными только на изготовление бутылок. Но в то же время он сильно недоумевал.

Завком захватил заводскую контору, кассу, обосновался в его доме, но он не делил денег поровну, деньги не пропивали, завод почему-то работал, как всегда, завком даже увольнял лодырей рабочих, и они смирно и виновато бродили за председателем.

Никуличев сурово глядел на красноперый фитиль и обдумывал спасительные выходы на свободу. Они, однако, приходили так скупо, точно кто-то другой их уже все исчерпал — и на долю Василия Ивановича не осталось. В безнадежной неразберихе чувств и мыслей он свалился на лавку и не выдержал долгой бессонницы.

Все последующее было совершенно непохоже ни на одно из решений, какие он выискивал для себя накануне. Позднее его пробуждение после обеденного гудка,—Василий Иванович удивился, что он так неподобающе разоспался, может быть, в самые бесповоротные часы своей жизни,—сразу возбудило его к тревоге.

В сторожке с ружьями на плечах, с упорной хмурью глаз, стояли завкомцы.

— Вставай!—приказал плюгавенький председатель Акиндинин.

Никуличев больше всех ненавидел этого низкорослого, малоразговорчивого и неуступчивого человека. Особенно раздражала Василия Ивановича, могучего, как долголетняя ветла над прудом, маленькая, вертлявая, шилообразная фигурка председателя и его постоянно сдержанная, какая-то секретная, затаенная усмешка. Он чувствовал в председателе, несмотря на суетливую живость, того внутренно уравновешенного, холодного ко всем жалобам и мольбам и уверенного в своих поступках врага. Этот мог принести только

зло! Никуличев так и понял его резкий окрик, перепуганно подчинился, но язык сам по себе, когда мысль запрещала делать это, пролепетал:

— Куда вы меня хотите вести?

Акиндинин как бы удивился недогадливости узника или неуместной любознательности его, посмотрел на товарищей и с насмешкой ответил:

— Недалеко!

Василия Ивановича вывели на заводский двор. Осенний пронзительный холод сразу забрался под никуличевскую поддевку. Неприятной своей виляющей походкой Акиндинин пошел впереди Он держал направление за рабочие казармы. Никуличев следовал неверно и неумело, не в шаг. Он точно вдруг разучился ходить. Толпа рабочих хмуро и молча пропустила его и двинулась сзади.

Василий Иванович в оторопи и ужасе сообразил, что путь его вел к высокому, плотно и крепко сколоченному забору, на надежное устройство которого он не жалел средств. Там было глухое и свалочное для всякого мусора место.

Василий Иванович вдруг пережил такое отвращение к безобразной свалке, что уперся ногами в землю и не хотел итти дальше. Его толкнули, он упорствовал и не поддавался. Толпа вразбивку засмеялась. Кто-то выкрикнул:

— А! В волы записался! Бодается! Курган ему не люб!

Василия Ивановича насильно тащили. Он понимал, как было жалко его барахтанье.

— Носилки требует! Нести просится!—язвила толпа.—А мы, дураки, его пехом!

У самой большой груды Василия Ивановича действительно взнесли на воздух и с охальством и прибаутками швырнули на вершину. Толпа уже была так

настроена к Никуличеву, что всякий его поступок вызывал бездушное отношение.

Никуличев мигом взвился и закашлялся. Стекольщики прыснули.

— Стой прямо! — тонко, как острое жало вонзился ненавистный голос Акиндинина.

Завкомские ружья уперлись в Никуличева. Минута была решающа. Толпа смолкла и задержала дыхание. Завкомцы точно раздумывали: нужно ли им стрелять? Они трогали охладевшие на ветру курки. Василий Иванович все еще не допускал, что ружья выстрелят.

Когда он упал ниц, толпа обступила то неподвижное и бездыханное, что как-то чудно было обуто в высокие сапоги, одето в потасканную, поддевку и в серые полосатые брюки. Из-за казармы уже выезжала рабочая телега, вывозившая заводский сор. Акиндинин предусмотрительно распорядился запрячь лошадь. По условию с возницей-сторожем, тот прятался за дровами и поджидал залпа.

Бумажный фабрикант Семенков оказался дальновиднее. Обширный город с тысячами лазей предохранял его, как булавку, брошенную в пространство. Взамен его устьеугольские рабочие обрели старого директора Эдуарда Эдуардовича Струка. Пожива была крупна, но она удовлетворяла не вполне. Фабком не устерег директора. Фабком старался переправить его в загорский централ. Там была отведена камера для дорого стоящих заложников. Рабочие отбили Струка. Долголетнее семенковское насаждение было выдернуто с корнем, как вредный лопух.

Владимир Викентьевич заказал себе дорогу в Устье-Угольское. Он сменил свой затейливый дворец на городское невзрачное проживание в какой-то чердачной комнатушке. На улицах стал нечасто показываться человек не совсем демократического происхож-

дения. Он был весьма привередлив в выборе прогулочных мест. Казалось, от укрытого во тьме его прошлого единственно уцелел, хотя и общипанный молью, бобровый воротник.

По миновании немногих дней после казни Василия Ивановича и Эдуарда Эдуардовича произошло незатейливое устроение рабочего клуба на прибытковской лесопилке. Из летнего убогого сарайчика пильщики перебрались в обставленные никуличевские чертоги.

Сергунька переночевал в давно недействующей сторожке, которая была укрыта липовой чернотой парка.

Сиротство его было непродолжительным. В поздину черного вечера, когда приехавший на новоселье Анохин был чествуем как знатный и желанный гость, в клубе на двух тальянках исполняли «Интернационал», в окошко Сергунькиного ночлега застучал нетерпеливый палец Лафтакова.

— Сергунька, — прошептал Лафтаков, — друже, укрой меня! Я едва добрался. Мужичье... с ружьями, с кольями... Не знаю—оставят ли в живых жену с ребятами.

— Тут низко и коряво,—сказал мрачно Сергунька и впустил Лафтакова, — не расшиби лоб. И ноги побрегай. Всем пришла беда. Ночовка наша тут, будто печка с полой трубой... ветер ходит. А укромности не больше, как на постоялом дворе. Может, и не доночуем до свету...

Уже впущенный внутрь, в затхлой нежилой мгле помещения, на покоробленном горбатом полу Лафтаков говорил тем же подавленным, задушенным голосом:

— Черную Гряду мою истолкли в муку... Через решето просеяли. От всего добра остались — вывески. Напоследок подожгли. Огня—точно сосновая роща на суходоле горит! Сергунька!—ужаснулся Лафтаков.— Ты знаешь: Гаврилу с Никанорихой сожгли заживо!

Сергунька поддержал Лафтакова, и они вместе уселись на какие-то гнилые обрубки. Лафтаков все рассказывал и рассказывал: Октябрь запоздал на Черной Гряде.

Сергунька долго молчал, хмурился, старался побороть себя, но от лафтаковских жалоб нахлынуло живое суровое воспоминание об отце, и он не выдержал, подавился и горько завыл.

Глава четвертая.

То, что губернский комиссар Репьев называл своей жизнью до большевистского пленения его, — такое название ни в каком случае не оправдывало себя. Настоящая жизнь началась именно с этого злокачественного дня. Доказательства следовали с расточительной щедростью.

Однажды осенью среди ночи он несвоевременно проснулся и внезапно приподнялся на локте. Неровное дребезжание колокольчика было явственно и напряженно так, точно колокольчик находился внутри тумбочки у кровати. Тонко и знакомо скрипнули кухонные двери, в переднюю неторопливо вышла прислуга, с ползучим лязгом отвалилась дверная цепь, и наконец по коридору начали приближаться глуховатые мужские голоса. Слух Репьева мгновенно обострился. Комиссар с незнакомым ему и как-то раньше не приходившим чувством сразу понял и оценил всю мирную прелесть спальни и уютную теплоту постели. Ему захотелось, чтобы никто сюда не вошел, чтобы ночь продолжалась, как началась, чтобы ненужный свет не зажигался в синем фонаре под потолком. В темноте была какая-то устойчивость, постоянство и крепость.

Крайнее и самое ближнее к нему окно неожиданно обозначилось на стене восемью своими перемычками,

дрогнуло, постояло, проползло по обоям и потухло. Комиссар резко и находчиво повернулся к нему: освещенное окно как бы сулило ему спасение. Он на секунду обрадованно поверил, что мог не дожидаться искавших его людей. Но свет с улицы скользнул и пропал. Репьев разобрал внятное клокотание перед домом автомобиля.

Шаги наступали. Комиссар заторопился и повернул выключатель. Подслеповато-матовый огонь показался ему ослепительным огненным шаром. Полуоткрытый глаз Репьева испуганно и затаенно следил. В спальню строго и свободно вошли солдаты.

Недалеко от кровати стоял Ян Монстович. Комиссар не мог удержаться от восклицания. Над головой Репьева точно сверкнула кривая сабля: то Монстович повелительно махнул рукой снизу вверх. Губернский комиссар с содроганием почувствовал в себе какую-то собачью понятливость. Жест хозяина был так красноречив, что Репьев сейчас же поднялся и начал одеваться.

Монстович деловито повел прищуренными глазами по наклоненной комиссарской фигуре. Ноги Репьева будто распухли и сделались неумелыми и неуклюжими. Они никак не влезали в разношенные и прежде удобные ботинки. Комиссар услужливо и застенчиво торопился. Он с досадой порвал шнурки. И уже совсем сбитый, беспомощно зашнуровал ботинки обрывками.

Ян Монстович был неподвижен, терпеливо дожидался и сосредоточенно разглядывал свою непомерную высоту в длинное трюмо напротив. Представлялось— это разглядывание так его занимало, что на мгновения губкомец даже забывался, по крайней мере Репьев уже справился со своим костюмом и некоторое время вынужден был беспомощно и принужденно сидеть на кровати. Он искоса взглянул в зеркало и пугливо упер-

ся в глаза урода. Они, оказалось, наблюдали за ним. Монстович быстро повернулся к комиссару, тот невольно вскочил, выпрямился и как бы сделал руки по швам. Так они стояли друг против друга, близко, знакомо—и не могли оторваться. Наконец Монстович с удовлетворенной усмешкой сказал:

— Проснитесь, гражданин комиссар, в городе большевистский переворот!

Губкомец на миг задумался, теребил правой рукой пуговицу на своей курточке и точно вспоминал, который раз он встречается с комиссаром.

— На земле тесно, гражданин Репьев,—продолжал он,—и я вынужден отвезти вас... в тюрьму!

Вонючее солдатское сукно кисло и раздражающе ударило в нос комиссару. Монстович внимательно, исподлобья взглянул еще раз и добавил:

— Не подумайте — я делаю это с удовольствием! Без всякого. Мы бы охотно обошлись без тюрьмы. Но такова необходимость!

Губернский комиссар слушал. Он сразу заметил грязные нестриженые ногти на руках губкомца, и они показались ему огромными клювами стервятника. Тут же озноб как бы прострочил комиссарскую спину. Репьеву непременно понадобилось схватиться за никелированную блестящую кровать.

— В централ,—сказал Монстович шоферу,—везите, товарищ, по Окружной улице! Иначе можем наткнуться на чужих.

Тогда губернский комиссар окончательно и очнулся. Он проспал ночную большевистскую атаку.

Быстроходный, хороший автомобиль понес. Репьев любопытствовал и несмело косил глазами на мелькающие через стеклянные дверцы дома, фонари, улицы. Город был полон какого-то затаенного и немноголюдного движения. Точно ничего особенного не

происходило, лишь попадались людские кучки — штатские и военные — с оружием. Губернский комиссар с бессильной тоской и неприязнью всматривался в молчаливые, с редкими огнями, дома. Там так же спали, как незадолго перед этой автомобильной поездкой спала комиссарская квартира. Репьеву было обидно и за свою и за эту общую сонливость. Губернский комиссар остался недоволен и слабой, как бы случайной пальбой. В нескольких местах перекликались разрозненные винтовки, пулеметы, и только один раз ухнула дальняя, на загородном полигоне, пушка.

Начальник тюрьмы Каранчаев с приставленным к нему губкомцем Букиным ревностно служил новому властелину. Он бегло, мельком, с услужливым наблюдением только за глазами Монстовича, безразлично скользнул взглядом по Репьеву.

— Гражданина Репьева туда же? — скромно, искательски, со склоненной лысиной спросил этот живучий тюремных дел знаток и мастер.

Губернский комиссар пережил подлинное отвращение к переметному слуге.

В просторной камере Репьев встретил немало своих соратников, с которыми отбивался от большевиков в бесплодные месяцы комиссарствования. Он даже сначала не поверил, что видел перед собой генерала Водовозова, адъютанта Фирса и преосвященного Александра. А за ними расположился почти весь патриотический Загорск. Безотрадная явь была очевидна. Губернский комиссар перестал верить в сновиденья. Генерал Водовозов уверенно и неутомимо пересекал камеру. Он угрюмо обернулся к Репьеву, неприязненно и неодобрительно заметил его появление и сказал:

— Вы полагали, Василий Иванович, это невозможным?! Да? Извольте сознаться в своей ошибке и... гибельной самоуверенности!

Генерал Водовозов взвинченно пробежался по тому же, отведенному им себе пути, схватился за голову и воскликнул:

— Ах, какие большевики молодцы!.. Какие стратеги!.. Уважаю, уважаю! Решительно уважаю! Совершенно, совершенно военная стратегия! Так и только так побеждают! Я говорил, я говорил, — меня не слушали!

Генерал саркастически воздел руки к потолку и кого-то передразнил:

— Штатская республика с тросточкой! Военная власть да подчинится гражданской! Постные блюда в мясоед!

Губернский комиссар не отозвался на генеральскую запальчивость, а смирненько подумал о себе как об одном из главных виновников неудачи.

— У вас, господа, у всех, у всех без исключения душа примиренческая!—громил неугомонный генерал.—И мы, и мы за это поплатимся! Я не уверен, чорт меня возьми, что я еще когда-нибудь выйду отсюда, а не превращусь в пожизненного каторжанина! Кто мне гарантирует целость моей головы? Никто. Как бы, как бы мы все не попробовали по примеру Французской революции российской гильотинки!

Загорский ревком был более низкого мнения о примиренческой душе губернского комиссара и о всякой другой патриотической душе. Ревком предпочитал подозревать их в самых вредных вероломствах и коварстве.

— Товарищи!—сказал взволнованно председатель ревкома Гайгаров, появившись в городе за трое суток перед восстанием. — Никаких самообольщений! Нам будет трудно. Но пусть каждый самоотверженно скажет: трудного не существует!

Ревком строил, как архитектор. Восстание было как

огромный корабль, несомый бурлящими водами. Он ложился то на один, то на другой бок. Ревком управлял им с непогрешимостью опытного капитана.

Покуда в загорском централе буйствовал генерал Водовозов, Монстович освобожденно возвращался с товарищами в ревком. Он переживал радостное удовольствие от выполненного поручения. Начиная с полуночи Монстович гонял автомобиль взад и вперед и настойчиво вывозил из города в централ всех лишних противников. Губернский комиссар был последним седоком. Монстович уже бодрствовал третью ночь. Вдруг он заскучал от появления одних и тех же домов, мостов через каналы и речки, поворотов в объездные улицы, площадей, пустырей. Монстович почувствовал, что автомобиль его укачивал.

Жажда сна была так необоримо велика, что даже резкие толчки в стороны и подбрасывания на заворотах не рассеивали, а, наоборот, способствовали усыплению. Монстович непроизвольно применялся к броскам машины, прикрыл глаза и успевал ловить у времени какие-то порошинки подкрепляющего забытья. Одновременно он боролся с собой, старался разговаривать с соседями, проверял в памяти список врагов, назначенных к увозу. Но память изменяла ему, как старику отдаленное прошлое. Он вздрагивал в испуге от своей забывчивости. Монстович уже вычерпал всю свою волю, прислонился к товарищу и задремал у него на плече.

Отряд юнкеров во главе с Михаилом Георгиевичем Шеиным подбирался к ревкому, захватившему шеинский особняк. Рабочий Семен с небольшой горстью товарищей с оглядкой отступал. Он жался к стенам, к водосточным трубам, к выступам парадных, к фонарям и метко отстреливался.

Автомобиль Монстовича врезался в юнкерскую

цепь, раздвинул, перескочил ее. Но залп по шинам остановил движение. Убитый шофер выпустил руль Тогда Монстович и пробудился.

Он мгновенно вылез и переполз к головной части. Мотор задыхался. Юнкера выбили замедливших в кузове солдат. Юнкера подпустили ближе Семена. Вокруг дырявой машины, которая послужила некоторым прикрытием, завязалась смертельная перепалка.

Но ревком, как с дозорной вышки, следил. От него, точно от телефонной станции, протянулись во все концы надежные нити связей. Ревком подоспел. Монстовича вырвали.

Досадствующий Шеин отступал. Вылазка не удалась. Михаила Георгиевича преследовали и отгоняли от своего угла. Он вернулся к исходной своей защите у казарм, где стояли пополнения. Он видел длинные прямые пустующие проспекты, как гигантские квадратные склепы, в которых редел немногочисленный и последний оплот. Каждый дом, каждая подворотня, чердаки, слуховые окна, крыши забрасывали защитников отечества палками, камнями, мусором, пулями...

Михаил Георгиевич не хотел только сознаться, но он уже не верил в удачу обороны.

Шеин видел, какое невыносимое одиночество неудержимо надвигалось на него. Михаил Георгиевич не мог возместить унылой людской убыли отряда! Ревком рос на глазах, как полноводная весенняя река.

В то время как отступающего Шеина осаждали маленькие себялюбивые переживания, у поковерканного автомобиля появились ревкомцы—Гайгаров и Ворохобин с небольшой охраной. Юнкерская вылазка обошлась дорого. Полегли все спутники Монстовича. Пал Семен. Гайгаров молчаливо постоял в головах у него, перевел глаза на Ворохобина и на Монстовича, всмотрелся в свою охрану и недовольно сказал:

— Это все наша неосторожность, товарищи! Лишнее удальство! Добро бы нас били, а то мы овладели половиной города, а в трех шагах от ревкома убивают Семена! Безобразие! Это я тебе говорю, Ворохобин! Связь плоха. Натяни!

Гайгаров покашлял в руку, подчеркнуто обратился уже к одному Ворохобину и спокойнее продолжал:

— Ну, что же делать! Преждевременно лег!.. Но мы и все... в эти часы имеем единственное почетное преимущество перед другими—право на безвременную смерть! Давай, Петр, поднимем его и перевезем в ревком!

Семена бережно перенесли в ревкомский открытый автомобиль. Рядом уложили остальных. Мертвая кладь высоко поднялась над запыленными боками автомобиля. Машина медленно и ровно пошла. Гайгаров сел с шофером. Ворохобин и Монстович встали на подножках.

— Товарищи,—распоряжался Гайгаров, обращаясь к охране, — мы одни доберемся. Я полагаю, — и он показал на подшибленный автомобиль Монстовича, — его можно использовать. Надо прибрать. Товарищи, организуйте перевозку!

Гайгаров сидел в ревкоме за маленьким ломберным столом. Он сам облюбовал его. Стол был развернут своей зеленой шершавой спиной на две половинки, когда Гайгаров вбежал сюда впервые. Зеленое поле, исчерканное мелками игроков, показалось ему излишне обширным, а самый стол неустойчивым и дрыгающим на ножках. Гайгаров быстро сложил его и задвинул в угол. Редко и не надолго вставая, чтобы совершить комнатную прогулку, Гайгаров сидел за ним дни и ночи.

Пухлые вороха бумаг, точно в товарной железнодорожной или пароходной конторе, в беспорядке завалили стол. Но Гайгаров не путался в них, как беспа-

мятный чиновник. Он уверенно совал руку в ту или иную грудку и доставал нужную бумагу.

Дни и ночи у столика Гайгарова сменялись сотни знакомых и незнакомых товарищей. Они были, каждый по-своему, своеобразны. То требовательны и своевольны, то мирны и тихи, то упорны и настойчивы, то понятливы и рассудительны, то вздорны и несносны, как сама человеческая глупость. Гайгаров говорил тихо и коротко, не убеждал, не уговаривал, не спорил, подписывал бумаги и отказывался подписывать, отбирал у одних, передавал другим, разрывал, прикладывал печать, ежесекундно вызывал дежурных, ежесекундно снимал телефонную трубку и вешал на крючок, ежесекундно отдавал и отменял приказания...

Гайгаров успевал каждого окидывать понимающим и пытливым взглядом. Словно ненасытное любопытство к человеку не оставляло его никогда. Он ждал от каждого посетителя чего-то особенного, исключительного. Он отыскивал в его глазах, голосе, лице нужное ему подтверждение собственной гайгаровской мысли. Он проверял себя, как прилежный и несамонадеянный мастер.

Гайгаров был в беспрерывном движении, точно дерево, трепещущее под ветром всей своей всколыхнутой листвой. От него уходили, подкрепленные возбуждающей к деятельности поддержкой.

Он не покидал комнаты, почти не отодвигал от стола простенького венского стула, который принес с кухни взамен шеинских кресел. Но он будто не оставлял улиц, знал о мельчайших удачах и неудачах, о каждой слабости и твердости отдельных товарищей, о каждом некрепком участке ревкомских баррикад.

Ведя громоздкую ревкомскую битву, Гайгаров работал, как безустанный подъемный кран. Но одновремен-

но он был тщателен в работе и внимании к врагу, точно аптекарь, развешивающий яды.

Полковник Оранский противостоял ему. Один из июльских усмирителей по скудости в генералах, изъятых внезапно наскочившими большевиками, взнесен был на самую высокую колокольню руководства.

Полковник Оранский отдавал улицу за улицей, очищал целые кварталы и ретиво бомбардировал брошенное. Он ненужно и бесцельно истреблял город, покуда было кому стоять у батарей. Полковник Оранский напоминал озлобленного человека, который вне себя, бестолково и разъяренно кричал в трясине, размахивал руками, грозил и беспомощно барахтался. Но ревком уже замахнулся на него. Козни были неожиданны.

Гайгаров поздней ночью, в затишку от боев, собрал губкомцев.

— Товарищи,—озабоченно и глухо сказал он,—я считаю, что для партии рабочего класса не может быть никаких секретов и... тем менее запретных мест в стане ее противников. Это наша особенность, какой не владеет больше ни одна партия в мире. Мы несомненно имеем друзей по ту сторону огня. Солдаты Оранского—те же рабочие и крестьяне. Они бьются до тех пор, пока не видят предлога сдаться нам. Необходимо немедленно разыскать этих полезных товарищей и связаться с ними.

Гайгаров стоял вполоборота к усталым, с измученными лицами, губкомцам.

— Через двадцать четыре часа!—даже мрачно настаивал он.—Через одни сутки!

Гайгарову не понравилось молчание большевиков. Оно показалось ему слишком затяжным. Он, в полное нарушение своих привычек, вдруг как-то вызывающе засунул обе руки за спину, подошел к столу и требовательно заявил:

— Надо проникнуть в тыл к Оранскому и... взорвать его артиллерийские склады! Кто, товарищи, возьмется за это дело?

Гайгаров не допустил между ними состязания и сам назвал исполнителя.

— Я думаю, товарищи, мы это поручим Столбову.

Тут же он перестал видеть и чувствовать остальных и как бы распустил собрание. Он подсел к избраннику,—и точно остался наедине с ним. С легкой наивностью в тоне и детской непосредственностью, как об очень простом и несложном замысле, осуществить который взялся Столбов и еще не удосужился привести к развязке, он начал рассказывать:

— Город много не пострадает. Я тут кой-кого расспросил из наших военных. Во всяком случае—меньше, чем с ним расправляется Оранский. Это прямая выгода. Мы добьем белых и сохраним много лишних жизней. Ты, Федор, это сделай!

Столбов почти немедленно покинул ревком.

Гайгаров тихонько притворил за ним белую дверь с летящими амурами на филенках, уже достаточно захватанную черным людским потоком, который протекал через нее все дни.

С этой минуты уши Гайгарова были напряжены. Они разборчиво прислушивались к неумолкаемой канонаде. Гайгаров дожидался последнего, решительного и освобождающего гула. Но никто бы не заметил растерянных перебоев в работе председателя. Он был все тот же неизменный и умелый ревкомский хозяин. Он спокойно преодолевал нескудеющий напор и груз восстания.

Маленькая керосиновая лампочка, — электричество потухло в первые часы боя,—неугасимо горела в долгие октябрьские вечера и ночи на его неразгружаемом столе. И все шли и шли, торопились, бежали люди.

Дверь открывалась и затворялась, хлопала, точно незапертая калитка на дворе в ветреное ненастье. Гайгаров никого не задерживал. Как беспрерывные ковши землечерпалок, углубляющие темное дно, тянулись ленты коротких и дельных его приказов. Самообладание не покидало Гайгарова.

Ревком ломал сопротивление. Это становилось яснее и достовернее, чем движение минутной стрелки по циферблату раззолоченных часов, которые стояли на белой глянцевой тумбочке недалеко от ломберного столика Гайгарова. Часы были с недельным заводом. Председатель сразу разглядел их старинное устройство и на всякий случай, любя порядок, завел их в начале своей работы.

Все больше и больше скоплялось пленных на большевистской заречной стороне: рабочие и крестьяне сдавались, переходили, перебегали по назначению. Белые оскудевали, держались юнкерами, шальной кадетской мелюзгой и офицерскими полувыбитыми ротами.

Огромное рабочее предместье с текстильными фабриками представляло одну какую-то гигантскую постройку, над которой были заняты тысячи рабочих, солдат, подростков, женщин и детей. В грандиозной яме из улиц, напоминая землекопов и каменщиков, строители словно подготовляли бут к тысячепудовым стенам. Невообразимо огромное здание ненасытимо поглощало все, как Миглеевское озеро осенние ливни. Люди работали днем и ночью, бессменно, изо дня в день, пятые сутки. Отовсюду тащили булыжный камень, битый и целый кирпич, железо, несли подпиленные телефонные столбы, катили бочки, волокли мешки, кули, матрацы с землей. Черные рабочие пчелы работали вручную, на тачках, на грузовиках.

На легком желтеньком автомобиле носился из конца в конец бородатый, нечесаный, замазанный, охрип-

шний построечный инженер Ворохобин. Он носился в тылу постройки по немногим не загроможденным строительным материалом улицам, бросал автомобиль за углом и трусил вблизи старых домовых стен к главным сооружениям. Он натыкался на телеги, кареты, трамвайные и коночные вагоны, земляные насыпи, бревна, ворота и заборы, столы, табуретки, дрова, корзины...

За высокими кострами мусорного хлама копошились озабоченные люди. Другие ползли по крышам, по карнизам, высовывались из окон, с чердаков, из-за труб, шумными отрядами выскакивали со дворов и перебегали улицы, застревали у баррикад, пробирались из квартала в квартал. Полковник Оранский громил из пушек по маленьким увертливым построечникам. Они гибли в развалинах домов, в обвалах колоколен, в земляных недрах распотрошенных мостовых. Они гибли безымянно. И новые безымянные люди становились в убылые ряды, не давали поколебать их упорства и ярости.

Полковник Оранский многодневно истреблял рабочую постройку. Он подкатывал так близко свои пушки, точно от них ощутимо исходил палящий жар и пекло лица. Раскаленные жерла смотрели в упор. На них лезли с бедными ружьишками, с револьверами, лезли беззащитные, с кулаками, с палками—и отбивали.

Ксении Гайгаровой пригодилось ее позабытое врачевание. В казармах большевистского полка, на сдвинутых тесно одна к другой кроватях ложились все новые и новые раненые. Их несли, как кирпичи на спешную и ненасытную постройку. Раненые часто освобождали постой и уходили по домам. Некоторые валились по дорогам, отлеживались, но не возвращались, чтобы как можно меньше отнимать у занятых товарищей внимания и забот.

Битва была ужасна и ожесточенна, как погром. Наивная человеческая жалость была несвоевременна ни по ту, ни по сю сторону баррикад. Пленные затрудняли. В беспощадной схватке сошлись люди, между которыми не могло быть примирения. Рабочее предместье накопило нестынущую ярость. Запертые ворота белой крепости уже лизало пламя...

Гайгаров сознавал близость победы. Он чаще и чаще подходил к перечеркнутому вдоль и поперек красными крестиками плану города. План был разложен на удобной спине шеинского рояля, сдвинутого в угол с ревкомской дороги. Гайгаров не успевал чинить хрупкий и ломкий цветной карандаш.

Глава пятая

Над картой и застал Гайгарова грязный, растерзанный, взлохмаченный, но самодовольный Анохин. Он с шумом ввалился в ревком на другой день после отправления Столбова за неприятельский рубеж. Анохин и еще двое рабочих не отпускались от офицерской шинели, измазанной в известке и мокрой грязи. Гайгаров узнал прапорщика Знаменского, насупил брови, выпрямился, стремительно начал крутить карандаш в пальцах и укоризненно обратился к Анохину:

— Ты, наверно, едва его довел? Напрасно!

— Мне его передал Монстович,—не понял и смешался Анохин.

Он отнял руку с офицерского воротника, за который крепко и ожесточенно держался до этого.

Но Знаменский почувствовал неумолимость и черствость в голосе Гайгарова. Он с томительной печалью обвел жалкими глазами знакомую гостиную, некстати и несвоевременно вспомнил себя в ней свободного, счастливого и уверенного. И от этой непро-

шенной жестокой памяти ему стало еще больше не по себе.

— Вы здесь бывали завсегдатаем?—допрашивал строгий, прямой Гайгаров и отвечал за арестованного.—Да. Вы нас в июле расстреливали? Расстреливал. Отпусти вас, вы будете нас расстреливать снова? Конечно.

Гайгаров не докончил, отвернулся от офицера, подошел вплотную к Анохину, ткнул его в грудь карандашом и с досадой воскликнул:

— Антохин, ведь все же тут понятно, как...—он поискал сравнения и, чуть-чуть прищурясь, поднял указательный палец:—Ну, как вот это!..

Прапорщик Знаменский испытал такое похолодание в сердце, что он сделал невольную попытку броситься с мольбой к Гайгарову. Но его резко рванули назад и удержали на месте конвоиры.

— Вспомните, товарищ Гайгаров!—пролепетал офицер и захлебнулся от спазм в горле.

— Чего же вы хотите?—еще недоступнее и даже в недоумении произнес Гайгаров. — Вы имеете в виду нашу встречу? Что же! Может быть, вы тогда поступили опрометчиво. Но мы, кажется, у вас пощады не просили? Воспоминания не совпадают по качеству. Они ни к чему. Они ничего не меняют.

Гайгаров сел за свой стол, наклонился к бумагам, потом словно удивился, что сзади его почему-то стояли безмолвные люди, чего-то ждали и близоруко не разбирались в происходящем. Тогда он неохотно и вяло протянул:

— У-бе-ри-те его!..

Когда прапорщик Знаменский перестал существовать и свалился за шеинской конюшней на холодную асфальтированную мостовую, Анохин не решился возвратиться обратно в ревком.

— Товарищи, — расстроенно и дрожа сказал он своим помощникам,—здесь тело нельзя оставлять. Будьте, други, стащите его в мертвецкую. Больница тут недалеко. Там всех кладут: и наших и чужих. Я побегу... Меня ждут...

Анохин выскочил на улицу и не мог удержаться, чтобы не заглянуть в освещенное ревкомское окно. Председатель ревкома оставался в неизменившемся положении и старательно что-то писал. Анохин понял, что Гайгаров уже перешел к очередным делам, от которых он его ненадолго оторвал.

Казалось, гайгаровское недовольство обошлось. От этого сознания Анохину сделалось опять удобнее и проще на земле. Он запамятовал умение председателя одновременно хранить в себе и малое и большое. При первом же новом свидании с Анохиным, точно не было перерыва между расстрелом прапорщика Знаменского и бегством Анохина, Гайгаров продолжил незаконченный разговор.

— Я тебе должен сказать, Анохин,—хмурился Гайгаров,—твое присутствие там, на фронте, важнее. Оставлять его для пустяков не след. Прапорщик—это же выбитый булыжник под ногой. Его надо тут же отшвырнуть прочь и... забыть.

Анохин покраснел, словно пойманный в детской шалости. Гайгаров сознательно не заметил смущения товарища. Тут же выпроводил его из ревкома и задал ему множество самых ответственных задач.

Председатель не отдыхал—и он от всех требовал неустанной бодрости. Он один олицетворял ревком. Он не давал ревкомцам терять тот революционный загар, который клало на них смертное поле. Близость к врагу закаляла. Гайгаров рассылал ревкомцев во все концы и не позволял им минутной задержки у своего труженического стола. Он собрал их вместе только один

раз, когда снаряжал Столбова. Но ревкомцы чувствовали себя так, как будто они не расставались с председателем.

С теми же любовно затаенными чувствами Столбов пошел на роковое испытание. Он не разочаровал председателя. Столбов не вернулся, но и опоздал он не надолго. С маленькой кучкой товарищей он прокрался из Заречья и слился с чужими. Он легко пополнил отрядец бойцами.

Безотлагательное предприятие началось. Столбов бедно оснастил его. Но бедное оборудование было непобедимо укреплено извнутри. Время утекало, как вылетавший снаряд Оранского. И каждый выстрел метил в товарищей, в ревком, в Гайгарова. Надо было скорее заставить умолкнуть вражеские жерла.

По плану, около полуночи отряд подполз в темноте к караульному помещению. Отряд был объединен одним жадным стремлением добиться удачи. Столбов раньше выследил время развода караула и назначил нападение ровно в полночь. На темной кромке земли, перед светлым от высоких висячих фонарей небольшим пространством до караулки, отряд вздохнул и затих. Рука Столбова держала карманные часы. Он наставил белый кружок циферблата на фонарный отсвет. Минутная игла взошла на шестидесятое деление... Столбов вдруг сунул часы в карман, вскочил,—и большевистский взвод в безмолвии ринулся по светлым кругам от фонарей...

Полночное время было выбрано с толком. Большевики без задержек проскочили самые светлые сажени и вломились внутрь здания. Заспанный караул так обомлел перед безумной и отчаянной яростью налетчиков, перед первой смертью,—Столбов сразу же убил кинжалом разводящего юнкера,—что не сдвинулся с места. Солдаты тотчас подняли руки. Столбов с ра-

достью понял, что они сдавались с величайшей охотой. Они были совершенно спокойны и благодушны, некоторые ухмылялись. Одни и те же люди, кинутые в разные лагери, узнавали друг друга по беглым взглядам.

— Именем ревкома пароль!—потребовал Столбов, схватил за грудь старшего офицера и приставил к его уху браунинг. — Немедленно! Склады переходят к нам. Ревком ставит охрану из своих людей. Неподчинение ревкому карается расстрелом!

Внезапно караульные солдаты оказали поддержку Столбову. Они разом начали делать офицеру различные знаки о бесполезности сокрытия пароля. И он назвал его.

— Ведите!—приказал Столбов офицеру.—Но предупреждаю вас: я пойду позади и застрелю вас при всякой попытке к измене.

Столбов отделил для охраны караульного помещения несколько счастливых человек. Он это увидел по вспыхнувшему восторгу в глазах.

Столбов думал с сожалением о напрасном восторге товарищей, оставленных в тылу. Он не обвинял их: в жажде дышать и видеть свет и ходить не было предательства. Случайно им пришлось отдалиться, они не произведут сами смертного метания бомбы, не проглотят первыми смрад и пламя взрыва. Столбов с жалостью посмеялся над их пустой утехой. Они ошибались в милости огнедышащей горы, которую должен был вызвать и обвалить на их головы ревком.

Офицер добросовестно, точно, отчетливо выполнял свою подневольную роль. Он снимал один караул за другим и заменял их неуклюжими, неумелыми ревкомскими часовыми. Наконец он подвел Столбова к ключу всех охран: ревкомские посланцы находились в центре артиллерийских складов.

— Товарищи!—воскликнул надорванно и грустно Столбов.—Ревком будет нами доволен!

И он швырнул ручную гранату в раскрытые по его приказу подвальные двери главного динамитного хранилища.

— — — — — — — — — — — — — — — — —

Врага жалили в совершенно неожиданных для того местах. За несколько часов перед тем, как Столбов справился с ревкомским поручением, Ворохобин составил отборный отряд из ткачей. Решено было прорваться в неприятельский штаб. Ворохобин знал в лицо почти каждого из товарищей, но все же он проверил мужество отряда перед опасной вылазкой и взволнованно сказал:

— Товарищи, не будем думать о нашей участи: она маловажна! Мы все понимаем серьезность нашего замысла. Но ревком ждет от нас этого удара. Он потребовал наши жизни. Мы отдадим их. Мы спасаем, жертвуя собой, многих товарищей. Нет выше этой награды для революционера. Пусть, товарищи, мы вернемся не все, пусть даже нас всех не будет, но зато наше дело победит! Это нужнее.

С таким напутствием отряд пошел. Предприятие было задумано накануне. Губкомский кучер Шершаков с начала восстания не отставал от Ворохобина. Он и надоумил своего предводителя. Шершаков слазил в неприятельские края и разведал местоположение штаба. Он находился в самой людной и центральной части города.

По отчаянному ворохобинскому плану ткачи должны были одиночным порядком пробраться в условное место — в маленький надречный сквер невдалеке от штаба. Ворохобин пошел первым. За ним разными дорогами двинулись остальные. Ткачи осторожно кра-

лись через белые линии. Попадались, гибли... Разбросанный отряд редел. Он собрался на стоянке почти вдвое меньше.

Ворохобин томительно поджидал товарищей. Штабное здание полковника Оранского блистало лампами-люстрами. Немногие часовые охраняли его. Сквер был осенне пуст, черен и мокро-гол. Чем дольше приходилось ждать, тем большее волнение охватывало Ворохобина. У него уже непроизвольно стучали зубы. Он дрожал и внутренно торопил нападение. Близкая освещенная цель влекла.

Дерзость вылазки была столь велика, что белые спохватились только в самом помещении штаба. Ткачи быстро убрали часовых, схватили их и загнали на лестницы. Те не успели ни крикнуть, ни разрядить оружия.

— Сдавайся!—кричал Ворохобин, поддержанный громкоголосо товарищами.—Именем ревкома!

Но ворохобинский отряд был мал. В невообразимой толчее и смятении началась резня. В огромном здании были незанятые лестницы. По ним кинулись вон офицеры. Туда же стремительно проследовал полковник Оранский с немногими штабными. Как бы одним взмахом вскрылись окна. Стрельба, звон стекол, крик и вой разбудили прилегающую улицу. Ворохобин мгновенно сознал опасность. Обстановка непредугаданно осложнялась. Необходимо было спешить. Перебили сопротивлявшихся офицеров. По всей неприятельской телефонной сети прошла паническая тревога. То Ворохобин и Шершаков кричали в телефонные трубки о ревкомской победе. Потом наскоро сгрудили штабные бумаги и подожгли в разных комнатах.

Отряду пришлось трудно. Растерянность белогвардейцев проходила. Они разрозненно, но все увереннее и увереннее собирались к пылавшему штабу. Отряд пробился к скверу. Но дальнейшая дорога бы-

ла заграждена. Вдали наперерез вышел значительный офицерский состав. Ворохобин оглянулся на веселые копны огня. Он радостно приветствовал удачу. Но пламя ярко и смертельно обнаружило его отряд. Ткачи были беспромашными мишенями. Белые подкрадывались со всех сторон. Ворохобина окружали. Начинался губительный расстрел большевиков. Настал черед растерянности и для ткачей. Они, как пойманные в петлю, бросались туда-сюда и не могли ни растянуть, ни разорвать ее. Ворохобинский отряд обременяли раненые товарищи.

Их не хотели оставлять, перетаскивали с собой и тем самым убавляли количество бойцов.

Тут старый ткач с простреленными ногами сердито крикнул Ворохобину:

— Чего несуразное делаешь, командир! Кидай нас! Таковские! Утекай—пользы больше!

— Студенцов!—с болью дрогнул голос Ворохобина.

— Нечего тут—Студенцов!—настаивал ткач.—Заплачь еще!

Он с искаженным от страданий лицом неестественно взвизгнул и обратился к раненым ткачам:

— Ребята, что нам за корысть, ежели нас выбили, да и они вдогонку к нам просятся? Участь та же ждет всех! А? Я за всех говорю?

Раненые согласно поддержали Студенцова. Отряд стал действовать успешнее. Он сумел отдалиться от реки и юркнул между дворовых строений. Белая облава, однако, была непрорываема.

Полковник Оранский загородил все узкие пути, ведущие от штаба.

Пожар приближался к середине, когда белые перехватали незадачливых ткачей, присоединили к ним раненых и привели всех на штабной двор. Сам полковник Оранский руководил малой операцией.

— Пли!—насмешливо крикнул Студенцов, когда понял полковничью подготовку.

Оранский пытался усмехнуться на вызывающий крик ткача. Но усмешки не получилось. Пред ним бесстрашно стоял на коленях старик Студенцов. Другие ткачи нахмурились.

На полковника нашла унылая мрачность.

— Гляди, белая шельма,—неистовствовал Студенцов,—пожарец-то мы ничего вам соорудили! Потроши скорее, а то не успеешь! Ревком тебе в свое время выдаст за нас плату!

Ткачи умерли.

В рабочее предместье вернулись Ворохобин с Шершаковым. Противоречивые чувства раздирали их. В душе подымалось горделивое и удовлетворенное сознание. Они следили за заревом и бессознательно любовались его алыми вспышками. Радость усиливалась и оттого, что они прошли через все смертные препятствия и жили. В то же время сердце болело непроходящей жалостью к товарищам, оставленным в белом плену. Они не сомневались в роковом исходе для них.

Молча, плечо к плечу, они добрели до ревкома. Гайгаров выслушал короткий доклад, поморщился, встал у окна, долго глядел на зарево и вздохнул.

Ревком не пропустил ворохобинское выступление. Как только темное небо прорвали первые светлые прожекторы пожара, а за ними вслед вся белая линия словно обернулась на свой тыл, Осташкин с броневиками повел наступление. Воинство Оранского сбили с места—и завладели новыми кварталами.

— — — — — — — — — — — — — — — —

Возвращение Ворохобина совпало с гибелью Столбова. Взлетевшее, взорванное небо поглотило малый огонь, затепленный в городе. Тогда Гайгаров и услы-

хал освобождающий гул, канонаду из канонад революции. Он встал из-за стола, подошел к карте и поставил огромный красный крест на неразмеченной еще половине.

Битва была решена. Полковник Оранский со своими сподвижниками передевались в штатское. Дырявый, в углях, с разросшимися пустырями город перешел к ревкому. Гайгаров не забыл вновь завести часы с недельным заводом.

Победитель вывел на улицы тысячные толпы солдат и рабочих. На огромной городской площади, там, где искони делали смотры, хоронили павших большевиков. Гайгаров был поднят на плечи ревкомцами. Он вскинул высоко свою маленькую зовущую руку и говорил над черным могильным бугром:

— Товарищи! Это только начало. Это дождь идет только в барометре! Но он будет настоящим! Ждите ливней и будьте готовы к ним!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава первая

Шла вторая по счету от пришествия большевиков заозерская весна. Преосвященный Александр забыл свое кратковременное пребывание в загорском централе. Российская гильотина, коей пугал сгоряча генерал Водовозов, только поблистала отточенным ножом над головой—и не опустилась. Победитель потерял осторожность, милостиво размяк и пощадил обезоруженного противника.

В эту вторую весну преосвященный Александр и возымел ненасытную охоту к путешествиям. Он непоседливо передвигался из обители в обитель, из прихода в приход, гостил у вдовствующих просвирен, завертывал на смиренные и скудельные погосты. Даже древние раскольничьи скиты, которые были загнаны православием в заозерские волока, стали манить его. Преосвященный Александр терпеливо сворачивал с большой дороги на лесной и валежный проселок, мок под дождем, ночевал в телеге и жадно прислушивался к скитскому путеводительному звону из непроглядных берложных мест. И там приветливо встречали его гордые и скупые на ласку староверы-лесовики.

Невзирая на пагубное оскудение веры в народе и в государстве и на дерзкую непочтительность к духовному сану, преосвященный Александр пренебрегал ненадежными заозерскими дорогами. В пути его ожидали поношения и обиды. Большевики бродяжили по

епархии, стерегли на заставах, выглядывали с дозорных пригорков. Смертный час грозил преосвященному Александру у каждого отвода, в лощинке за деревушкой, у перевоза, на лесной стороне. Всякое дерево и вешка, и кочка, и овраг были приметны его старческим глазам.

Заозерские дороги давно не починяли. Их и раньше исправляли неохотно и на скорую руку. Теперь их просто забросили.

Преосвященного тяготил и беспокоил неустроенный мир. И владыка надел на плечи, точно легкие помочи, тяжелые железные вериги подвига. И ничто не могло остановить его, ни даже сама дряхлость.

Сообразно обстоятельствам ездили по-новому. В архиерейском скопидомном каретнике отыскалась старая потертая коляска. Повар Питирим возил на ней базарные закупки для архиерейского стола. Коляска приглянулась епископу. Он с пристальным вниманием обошел ее вокруг, заметил каждую облуплинку и недолго, испытующе посидел на жестком продранном сиденьи. Потом постоял в задумчивости около задка, тронул посохом гремливое коренастое колесо, отковырнул налипший комок грязи, ласково усмехнулся и назвал коляску «громыханом». Келейник и кучер пристойным смешком одобрили находчивое архиерейское прозвище. Выхоленная архиерейская плоть нуждалась в некотором умягчении сидения. Его подбили конским волосом. Незаметный ненужным глазам громыхан стал вполне годным для соответственных целей владыки. Преосвященный Александр приступил к неуспному объезду своей бывшей вотчины.

За высокими башенными стенами, взаперти, он возроптал на бездеятельную однообразность и вялую тихость архиерейского времяпрепровождения. Он вдруг полюбил разные причуды и несообразности. Незадолго

до запора железно-гремучих врат кремля он расторопно выходил в позднюю тишину ночи и поджидал свой громыхан у спуска под соборной горой.

В Прилуцкой обители у затейливого архимандрита Феофана его ожидал первый страннический приют. Владыка продолжал предаваться выдумкам. Не раз и не два он отъезжал из Прилук, сопутствуемый до коляски Феофаном, в совершенно мужичьем образе. Архиерей в подвижничестве своем не гнушался жалкой мужичьей сермяги. Вообще, владыка любил переодеваться. Отъезжал он и в своем виде.

Ехали по-бедному, на одной лошаденке, кормились в полях, ночевали с оглядкой и взыскательно выбирали безукоризненный ночлег. Сытные купеческие дворы в торговых селах еще не успели захиреть. Но преосвященный не соблазнялся удобствами. Тут он был виден, как с высокой горы. Ловушки объезжали.

Застенчивым колокольным звоном встречали архиерея отпетые смельчаки игумены. Но такие бесстрашные служаки ревнители оставались только в темных тетеревиных местах. Здесь владычный почет был как исстари. Здесь исполатный звон тревожил одну пуганую птицу и лежачего зверя. По большим, по головатеньким приходам преосвященный Александр ехал сиро и убого. Нигде не звонили, нигде не выходили навстречу крестные ходы, и на безлюдных остановках некому было высаживать под-руки епископа из забрызганного столбовой грязью громыхана.

Как ни был подвижнически вынослив владыка, порой властолюбивые чувства непокладисто переполняли его. И тогда неистовая, как огромное пламя на ветру, ненависть клокотала в розово-пышном естестве преосвященного. Так в былые дни алчно была ненасытима его мужская плоть.

Ныне зрению архиерея была непереносима ополо-

умевшая заозерская земля. Только неутолимое желание возвратить жизнь назад, к сладостной ровности ее течения, поддерживало непреклонность в душе путешественника. Ему представлялось, что можно было осадить разогнанных красных коней! И владыка сдерживался и готовился к будущему единоборству.

Он хитрил, укрывался под мужичью незаметность одеяния и удачно проскальзывал через все заставы. Изворотливость архиерея росла от каждой поездки. Особенно она была нужна, когда он совершал странствование в духовном чине. И тут шелкорясый змий, как его именовали в добольшевистские недружные времена скитские отшельники, не терялся и не выдавал себя. Он предвидел заозерские случайности и был готов к ним. Преосвященный Александр сказывался вдовым попом из неприглядного и нищего погоста на самом краю Заозерья.

Как ревнивый садовод, который холит каждую нужную ему поросль в саду, архиерей предусмотрительно оберегал свое дело от ошибок. Но он не боялся кары. Из лютой его злобы к заноровившему Заозерью, подобно колючке из терновника, произошла отчаянность. Владыка готов был жарко потягаться с неизбежной и неустранимой бедой. В укрылине под боковой обшивкой коляски таилось оружие. Владыка справлялся с ним. На Рабанге однажды настигли его легкие промышленники добычи — бесприютные дорожные воры, сорвали с него поповский крест и сбили шапку... Преосвященный успел... Воры поплатились...

И случилось так, что неустрашимого владыку стали нетерпеливо дожидаться повсюду в Заозерьи.

Известно, как заразительны примеры! Архиерейское своевольное плавание по весенним ростепелям воздвигло к подражанию многих и многих. Заездил

архимандрит Феофан, которому наскучило заниматься одним снаряжением в дорогу преосвященного. Он состязался в неутомимости с самим владыкой.

Лафтаков неожиданно оказался в Феофановых кучерах. Дружба с Сергунькой Никуличевым так крепко и неразлучно соединила его, что в помощь и замену другу на облучок Феофановой колымаги залезал нередко и Сергунька.

Оба они отдавали должное и монастырской оседлости. Они попеременно старательно несли несложные обязанности ночных привратников в обители.

В этой скромной должности, со скудным фонарем в руках, Сергунька благополучно встретил и проводил председателя чеки Яна Монстовича, как-то наехавшего обозреть подгородные святыни.

Лафтаков срезал свою золотую бороду и удачно обманул Монстовича в архимандритских конюшнях. Лафтаков знал толк в лошадях и служил нынче по призванию. Председатель чеки не усомнился в нем и внимательно слушал рассуждения о конских достоинствах и недостатках. Лафтаков словоохотливо постарался представиться даже восторженным кучером.

Михаил Георгиевич Шеин имел свою судьбу. Он не пожелал сдаться ревкому. С той поры он находился в бегах. Теперь Михаил Георгиевич также зачастил по монастырям и не имел сил сдержать богомольного усердия.

Тогда же объявился снова в Заозерьи устье-угольский бумажный фабрикант Семенков. Неблагодарная молва шла о нем, как о первом беглеце с родины. В поношенном пальтеце, в неважных и даже бедных сапожках, в блинчатой полосатенькой кепке, с отращенной бородкой, он пожаловал ввечеру на Мошу и был введен в игуменские покои. Агафадор благословил ему усторонний кров на монастырском хуторе. Той же

ночью бродячий фабрикант прополз в Митинские Угодья и приник там.

До того на хуторе иночествовали генерал Водовозов, полковник Оранский, адъютант Фирс, отставной губернский комиссар Репьев с братом, Саблин и Вера. Прибытие нового инока, тощего и заморенного, отпраздновали полуночным грибным хлебосольством и маленькой водочной выпивкой.

Поскорости воспользовались гостеприимством иноков-новоселов другие. Укромное сооружение, которое было воздвигнуто по прихоти Феофана для летнего отдохновения ему, облюбовывали все новые и новые люди. В ближайшие сроки оно уже не могло вместить всех постояльцев. Новые ночлежники жили в пустых конюшнях, сеновалах и скотных дворах. Чаще и чаще появлялись на хуторе со спешной оказией и конные и пешие. Те не задерживались и уходили.

Укрытые от многолюдства пристанища засветились скупыми вестовыми огнями на разных концах Заозерья. Исподволь разные заозерские лица и особы прельстились охотой к передвижениям.

Пятисотлетней Горицкой обители, где горела неугасимым огнем пострига мать Калерия, удалось надолго прославиться в те дни. Прославилась она более, чем всеми своими святыми девственницами, о коих хранились изустные предания, трогательные жития и строгая погодная монастырская летопись. Мать Калерия была измождена от трудов начальствования над монахинями, но в ней тлела бунтующая запертая плоть. И она, как ветер от горящей рощи, вырвалась наружу. Мать Калерия не полюбила и не нарушила иноческого воздержания. Другое чувство заменило ей сладость плотских желаний. Она возненавидела антихриста, который перерядился в мужицкий дубленый полушубок и баранью папаху. В таком наряде ходил вокруг оби-

тели и малый слуга сатаны солдат-вероотступник Михаил Черепанов, председатель Горицкого исполкома.

Тут, в монастырской крепости, и свилось начальное гнездо бунта, а в гнезде этом выпестовали прожорливых птенцов: они надолго выклевали заозерские пашни и населили кричащими стаями дымное, трудовое городское небо.

Глава вторая

В Березниковском, Горицком и Устье-угольском исполкомах были одни и те же затруднения. И Павел, и Сенька Кулик, и Михаил Черепанов видели возраставшее мужицкое недовольство. Чем дальше, тем больше. Оно напоминало назойливый крапун-дождь, осенне облегавший Заозерье от Покрова до Введения. Исполкомы делались похожими на бобыльские дворы. Павлу казалось, что так бывало на фронте, когда солдаты дружно кидались к вражеским норам, а потом напуганно останавливались, упирались, отставали, — и вперед выбегала маленькая кучка храбрецов. Дружное мужицкое время прошло. И Павлу, и Сеньке Кулику, и Михаилу Черепанову точно сделали отличительные от прочих нашивки на рукава,—и они несогласно отвращали мужицкое зрение.

В апреле, вскоре после водополья, еще до спада вод, в Березниковском исполкоме было большое сборище. Мужикам предстояла по наряду из города выгрузка сплавного леса на Еленьге. Исполкомцы бедовали. Измена проникла в самый исполком. Платон Кутьков вдруг заосторожничал, потихоньку и полегоньку, бочком, начал отдаляться. Он пока как бы стоял на качких лавах через речку и выбирал направление. Но, уже только в сноровке сделать удобнее решительный шаг, он явно поднял ногу в противоположную сторону. Кутьковская измена поддержала напористость мужиков.

— Мы что, мы ничего, мы, может, и так и сяк, а вон и Платоша в раздумьи,—хитрил Васька-пчельник и делал несмышленое и простоватое лицо.—А Платоша—мужик старый, выдержанный, как дерево лежалое у столяра. Ежели усомнился он, нас и подавно червяк точит. А чего хорошего, коль в человеке согласу с собой нет?

— Нам нельзя без смыслу терять рабочее время,— сказал Терехин, и два его сына зашептались с соседями и повторили отцовские слова.

— Гуж да гуж,—поддержал Николай-шорник, — поддайся, в привычку войдут управители: заездят!

— Раньше по доброй воле нанимали, а ноне—ровно мы все в сотские попали: хочешь, не хочешь—тяни тягло,—осуждающе продолжали Подуваловы, отец с сыном.

Разнодеревенские мужики наперебой отказывались от новой трудовой повинности. За исполкомским столом сидели Павел, Никандр, Сергей и Енька. Платон Кутьков отставил подальше от стола табуретку, чтобы не смешиваться с исполкомцами. Он смирненько восседал на ней и плутовато усмехался. Изменническая усмешка и возмутила Еньку.

— Гляди, каких наплодил говорунов, лиса! — выкрикнула она с обидой и раздражением. — Будто малые ребята за бабушкин сарафан прячутся! Старый ползун, поле переметное, помирать, поди, станешь, и то хитрости в глазах не убавится! Самую смерть готов обойти! Чего отдаляешься, пододвигайся ближе! Заодно, заодно с нами! Не убежишь!

И Енька взялась рукой за табуретку, чтобы подтащить ее к столу. Платон Кутьков скромно оправдывался и незаметно подмаргивал разгоряченным мужикам.

— Я ничего, я пойду, мне с тобой рядком первое дело посидеть. А только я сам по себе думаю. Не брани

понапрасну старика. Мир мне велит, Енюшка, а не ты, разговорчивая. Тот и мужик настоящий, кто мира слушается. Я, родная, завсегда там, где народу больше. У пятерых неравно одна гордость, характер не обламывается, а уж у всех-то мужиков, ручаться можно, без промаха выйдет. Мир — он и не такой складной по виду, а шумит не зря, от ветра, от непогоды, золотая!..

Платон Кутьков самодовольно прищурился на толпу, которая насмешливо улыбалась над егозливой бабой.

— Ах, ты, шипучка! — досадливо воскликнула Енька. — От вас, от шипунов, все и расстраивается!

Платон Кутьков передразнил ее, передернув худыми плечами. Спор был непримирим. Против четверых исполкомцев буйствовали все остальные. Они нескладно размахивали руками, разбрасывали пятерней перепутанные вихры благодатной головной растительности, совались к столу, толкались, вытягивались на цыпочках. В исполкоме стоял ор и гам. Исполкомцы были теснимы с такой яростью, словно мужики поймали врагов.

— Да отвалитесь вы, дьяволы, маленько,—недовольно сказал Павел,— эдак вы нас и со столом опрокинете! Поймите—мы не сами повинности уставляем и выдумываем. Велено выгрузить десять тысяч кубов дров...

Толпа непонимающе и озлобленно завопила:

— Кто велел? Как это велено? Больно шибко загибают на бумаге! Кто велел, пускай сам и выгружает!

— Опять двадцать пять!—плюнул рассерженно Павел.—Мы вас третий раз собираем и говорим дело, а вы притворяетесь. Кто велел да кто велел! Город велел. Барин, что ли, в городу сидит, а не свой брат?

Енька вспыхнула румянцами и перебила его:

— Вам бы только получать и ничего не давать взамен!

Никандр мрачно усовещивал и разглядывал мужиков исподлобья.

— Сплав прозеваем—всем достанется! И за дело. И следует так.

— А пускай достается!—отчаянно выкрикнул тесть косаревского лавочника Григорий Крохин.—Барщина была, барщина и не переведется! Может, доживем, драть еще нас товарищи примутся, учить уму-разуму!

Исполкомские уговоры не действовали. Мужики не соглашались. Павел переглянулся с товарищами и стал пережидать привычный галдеж.

— Свой-де брат в городу,— подзуживал Николай-шорник,— а какой он свой, когда мужика зорит, когда измывается, в работники нас загоняет... Ишь, дармовщинка понравилась! За спасибо трудись. Все наше— и лошади, и телеги, и руки, и время. Власть-де ваша, так всех мужик на своем хребте и вези! Пошто же мужика в упряжку? Нет, ты сам заходи в оглобли. Нас ты заместо себя не подсовывай! Лучше мы на тебе поедем. Нам в седочки, в седочки охота с устатку!

Когда шум поутих, Павел снова с усиливавшейся настойчивостью и твердостью сказал:

— Дурни, государство вам жалится в каждой дыре своей, а вы его к такой матери! Прежде разве мужиков спрашивали?

На мужиков нашла веселость и смешливость. Васька-пчельник озорно сломал голос и важно протянул:

— Мы от советчиков не отказываемся! Мы совет во-о какой подадим, лучше не надо! Чудной ты, Пашка, человек! Нам гуж нелюб, а советы мы с нашим почтением!

Сборище не двигалось с места. Оно то смирялось, благодушно покуривало, нехотя зевало и потягивалось, то взбудораженно шумело, спорило и приваливалось вплотную к исполкомцам. И тогда злобно загорались

неприятные искры в глазах против настойчивой четверки. Павел не отставал.

— Пошумим и разойдемся?—говорил несворотимо он.— Нет, будет не так! Конь не слушается—его ременницей. Я вам по-свойски говорю. Для Молочного института на Еленьге и для волостных школ приказано сделать заготовку дров. Учителя бы сами выкатали, безо всякого спору, будь им под силу. Своя у нас надобность в школах али чужая? Делать выкатку кроме нас некому. Что вы кричите—раньше,—раньше дрова земство заготовляло! Коли лучше было раньше, чего революцию делали? И жили бы по-старому. Нечего старым прикрываться!

Толпа поднялась оглушительно и разнобойно, точно Павел сказал ей невыносимо обидное.

— Институтские прежде наймовали! Не первый год институт стоит. Денег нет—закрывай лавочку! Не больно нам и нужен-то институт!

— Школы — это так. Им вязанка дров надо. Мы своих ребят отепляем. Мы для школ согласны. А на институт мы не батраки.

— Совхоз в институте. Три сотни дармоедов! Аль и они ноне в учителях? Золотая ступень, кишку тонкую наели на казенных хлебах! Это что же такое! Ты на нас верхом сажаешь совхозских? Те же мужики на мужика залезают! Ну-у, это к чертям! Хорошо-о-о распорядились!

Сборище долго нельзя было унять. Павел вертел в руках перочинный ножик, закрывал и открывал его, ковырял стол, потом зазвенел им о пустой чайный стакан и резко вскочил с лавки.

— Долой звонаря! — гаркнул Григорий Крохин.— В начальство выбрали, так своих мужиков живехонько наземь!.. Не затопчешь, окаянная сила!

Павлу было знакомо и привычно это мужицкое оже-

сточение. В последнее время оно проявлялось так часто и так однообразно, по одним и тем же причинам, что не могло озадачить председателя. Он понимал мужицкое нерадение к принудительной работе, был рад сам, когда волость не беспокоили городские наряды. В то же время Павел скорее чувствовал, чем разбирался, что город был вынужден прибегать к мужицкой помощи. Тщательно и упорно выполняя очередную повинность, Павел мечтал, чтобы она была последней.

Мужики должны были прокричаться и устать. Павел беспрерывно бренчал и не обращал внимания на их исступленную руготню. Мужики бранились, грозили разойтись по избам—и не двигались. Павел учитывал и эту, на всякий случай, мужицкую осторожность. Они негодовали, своевольничали, но были связаны нерешительностью и незнанием, что их ожидало за непослушание и как им следовало окончательно поступить.

Когда сборище несколько успокоилось, Павел перестал бить о стакан, пошептался с исполкомцами и с сожалением заявил:

— Видно, надобно кончать. Препирались, да о прежнее и споткнулись. Исполком желал по-хорошему, без всякой понудиловки, советовался. По-худому недолго заслужить. Мы за всех отвечать не горазды. В город так и отпишем. Только зря вышло несогласие. Наказание будет. Надбавят к одному делу другого. Не знай кто в выигрыше! Очищай помещение: бумагу не при народе составлять!

Исполкомская уловка оказалась вполне удачной. Она сильно встревожила спорщиков.

— А ведь ровно бы так-то неладно,—первый сказал, задумываясь, Платон Кутьков.

— Рады-радешеньки подковырнуть, рот не успели мужики открыть,—сказал вторым Григорий Крохин.

— Сами оробели и других в робость хотят привес-

ти!—выступил третьим Васька-пчельник.—Один посул мужикам не разжевали, другой посул чище того—суют на закуску!

Скоро зашумела вся толпа, но уже как-то разочарованно, надломленно. Она потеряла в себя веру. Тогда Павел спокойно, с сознанием предстоящего успеха произнес:

— Вот вы галдите, надсажаетесь, а совсем не к делу. На совхозских судачите, будто три года на них работали. А и не пришлось еще ни разу. Понапрасну с большака на проселок сворачиваете. Совхозские от нас не отстанут в работе. Известно—выгружать всех погонят. Да народу там не хватает. Не обойтись без мужиков. Орем на всю волость, будто все мы прошли и умнее нас на свете людей не сыщешь. Вон Гришка желает институт прикрыть. Дня бы ему, гляди, не потерять на работе. Кошелек, видишь, у него не тугой еще. На скалках тянемся из-за работы, а по пустякам третьи сутки в исполкоме околачиваемся. Вся волость зашатывается спозаранку до ночи. Кому вред, как не самим себе? Чего зря залезать под рогожку, ежели дождь вовсе не идет. Института нашего, говорят, во всей Европе лучше нет, а мы его замораживать, без дров кидаем, трубы там разные лопнут, машины растрескаются. Чей институт? Мужицкий, рабочий, трудовой! На подати с нас буржуем выстроен, а теперь наш. Кому раззор? Нам же опять. В государстве беда—за войну деньги израсходовали, каждый в своем месте горбом своим и должон помогать в беде.

Спорили до вечерних огней. Разбредались недовольные и как будто непокоренные.

— Чур, мужики, колеса не прятать!—язвила неугомонная Енька. — На одном передке, да выезжай. Мы не городские, нас не обтяпаешь. В прошлую хлебную выгрузку для армии спустили обман, нонче не пола-

дим так на так! У кого на самом деле телега неисправная, приходи работать вручную! За коня и сойдешь!

— Исполкомских-то лошадей не забудьте!—кричали ответно мужики.—Они кормленые. Не застоялись бы!

— Не застоятся!—подзуживала Енька.—Первые прибудут, последние уйдут! Вон Платон Кутьков собирается с вечера закладать. Угонись за ним всякий—выгрузку до сумерок одолеем!

— Не шутка, не шутка,—бормотал подавленно проигравший Кутьков.

В апрельских отмякающих полях кляли исполком, схватывались между собою и жгли раздуваемые на ветру цыгарки—первый знак мужицкого гнева и расстройства.

На той же неделе Сенька Кулик с военным комиссаром Черемушкиным возвращались из волостного объезда. С первыми проталинами на Уфтюге и Рабанге мужики приступили к рытью окопов. Волость освободили от всех других повинностей. Где-то там, за Заозерьем, на большевистское государство напали отставные генералы, выгнанные из усадеб помещики, обнищавшие без фабрик и заводов фабриканты и заводчики, а с ними все те, кто кормился около тучных барских кухонь и кому черств и несъедобен показался голодный хлеб безвременья. Кроме своих напали на рабочих и крестьян разгневанные российской смутой иноземцы.

Мужики неотчетливо разбирались в наступавшем враге. Дальше своей волости лежала земля чужая, ненужная, пользоваться ею было нельзя из-за дальности, а равно, казалось, и не от кого и незачем было ее защищать. А потому ее, отрезанную горами и лесами, не было жалко. Мужики, как незрячие, не видели ночных пожарищ.

Сенька Кулик насильно выгонял отдыхавших от

войны мужиков. Деревни дремали. Председатель носился по волости точно с пожара на пожар. Загоралось на одном конце, он мчался туда, не успевал потушить, не успевал покормить коня,— и надо было торопиться на другой, в средину, на окраину, по проселку в сторону.

— Враг идет!—как бы трубил в сигнальную трубу Сенька Кулик.—Враг крадется! Настороже́йся, мужики! Заране готовься! Не врасплох придет. Западню ему рой! Наступит—и завязнет лапой! Тут его и освежуем. Леность вон, ребята! Потрудимся, поземлекопствуем малость—зато защита есть! Не отымет зато ничего! Откатится ни с чем, ежели не поляжет весь, ежели не добьем!

— А нам, может, и не враг!—сопротивлялись лениво мужики.—Почто попусту поля портить? Вишь, распланировали по-за деревнями землю, покосы изрезали, дорог наделали нивесть сколько! Добра чужого никому не жалко. Проволоки натянули с колючками. Загородили волость, мужики в клетке, как зверье, сиди. Корова вымя на колючке оставит, сиську раздерет, а конь ногу, а ребятишки брюхо исполосуют. Сами себе ущерб делай. Мы тебе не солдаты боле. Сгоняй воинов, когда воевать вам надобно!

Сенька Кулик разъезжал с винтовкой за плечами. Он не расставался с ней. Мужицкие слова приводили его в негодование, он расходился до красноты, вскидывал винтовку и грозил:

— Погодите ужо! Как проговорим, да как неприятель до заду вашего доберется, да как распишет его по линейкам, что ребята в школе пишут,—взвоете, медведи неповоротные... Вылезай без лишнего на дело! Не смыслите сами, другие за вас смыслят. Н-не дадимся! Маленький парень на огонь тянется, так его по рукам, по башке глупой! Дурачье, попадет бедноте.

А ее у нас куры не клюют. Кулаки же не останутся в проигрыше! Меня, нищего, слушайте, а не кулаков!

Злоба катилась за пегунком Сеньки Кулика. Мужики рыли окопы нерадиво. Изрыли всю волость, оплели ее железными заграждениями, наделали волчьих ям, блиндажей, землянок. Кулаки упорно делали свое дело и подзуживали против председателя.

И Сенька Кулик, казалось мужикам, обманул их. Только окончили окопные работы, как навалились одна за другой повинности—и обозные, и ручные, и хлебные, и картофельные, и всякие иные.

Сенька Кулик с тем же жаром командовал в волости, добывал хлеб, картошку, заготовлял дрова, плотничал, снаряжал подводы, грузил и разгружал на станциях вагоны, починял дороги, рубил лесные делянки Семенковых, Никуличевых, Лафтаковых... Мужики недобро оглядывались ему вслед, когда катил он на своем пегунке и за плечами у него торчало винтовочное дуло с приткнутым к нему штыком, будто указующий стальной палец.

Сенька Кулик ехал по защищенным овражкам, горкам, низинкам и с гордостью осматривал волостную подготовку. Мужичья злоба, подвинченная кулаками, однако, вскочила уже высоко. С некоторого времени обороне начали вредить. В самых нужных и выгодных местах проволоки перерезали, сматывали и топили в речках, валили столбы, осыпали насыпи... Сенька Кулик искал ночных воров, рыскал по-волчьи в перелесках, стерег под мостами, в канавах, ловил и расправлялся.

В эту ночь Сенька Кулик возвращался с одной такой расправы. Он застиг в окопах целую ближнедеревенскую артель мужиков с топорами и лопатами. Председатель и военный комиссар спрятали лошадь в темноте и подползли на огонь фонаря. Покуда Сенька

Кулик полз, в нем больно отдавался каждый осторожный удар топора, каждое лязганье лопаты и треск лопавшихся проволок. Он добрался, вскочил на твердый бугор, пальнул из винтовки и ухнул во все свое оглушительное горло:

— Дровосеки! Труженички! Фонариками запаслись! Вы бы без огошка овин сушили!

Мужики молили и кланялись председателю.

— Ловко, Петька! Ай да Василий Сидоров! Ну и ну, Ванюша Еремеев! Да и все прочие знакомцы! Вот кто-о насупротив пошел! Поглядим, поспрашиваем, какой ответ дадите?—бесился и подпрыгивал Сенька Кулик и с нечеловеческой силой сдавливал пятернями винтовку.—Всыпались, сволочи! Чего брюхо о землю трете? В покаянную теперь! Наблудили—и на поклон! Думаете умилостивить? Не-ет! Шалишь! В такую подколодную мы не игроки! Чего надо: сейчас перестрелять разбойников али опосля? Говори по отдельности! Народ на подбор: один одного зажиточнее! И служков своих привели! Бедняцкое дело вам не по губе! Кувырком его?!

Мужики понуро стояли, выпустили топоры и лопаты. Сенька Кулик не удержался от негодования, попеременно тыкал мужиков прикладом, рвал за волосы, хлестал по щекам. Наконец он выстроил мужиков в два ряда, сунул фонарь лавочнику Василию Сидорову, пихнул его вперед, — и шествие тронулось. Василий Сидоров разбито нес фонарь, как ему приказали, на плече, чтобы было видно, унылые его товарищи нехотя шагали вслед, Сенька Кулик не выпускал винтовки, сопровождал пешим, а военный комиссар сзади повозничал лошадью.

Председатель запер мужиков в исполкоме и повез Черемушкина на ночевку к себе. Тут, почти у самой околицы, у отвода внезапно кинулся из темноты чело-

век и повис на лошадиной морде. Конь испуганно сдался, заржал, бросился вбок, телега свернулась с хода... Сенька Кулик не спрашивал, взметнул винтовку. Комиссар путался рукой в револьверной кобуре.

Но оба они не успели...

Подстерегавшие люди, которых в обманчивой темноте, казалось, было много, обрушились нещадным деревянным боем. Колья схлеснулись вокруг телеги и образовали как бы непокрытый шалаш. Разрушительный хлопок угодил по голове Черемушкина, и военный комиссар обрызгал теплой кровяной струей Сеньку Кулика. Люди вывернули председательскую руку, отбили винтовку. Она с лязгом выскользнула и загремела о колесо. Сенька Кулик вдруг почувствовал себя связанным. Под торопливыми деревянными ударами силы ослабевали, затекли и заныли плечи, от ломоты в руке хотелось кричать, рот раскрывался сам, и протяжный, жалобный звук невольно исходил из горла.

Комиссарское тело тяжело навалилось на председателя. Сенька Кулик было оттолкнул его. Но догадливое чувство самосохранения подсказало более правильное поведение. Он прикорнул к мертвецу и как бы заслонился им. Колья едва касались председателя и хлюпко били по Черемушкину. Мгновенно Сенька Кулик нащупал в телеге, должно быть, выбитый из кобуры комиссарский револьвер.

Люди залезали в телегу. Председатель с туманными глазами, в полусознании, выстрелил... В огненной вспышке мелькнуло чье-то искаженное бородатое лицо, конь рванул, невыносимо ударила боль в избитую грудь, с телеги низверглись нападавшие.

Сеньку Кулика стремительно понесло, потянуло, приятная прохлада подула в лицо, он жадно проглотил ее, весь растаял, расплылся и перестал понимать...

Председатель очнулся у своего встревоженного крыльца: лошадь прискакала домой.

— — — — — — — — — — — — — — — —

Однорукий Сенька Кулик вышел к сенокосу. Мужики постарались за его отсутствие. Они растащили проволоки, повалили и сожгли столбы, растоптали землянки, расковыряли и продырявили блиндажи. Окопные работы так запустели, точно их только начали и забросили за ненадобностью. Опять росла повсюду бесперебойная трава, поля были гладкие, ровные, пушистые, как шубы наизнанку, укатанные дороги протянулись посреди высокорослых лугов и непроступных нив узкими серыми межами. Сенька Кулик не нарушал это всеобщее ращение: он пролежал всю весну беспамятно в больнице, тягался со смертью—и земля взяла всю весеннюю благость.

Председатель мстительно корчился в своей испытанной повозке. Он сразу принялся за восстановление нарушенного волостного порядка. Однoручие не утишило его нрава. Сенька Кулик потрясал своей правой рукой с такой яростью, словно вкладывал в это движение удесятеренную страсть. Мужики хмурились, как хвойный лес вечером.

Тогда у горицких дев и наладилось крепкое убежище.

Прилуцкий архимандрит Феофан призвал своего воздержного на всякое неудобное слово слесаря Фому, вынул из стола корявый старинного калибра внутренний замок и сказал:

— Изготовь, Фома, сорок ключей.

Слесарь принял тяжелую замочную кладь и замер с протянутой шершавой и узловатой дланью.

— Скоро,—строго нахмурился щедрый заказчик и внимательно, с заботой поглядел в разверстые недо-

умением глаза Фомы.— Сделай и запомни—заказа такого от меня не принимал.

Слесарь помолчал, поднес к самому носу замочное изделие, точно понюхал его, потрогал кованые шляпки гвоздей, повертел ключом и стал медленно засовывать образец в карман.

— На место сами поставите замок?—только и спросил, он полным разнодушия и мрачности голосом.

— Справимся!—воскликнул весело Феофан и приветливо, с хозяйским одобрением потрепал его по спине и выпроводил за двери.

Скоро связки новеньких ключей начали убывать. Ключи имели сбыт по всему Заозерью. Ключи распределяли преосвященный Александр, Михаил Георгиевич Шеин, генерал Водовозов и сама мать Калерия. В потайную монастырскую калитку приходили беспрепятственными ночами надежные обладатели ключей, свозили тяжелые и легкие грузы, емкие ящики и корзины и всякую тару.

В Горицком исполкоме Михаилу Черепанову приходилось все круче. Запутанная в древнюю богомольную и богатейскую паутину волость скалила голодные зубы. Горицкий председатель был нераскаянным безбожником и хулителем святынь. Владения матери Калерии возбуждали в нем необоримые и несогласные думы. Но пятисотлетнее дупло неприступно оборонялось от исполкомских вожделений. В обители была в триста ртов подставная монашеская трудовая коммуна. Нетрезвая вражда делала ненавистника придирчивым к малому, открытому, и сугубо мешала его догадливости к спрятанному под спуд. Черепанов неослабно надзирал за широкими безгрешными воротами в обитель и невдомек забывал о калиточных лазеях.

Глава третья

К переполненной лесом запани, в полуверстном расстоянии от Молочного института совхозские выехали спозаранку. Крапил ленивый, но надолго зарядивший дождь. Взбаламученное нагромождениями набухлых туч небо не предвещало близкого ведра. Дождевые вместилища были огромны и низки. Они ползли, касаясь вершинника заречного бора. Запань была обширна и густо замешана деревянным тестом. По вязкой, сырой земле было неудобно ходить и тащить осклизлые, намокшие короткопалые бревна. Выгрузка подвигалась мало успешно. Грузчики переживали го тягостное раздумье в работе, которое всегда лишает человеческий труд уверенности, бодрости и соревновательской прыти. Грузчики скоро без проку вымочились и перевалялись в грязи. Холодный день показался еще более бесприютным и враждебным.

— Ходи, ходи, товаришши,—понукали рабочкомцы,—разогревайсь! Не бойся ноги мокрой, опасайся ноги холодной!

— Да что вы рассолодели, ребята!—призывал предрабочком Костров, кудлатый старик в очках, замотанных на переносьи суровыми нитками.— Волоки дружнее. Не разваливай зря костры по лугу. Вон ужо волость явится—срам. Того-де не умеют—лес укладывать правильно. И за такую прибыль осудят. Черпаем, черпаем будто пригоршнями воду из реки, а на берегу чисто и гладко, ни соринки, ни щепки лишней.

— А звали волость-то?—кричали недовольно рабочие.—Чтой-то не похоже! Видно, с полуден нынче мужики трудятся. Одна проволочка и обман!

Исполкомцы держались отдельной грудкой. С немалым смущением они слушали этот справедливый наскок. Павлу показалось, что над головой его как бы

пролетел со свистом камень. Мужики подозрительно запаздывали.

Неисчерпаемая запань отпугивала. У самого берега был свободен только небольшой краешек реки. Там на связанных поперек узкими дощечками чурбаках, стоя, пятеро рабочих подгоняли лес баграми. Работа на берегу так не ладилась, что сотня выгрузчиков отставала от пятерых багорщиков. Заготовка останавливалась.

— Костров,—вопили с реки,—будет, что ль, дело али не будет? На воде—не на земле. Мы не каменные. Пускай главные лентяюги мерзнут. Что мы наказанье за всех отбываем! Сади на наше место других, кому стоять охота, у кого ноги не переставляются!

Работа временно оживлялась. Бревна торопливо заматывали железными цепями, и лошади тянули их по настилам. Рабочие подбадривали друг друга, запевали со смехом «Дубинушку», но азарт быстро падал. Непроизводительно ленивый труд чувствовали даже лошади. Они так долго простаивали зря под дождем, их так разбито и вяло понукали, что животные выдергивали деревянный воз, а потом с наслаждением щипали первую апрельскую траву.

— Вы бы нас гору заставили переносить,—бормотали осуждающе грузчики,—кому это под силу? Неспорая работа и на ум не лезет! Измочились, изгрязнились все...

— Как так — гору? До горы и не дотронулись! — неодобрительно подхватил Костров.— Ежели глядеть только на запань, гляди сколько хочешь, лесу не убудет. Лес безбрюхой — сам на берег не поползет. Гора вам страховита? Бабьему серпу тоже, поди, страшно бывает: много ль он захватит, кривой! А кладет же поле за полем! Непочатую работу ругаете. А вы ее сперва отведайте.

— Не дури,— шумели рабочкомцы,— некому за нас

стараться! Обсохнем! Без калош и без перчаток всю жизнь ходим!

— Мы вам не нанимались на выгрузку! — шумели несогласные.— По норме мы знать не знаем ничего, кроме поля да огородов!

— Ого! — воскликнул насмешливо Костров.— Здорово вы в нормах смекаете. А вон профессора наши, управляющий, директор — они ка-ак нанимались делать черную мужицкую работу?

Рабочие не поддавались.

— Для показу выставили! Без пользы! В пальтецах! Полы долгие, а руки короткие! Вот бы мы одни еще выгружали! Нам дров для наших дворцов немного и надобно. Казармы, вас не спросясь, мы протопим! Еловых шишек наберем — и тепла нагоним.

Рабочие оспаривали усмехающегося Кострова и рабочкомовцев, обертывались на огромные краснокирпичные здания института.

— Вон пасть какая! Центральное отопление, электричество, господские квартирки! Накорми все печки — вся запань и влезет. А нам оттудова тепло не идет. Институтским и надобна вся эта уйма дров!

Рабочие с неприязнью показывали на неубывающую запань.

— Перышками немного почеркаешь, ежли руки промерзли! Жалованье будет не за что получать. Всяк для себя и трудись. А норовят на готовое. Подставили нам будто помощников. Тоже выдумали! К чорту! Отошло батрачество!

Работа шла с перебранками, с разговорами, вперевалку. Исполкомцы перешептывались. Тут было то же, знакомое, близкое, и спорное, как мужичье несогласие. Именских рабочих невозможно было примирить с институтской интеллигенцией.

— Дураки вы али саботажники!—взывал предра-

бочком. — Дрова для скотных дворов нужны? Нужны. Электричество у нас в казармах мигает? Мигает. Водопроводный колодец у нас общий? Общий. Какого же вам дьявола надо! Мы один без другого жить не можем! Будь по-вашему, пожалуй, и муки никому не следует давать, кроме именских! Кто муку достает, тот ее в три горла и ешь?

Рабочие порывисто засмеялись и обрадовались, как им показалось, на обмолвку Кострова.

— Да, наешь у вас много! — раздались иронические протяжные выкрики.— Один с сошкой, семеро с ложкой!

— Институтские жалованья вдесятеро больше получают!

— Работы только не видать!

— Пускай институтских с нами сравнивают. Переводи всех в один разряд. А на излишки наймуй выгрузчиков. Мы первые пойдем на сверхурочные.

Рабочие совсем повеселели, бросили работу и обступили рабочкомовцев. Исполкомцы приглядывались. Енька подбочилась и сказала:

— Ну, чем не исполком? Хорошо мужики не подъехали! Потачка была бы, лучше не надо!

Именские настаивали на своем.

— Мы б не такую запань выкидали без всякого греха. И распилили и накололи бы дровишек, хоть захлебывайся. Мы от именского не бегаем, а зачем же чужое на нас наваливают? Кто много денег огребает, тому боле и надо. Рабочая власть, а порядки старые! День промозглый, скотина носу не показывает на улицу, а мы ломи на буржуев!

Костров тогда и не выдержал. Он перестал усмехаться, надернул повыше очки и закричал:

— Вот что — будет языки жевать! Сознательные вы пролетарии или жадненющие рвачи? Одни вы на све-

те проживаете али со всеми трудящимися вместе? Мы именские, они институтские! Да они нашего дела, а мы ихнего не можем делать. У них наука, у нас руки. В профессора вы захотели, дьявольская сила! Все будем профессорами, штаны свалятся. Не мы им, поймите, дурошлепы, а они нам служат. Они от нашего государства на заказ работают, а не на себя. Вы сдуру под самую советскую власть подкапываетесь. Она их поставила, а мы первые над ними надсмотрщики. Только смотреть надо по-настоящему. Вот ежели бы профессора вместо своего дела начали обучаться в институте из ружей палить али «Боже, царя храни» затянули, мы бы тоды и за шиворот с мясом взяли. А нынче нам и самим по загривку дадут за неправильные обиды. Кончай балагурство! Собрание объявляю на нерабочее время. Кто в недовольстве — ставь тогда свой вопрос: разберем. Эй, секретарь рабочкома, записывай прогул всякому, кто однова вякнет не по делу! А кому не любы наши рабочие порядки, очищай место настоящему пролетарию! Шкурники в весе не тянут!

За работу принялись с той же ленцой, но уже молча. Багорщикам не пришлось больше дожидаться: они разогрелись. Предрабочком удовлетворенно сновал от партии к партии. Но рабочие не отзывались на его присловки и прибаутки. Костров почувствовал отчуждение. Он сознавал свою правоту, но отчуждение все же сразу обеспокоило его. Так было всегда, когда он расходился со своими выборщиками. Предрабочком испытывал желание примирить с собой массу. Он подошел к исполкомцам и нарочно повел с ними громогласную беседу о неявившихся мужиках. Теперь его слова и мысли полностью совпадали с чувствами совхозских.

Костров весь напыжился, раздулся, сгорбился, точно чудовищно взъерошенный кот. Он перепрыгивал с

места на место и как бы примеривался больнее куснуть озадаченных мужицких предов. Костровское нападение перешло всякую меру исполкомского терпения. Оба начальства схватились и едва не дошли до рукоприкладства.

— Замолчи ты, путало-мученик!—ожесточенно и требовательно взвизгнула Енька.— Сначала очки протри: только и видишь — темно да рассвело! Паси свое стадо — не лучше нашего, крикуша! И над совхозскими и над деревенскими кулак нужен! Работка у тех и у других—тошно глядеть!

Начальственный бой напоминал настоящее петушиное сражение: под него работалось веселее и дружнее.

— Худо ль, хорошо ль,— кипятился Костров,— наши у дела, а ваши где? Где, я тебя спрашиваю, шилистая ты женщина, мужички ваши—доброхоты наши?

— На печке сидят!—отрубила разозленная Енька.— Дубья ждут. Завтра погоним! Ты стереги своих, чтоб не разбежались к завтрему, а мы своих попестуем!

Во весь день под разными отговорками на опоздание подъезжали, а больше подходили мужики. Их встречали насмешками, которыми нельзя было пронять отлынивавших хлеборобов. Писарь Мымриков сидел в председательской телеге, держал на мокрой коленке записную тетрадь и отмечал в ней прибывших. Мужики с опаской косились на письменное рукоделье Мымрикова.

— Эй, строчило, не забудь, смотри крест поставить! — выкрикивал почти каждый.— А то и в другорядь потянете на дармовщинку!

Выгрузка не удалась, как не удался этот слякотный день. Запань мерно покачивалась, точно взволнованно дышала на нерадивую работу. Исполкомцы были вне себя от новой неудачи. Она особенно была обидна перед совхозскими рабочими.

Павел с Никандром ускакали с реки задолго до конца. К ночи вокруг исполкома начал кормиться порядочный табун лошадей. Исполкомцы не теряли зря времени. Они до вечера обскакали всю волость и призвали на помощь преданную и разудалую молодятню. Отряд бесседельных всадников, едва забрезжило, не преминул пуститься по деревням и поднял мужиков. Десять тысяч кубов выкатали в трое суток.

Исполкомская победа была полной. Но с тех пор побежденные как-то крепко засели по деревням, будто прикорнули в печурки, затихли и все реже и реже показывались на глаза своим волостным избранникам. На исполком подуло холодными и опасными ветрами: исполкомское бобыльство возросло.

Торжество в Молочном институте оказалось еще менее продолжительным. Зимняя заготовка дров тешила и радовала какие-нибудь несколько дней. Скоро для институтских и совхозских настали пугливые и страшные ночи. Они зачернелись, как мрачная копоть, вспыхивающая искрами. Неведомые и неуловимые мстители вытаптывали поля, огороды, опытные участки, рубили лесной заповедник, сожгли сеновалы, хутор, подсохшие и распиленные дрова то-и-дело загорались. Управленческий совет института метался.

Сломали календарный план полевых работ, бросили весь конский заморенный состав на перевозку дров с берега поближе к институту. Топливо спасли. Выставили повсюду ночных сторожей с ружьями и трещотками. Сторожили в две смены.

Тут среди лета открылось полное расстройство и сумятица. На недалекой пожне, в новой сеновальной стройке нашли повешенными двух сторожей-рабочкомцев. Удавленники были обезображены ножовыми ранами и разрубами топоров; за плечами у них привязаны были берданки с воткнутыми в дула прутьями, на

которых трепетали под ветром маленькие красные флажки. Именские отказались выходить на охрану. Институт разбегался. Деревня выползла, как медянка, тронутая с места.

В те же сроки однорукий Сенька Кулик выбивал яичную подать и был схвачен бабами на Уфтюге. Его вымазали желтками и только-только не добили. Сенька Кулик надолго убрался в больницу.

Большое испытание довелось пережить и Михаилу Черепанову. Богоненавистному Горицкому исполкому наскучило безумолчное колокольное телеленьканье в обители, и он запретил звонить в самый большой дарственный колокол и определил на бабью молитвенную потребу хрипловатый, без пронзительного треска и серебряного завывания, средней величины колокол.

Был произведен предварительный осмотр — и на колокольню собственноручно залезли исполкомцы. Началась проба. По всем Горицам и за селом расставили махальщиков с красными флагами. Они по условию подавали сигналы слышимости. Михаил Черепанов никому не доверил звона. В качестве наблюдателей за махальщиками он назначил по одному члену исполкома в каждый пролет колокольни, а сам взялся за рьяное раскачивание пудовых языков. Перепробовали неурочно все колокола. Шутки ради и забавы растянули отборочное время — и сошлись на хрипуне. Обительские девы возроптали. Прибытие в монастырь преосвященного Александра усугубило тяжесть святотатственного исполкомского проступка. Колоколенная диктатура становилась непереносимой. Встречный владычный звон без трубоносного вечевика, как Кремль без Ивана Великого, был явно подорван в благолепии, в исконной густоте и торжественности. Строптивые девы упорствовали и настаивали на снятии

веревочных обмоток и вислых печатей от колокольного языка.

Сама мать Калерия пожаловала в исполкомские трущобы и взошла в неопрятную клетушку антихриста Черепанова. Богоотступник сидел тут в узкой тесноте, вроде как в мусорном ящике на городской площади, и беззаботно лущил тыквенное семя, выдувая шелуху прямо на пол. Разговор был буен и несдержан с обеих сторон. Председатель вытолкал игуменью за двери и грозно завопил:

— Погоди ужо, мы вас и не так израсходуем! Все колокола перекидаем на землю! По деревням раздадим: на сходы да на пожары сзывать! Наколошматились без пользы! Запрещаю архиреев потешать! Контру разводите!

Мать Калерия оставила логовище антихриста в лютой красноте.

Тогда и схватились неотступно две горицких гордыни. Не прошло и часа после немирного свидания в исполкоме, как Михаил Черепанов опрокинул табуретку, вскочил, сглотнул впопыхах неразжеванное тыквенное семя в мундире, поперхнулся, затруднительно прокашлялся, шмыгнул к окошку и высунулся на улицу. В монастыре ворочал тысячепудовые медные груды опальный колокол. Председатель начинал отвыкать от его тяжелоступного громыхания. Теперь оно показалось чрезмерным. Как будто на крыше по медной обшивке били назойливые огромные молоты. То отчаянная мать Калерия вернулась в свои униженные покои, взыграла неумиренной кровью, приказала звонарю сбросить исполкомские узы с молчальника-колокола и благовестить к несвоевременной вечерне.

В исполкоме переполошились. Председатель в поту и страстях препоясался наганом, то же сделали приближенные, писарь забрал обрывки серой бумаги,

ввергнул их за пазуху, и правители спешным ходом двинулись к крамольному месту.

Но малолюдную, хотя и воинственную кучку ждали уже по крайней мере две сотни монахинь. Они облепили колокольню, как перелетные птицы скирду, и не допустили начальство. На колокольном входе был громадный ухастый замок. На нем висела судорожно и цепко мать Калерия, исступленно восклицала и вся кими, прилипающими телами, не поддавались ни на тряслась. А осмелевший колокол гремел и гремел над затуманенными исполкомскими и монашескими головами. Монахини лезли на оружие, бесстрашно отволакивали Черепанова, нагрето обхватывали его мягкакие угрозы и крики.

Вечерня была забыта. В церкви дожидались терпеливые старухи и недоумевали на непонятное запаздывание богослужения. Восстановленный колокол сделал свое дело — и умолк. Разъяренные исполкомцы вынуждены были на сегодня уступить.

Вражда обострилась, как отточенная бритва. Михаил Черепанов решил применить крутые и окончательные меры к изъятию колокола. Подготовления производились в такой тайне, точно заговорщики жили впотьмах и временно оглохли. Проученные неудачей, они собирали и накапливали надежные и достаточные силы, чтобы отбиться от монахинь и настоять на своем. Мать же Калерия словно не могла наслушаться своего обиженного и запретного колокола, посрамившего антихриста.

Снятие колокола наметили в канун прибытия преосвященного Александра. Был то срединедельный рабочий день. Исполкомцы из осторожности постановили осуществить свое предприятие в занятое время, дабы не сзывать лишних соглядатаев и церковников. Все было рассчитано и подлажено. Но еще в канун

кануна любознательная бабенка одного из исполкомских воротил разведала от того краешек затеи, всплеснулась точно большая рыба на перекате, побежала к соседке с занятными новостями,— и до приступа к делу бабья молва, как ковыль, вспорхнула и запорошила деревни на десять верст кругом. Горицкие девственницы размножили неписаную почту.

Исполкомский план — чинно и степенно, по блокам, на толстых веревьях приземлить гремучий колокол — сорвался. Долгая возня была небезопасна при суетливом и неверном бабьем скоплении, а оно было неизбежно. Теперь выручала от бесплодной подготовки одна скорость. Исполкомцы не подались назад и не отступили. Второпях они согласились колокол сбросить.

Раннеутреннее появление колоколоненавистников, однако, было поджидаемо монахинями. На святых воротах поместились дозорные. Едва Михаил Черепанов шагнул с исполкомского крыльца на дорогу, а за ним выступили прочие, как об этом стало известно водительнице черниц. Она тотчас же повелела дать звонок во всех сестриных корпусах и в каждом внутриоградном закоулке. Воинство волостного антихриста немедленно очутилось в толпе, лишь проследовало за ограду.

Михаил Черепанов с досадливым чертыханьем поднял голову кверху. С колокольни высматривали, как белое на черном, монашки-звонари в скуфейках. Они были там заперты. Над колокольным входом висели уже три громоздко-неуклюжих замка вместо одного. В председательские мысли вошла тревога. Пребывание на высоте звонарей, недоступных уловлению, угрожало провальным для дела и шалым бабьим набатом. Тогда же председатель снял с плеча пилу, которую заготовил пилить перекладину. Он непоиязненно заметил вокруг себя, кроме черного монашеского галочья, многих ближне- и дальнедеревенских мужиков,

парней, вдвое большее количество неведомых баб и каких-то монахов и каких-то бледнокровных горожан-богомольцев.

— По какой надобности собрался народ? — неуступчиво крикнул Черепанов, потому что втайне сознавал неизбежность отступления.— Мешать исполкому нужное дело заканчивать?

— Для этого для самого,— кто-то ответил сзади.

— А это видали?

Председатель швырнул на землю пилу и высунул вперед свой тяжеловесный наган.

Толпа почувствовала неуверенность в действиях исполкомцев. Они скорее прикровенно думали о самозащите, чем о нападении. Она колебалась недолго. Вдруг бабам показалось, что настало время выручать обиженных «сестричек». Не зря же они сгалгачили баб на отбитие колокола!

— Нехристи! — взвизгнуло одним пронзительным горлом бабье стадо и хлынуло, как осыпь размытой горы, на исполкомцев.— Колокола вам божьи надоели! Мало над волостью потехи! Обобрали, ошарили, перевернули все на березку! Здёся взять нечего, так хоть надругаться! Гони их взашей, грабителей! Весь их побирашкин комитет!

Председательский наганный выстрел в воздух не напугал, а только разъярил до крайности баб. Мужики и городские богомолы чуть-чуть начинали в негодовании бормотать, медленно расходились и больше озирали исполкомцев тяжелыми, несытыми взглядами, как безрассудные бабы уже крепко овладели оплошавшим начальством. Они перекидали вооружение на землю, расцарапали в кровь черепановское лицо, истрепали на исполкомцах рубахи и жилетки и пинками принялись выпроваживать колокольных врагов за ворота.

Мать Калерия с монашками сторонилась драки. Участие их было и не нужно: бабы справлялись одни. Когда антихриста и войско его явственно поворотили вон из обители, предприимчивая управительница сделала коротко-умелый знак своей келейной пастве, смиренно и благодарно склонилась в поясном поклоне перед мужественными заступницами. Все монашки поспешно изогнулись в коромысла. Благодарственные поклоны еще больше возбудили бабью ретивость: исполкомцам были возданы дополнительные тычки и пинки.

Дальновидная игуменья никогда не была самонадеянна. Она догадливо решила извлечь пользу даже из дальнейших событий, о которых тут же, в самом пылу битвы, осторожно задумалась.

Покуда растрепанных в клочья исполкомцев — теперь тыкали их и мужики, и монахи, и городские странники — отгоняли от обители, мать Калерия лукаво ухмыльнулась и приказала собрать револьверы и прочее вооружение. Его набрали довольно вместительную корзину.

Исполкомцев пихнули в помещение, выбили все окна в исполкоме и для смеху привалили к выходным дверям громадную каменюгу.

Игуменья выжидательно промедлила несколько затихших часов и с уважительным видом доставила в исполком через посыльного ошеломительную корзину, которая приютила военное исполкомское снаряжение, пилы и разные инструменты. Михаил Черепанов почуял насмешку и не расписался в получении собственного огнестрельного. Тем не менее через неделю — приезд преосвященного Александра отложился — Горицкая обитель встретила владыку беспрепятственным звоном с участием всего колокольного собора. Окна в исполкоме, за неименением стекла, так и не вставили.

Удержались и от написания протокола, так как решили пока не досаждать волости.

Глава четвертая

В этот нищий год было недородное лето. Хлеб собрали наполовину. Не похоже на прошлые урожаи произросла картошка, травы сгнили, и не налились яблочные сады. А когда опала листва и оголилась земля и хлынули осенние дождевые воды, унылый и безночлежный странник застучался под деревенскими окошками. Он валил больших и малых, старых и молодых. Вшивый сыпной царь пошел с обходом из избы в избу. Деревни скудели народом.

В этот гибельный год в городах чуть курились молчаливые голодные дома. Они были как юрты в тундрах. Самодельные жестяные трубы в окнах выпускали чахлый дым сжигаемых книг, рукописей, дорогого красного дерева, карельской березы. Жгли все горючее, жгли накопленное в столетиях, жгли чужое и свое, жгли расчетливей скупца, который оберегает свои сокровища.

Дома стояли облезлые, точно линючий весенний зверь. Неподновляемо ржавели крыши. Побитые стекла были заткнуты тряпками. Дома стояли без ворот и заборов, понурые, за ставнями, с заколоченными парадными. Пустыри перемежались с жильем. Улицы сквозили, словно дома не успели достроить и замкнуть один от другого непроходимыми дворами. Никто без проку не выходил на пустые, неприбранные площади, проспекты, бульвары.

Казалось, тысячелетняя пыль засыпала города. Казалось, железный век кончился и невозвратимо ушел, как уходит человек в могилу. Вековой мужицкий обоз снова потянулся с проселка. Железные пути, вязавшие

города с кормящей землей, оборвались. Деревня, как лесной заказник, отделилась от городов. В ветреные степи подбито и жалко устремились древние пешеходы. Казалось, жизнь обвалилась, как взорванная гора.

Тогда-то на деревенских дорогах и показались городские продотряды. Исполкомы больше не справлялись. Мужик побогаче, позажиточнее, а за ним кое-где пошла и беднота, ожаднел и встал у своего сусека с вилами.

Отряд металлистов и железнодорожников человек в двадцать пять появился на Березниках. Павел стоял у исполкомской пушки — она перестала занимать даже ребятишек — и следил за приближением продовольственников. В ранних осенних сумерках, тревожных и беспокойных, это шествие вооруженных людей вызывало удвоенную тревогу. Председатель держался за холодное дуло пушки, руку неприятно познабливало, но он в сосредоточенности не снимал ее, словно должен был непременно встретить продотрядцев в таком неудобном положении.

Чем ближе они пододвигались, тем яснее Павел чувствовал, что гости несли с собою неотвратимую беду и для него, и для волости, и для самих себя. Он понимал всю необходимость появления отряда, который поджидал со дня на день. Но сознание неизбежности предстоящего пугало...

В течение месяца исполком бился с мужиками. Исполкомцы, как на своем дворе, знали у каждого излишки, знали наперечет и маломощных и достаточных. Хлебная раскладка была невелика и выполнима. Не помогли ни просьбы, ни требования исполкома, ни старания малочисленных уговаривающих партийцев, ни буйные жалобы комсомольцев, ни ретивость комбедов. Мужики упирались. За главарями потянулось волостное большинство. Негласные ходоки обошли Го-

рицы, Усть-Угольское и Уфтюгу. Оттуда послали в дальние волости. Заозерье сговаривалось оберегать свои житницы.

В это время города в безвыходных неделях голодовок, холодов, тифов и смертей снаряжали свою спасительную хлебную армию. Враг провидел победное свое грядущее. Он точно ненасытный купец подсчитывал скорые и кровавые барыши. Однако он ошибся. Он преждевременно потянулся с рукой. Рабочий буйно не захотел стать добычей голода. Он поднялся от станков и машин. Как на весеннем солнцепеке жадно тающий снег — проходила рабочая мобилизация. Профсоюзы удерживали высокую волну. Добровольческие отряды торопливо уходили в мужицкую степь. Они словно боялись, как бы не остановили их.

— Товарищи,— напутствовал перед отправлением Гайгаров, — мы взяли власть. Но вместе с нею мы взгромоздили на наши плечи и бесчисленные трудности. Наши предшественники постарались отдать нам вконец измученную и разоренную страну. Они втайне думали тем нанести непоправимые и смертельные удары нашей молодой диктатуре. Мы не самонадеянны: они успели во многом! Но мы справедливы и к себе — мы возложили на себя историческую задачу отражать одно препятствие за другим. До сих пор нас не повалили ни война, ни разоренье, ни болезни, ни все бедствия, которыми нас стращали и стращают со всех сторон, которых мы бы не смогли перечесть напамять. Товарищи, но без хлеба нельзя жить, нельзя воевать с внутренними врагами, нельзя отбивать восьмитысячную границу, обложенную капиталистическими государствами. Голод — это лютейший из лютейших противников. Надо, необходимо, неизбежно сломить его! Хлеб должен быть у нас! Какой угодно ценой, какими угодно жертвами! Вы добудете его! Перед нами

сейчас главная нерешенная задача момента. Ссыпные пункты — главные крепости рабочего класса! Вы наполните их. Вы возвратитесь с натуго завязанными мешками!

Павел с тяжелой неуклюжестью и тоской размещал продовольственников в исполкоме на неудобную и неприютную ночевку. Комиссар отряда Перевощиков был высокий и стройный человек в до невозможности затасканной шинели, с дырками, с заброженными полами. Однако он не казался ни грязным, ни оборванцем, а даже имел какой-то странно щегольской вид. Перевощиков с звонким и бодрым недоумением в голосе спросил:

— Почему здесь? Разве мы не могли бы переночевать в деревне?

Большевистское ядро отряда,— коренники, как называли себя рабочие Евграфов, Четвериков и Колыгин, — присоединились к комиссарскому удивлению.

Павел со смущением и даже испугом за промедление в ответе сказал:

— Волость неспокойна. Мужики в разброде. Не дразнить бы сперва дьяволов! В исполкоме вернее. Несуразные — они и тут как бы не нагрянули... Охрану и тут следовает на ночь выставить.

Коренники переглянулись. Комиссар стройно и задорно постоял, охватил рукой револьверную кобуру, углядел в неярком свете от исполкомской лампы пуговичный налипок грязи на груди, сковырнул его, растер в пальцах и задумался.

— Можно и так,— что-то прикинул в уме и безучастно произнес он,— конечно, лучше без ссоры. Покуда терпится. Местным виднее, как быть. Остаемся в исполкоме.

Евграфов, Четвериков и Колыгин — лет под тридцать, живые, сухопарые, однорослые, на одну стать

русые, с голубоглазостью, быстро пошептались и согласились.

— Надо, товарищи,— продолжал Перевощиков,— не сплоховать, начинаючи дело. В лужу не хлопнуться! Будем ночь по двое дежурить! Во избежание...

Он вгляделся со вниманием в Павла, который стоял вровень с ним плечами,— они оба резко выдавались в помещении на голову перед другими,— мигнул и добавил:

— Хорошо бы сюда исполкомскую братию созвать!

Он недоверчиво усмехнулся, перевел глаза с Павла на коренников,— те понятливо отозвались и молчаливо одобрили комиссара.

— Это для того, чтобы с утра не разыскивать друг друга. Мы—в один конец, вы—в другой. Одна проволочка времени! В груде все — груднее пойдет работа.

Павел понял недоверие и напрасные опасения комиссара. Он охотно рассеял подозрительность.

— Наши скоро подойдут. И комбед. И партийные. Каждый вечер сходимся. Мы останемся. Известно, в незнакомой местности недолго заблудиться!

— Вот, вот,— сдержанно засмеялся Колыгин и подтолкнул Павла в бок локтем,— нечистая сила заведет в чужом палисаднике будто в дремучем лесу...

Недоразумение прошло, и установилась быстрая проверенная дружба.

Весь длинный, затяжной осенний вечер заняла подготовка к заврашнему дню. За исполкомским столом, изрезанным ножами, коряво исписанным вдоль и поперек неверными почерками, залитым чернилами и проженным углями из самоваров, на лавках и табуретках, на полу, на подоконниках сидели и стояли близкие друг другу люди. Подготовка была спокойна, деловита и обошлась без крика. Сведенные революци-

ей вместе, незнакомые, но товарищи, они мирно обсуждали общее и ни для кого не спорное предприятие. Платон Кутьков не явился.

Заполночь комиссар Перевощиков уже удовлетворенно видел перед собою всю волость. Она как бы сжалась до самых малых объемов, походила на его городскую комнатушку, в которой знакомо располагались его непритязательно бедные вещи. Волость была как разграфленная страничка бумаги, а на ней помечены пристальным дозором комбедов, комсомольцев, исполкома тучные и тощие крестьянские дворы, картофельные ямы, хранилища ржаного и пшеничного зерна. Хлеб подгнивал в полях, в оврагах, в низовых лугах. Он был спрятан в подпольях, под крышами, в трубах. Его подвешивали в колодцы, мешали с высевками и всякой трухой, с листьями, с кострикой, с желудями. Комиссар хотел скорее взять свою небольшую городскую часть. Он невесело думал о пустых городских складах, элеваторах, ларях, о каждой подобранной хлебной корке в домах, о бабьих очередях.

Перевощиков возмущался вероломством. Мужики точно считали какими-то чужими наймитами те тысячи некормленных, разутых, погибавших на фронтах бойцов за мужицкую землю. Мужики своекорыстно предоставляли умирать за них городу и не давали ему взамен ничего. Они даже не хотели помнить о своей мужицкой армии.

Комиссар разделил мужиков на два стана: здесь, в волости, они были другими. И к этим Перевощиков почувствовал почти вражеское любопытство и осторожность.

Пока шло совещание в исполкоме, Евграфов и Четвериков первыми встали на стражу. Они уселись на крыльце и глядели в кромешную темноту вечера. Ми-

мо то-и-дело сновали необычные в такую пору пешеходы, заглядывали с дороги в окна, подкашливали и молча исчезали. Часовые вызвали комиссара. Он минутку последил, презрительно плюнул и сказал:

— Принюхиваются, подлецы!

Перевощиков несдержанно хлопнул дверью. В беспокойной молчаливости вечера резкий хлопок гулко отдался в деревне. Евграфов с Четвериковым стали еще внимательнее глядеть.

Комиссар с Колыгиным дежурили вторую часть ночи. В деревне явно не спали. Изредка оттуда доносились скрип ворот, глухие шаги и неясные голоса. В ближних полях с малыми огнями бродили люди. Огни, точно каплюсенькие букашки, медленно и низко летали над невидной землей, то чуть вздымались, то пропадали, то садились,— и тогда комиссар загибал выше голову, чтобы разглядеть и примерно определить место, куда снизилось огненное насекомое.

— Не все, видно, спрятали,—говорил он в волнении,— остатки убирают! Даже остатков жалко негодяям!

Колыгин принимал более уравновешенно мужицкую суету в поле и посмеивался:

— Мужичок — рачительный, хозяйственный человечек. Чего ты хочешь? Сам он тебе на язык положит свое добро? Не-ет! Одно жалко — разобрать в темноте нельзя ямки. Завтра бы и шастануть сразу к земляным складам. С мужиком дело откровенное. Тут надо самим брать, а не дожидаться. Три года прождешь. Мужик и всплакнуть согласен, когда его под ребра возьмешь.

Колыгин вдруг так громко засмеялся, что комиссар его недовольно остановил.

— Да как же, дядя, не смеяться,— зашептал он сквозь сдержанный смех,— в нашей местности, на

моей родине, знаешь, чем мужики зимой промышляют? Нищенством. До завода и я с покойничком папашей хаживал. Волостей пять с Рождества разбредаются по городам со сбором. Здорово прикидываются! Они и погорельцы, и сиротки, и недород там, и всякое пятое-десятое. Бедняжечкам-мужичкам сердобольное городское бабье последние копейки отдает. А у них дома вся справа — любому городскому лавочнику не потягаться. Я, братишка, их знаю!

Колыгин помолчал и уже серьезно, с близким чувством к переживаниям комиссара, заключил:

— Добровольно ни здесь, ни в наших краях синь пороха не получишь. На милой моей родине, поди, нынче еще труднее достается товарищам! Народ — ножевик. Мужик, братец, лесная штучка. А на берлогу облава нужна. Хочешь, не хочешь — выбивать надо. Так, по добру не отдаст. У мужика, комиссар, зрение узкое, щелочка вместо глаз, до своего отвода видит. Не раньше как у околицы его беда захватит, он тогда с головой наш. Откуда что возьмется: первый боец, зубами загрызет. Дотуда — брось надеяться. Ну-у, не видит и не видит — чорта ли с ним делать! Не все, конечно, таковы. А море таких. В каждой волости свои воротилы. Чем богаче, тем жаднее.

Несмотря на открытое противодействие мужиков, решено было подойти к ним исподволь, с достаточной бережливостью и оглядкой. По указанию исполкома отряд выступил в более покладистые и бедные деревни. Там понимали скорее и сговаривались по согласу. С другими деревнями возились долго, нудно, по нескольку раз на дню собирали сходы, попеременно до хрипоты в горле говорили комиссар, коренники, почти каждый из продотрядцев успел схватиться с каждым из мужиков. Упорство было тупо и неодолимо, и неповоротливо, как лежачий камень.

— Да мы понимаем... да все уж худо... слов не остается, как неловко в городу... и солдатам мерло,— тянули мужики,— мы нет, мы разве против самих себя... революцию мы на сердце кладем. А ведь выше головы не скочишь. Нету его, хлебушка, не вызяб в прошлую осень: осень-то была — хуже не надо. Откуда же его зачерпнешь, когда на донышке в закромах и для своего семейства. Выскребай последнее. Так-то и вам, говоришь, несподручно и совесть мешает. И рады бы, да хлеб не рукоделье, его из палочки али из железа по-вашему, по-городскому, не сделаешь. Сама земля против мужика, а отсюда на мужика напраслина — он-де против идет...

В двадцативерстном расстоянии от Березников был ссыпной пункт. Туда, на маленькую железнодорожную станцию Мгу, за трое суток доставили гужом немного бедных и неемких возов.

Тогда и пришлось круто расшевелить самые неугомонные и супротивные места. Комиссар уже не справлялся с собой. Мужики такназлели ему, что он начинал кричать на сходках, глядел звериными глазами, а рука невольно искала рукоятку нагана. Он подсовывал все чаще и чаще вместо себя Колыгина.

— Ишь, у тебя выправка! — восклицали накаляемые мужики.— Не комиссар, а чисто полковник! Сиг гладкий, а не человек! Не тебе у нас, а нам у тебя займовать надо хлеба. Да мы бы и слова не вымолвили при достатке: как это можно людей голодными оставлять!

В Ершове отряд застрял на два дня: день проговорили, на другой — пошли с обыском.

— Довольно! — воскликнул взбешенный Перевощиков.— Хлеб у вас есть! Мы не для шуток грязь толкли, пробираючись сюда!

— Какие шутки! — пробормотал с кривлецой Пла-

тон Кутьков.— Много ли тут нашутишься, ежли до живота добираетесь!

— Мы знаем,— горячился комиссар,— мы знаем все! Мы вам показательную выемку устроим. Но чур не пенять! Те домохозяева, у которых мы найдем хлеба больше, чем они показывают, теряют его весь.

— Куда вам его, ненаедам, столько? — с издевательством подпустил Васька-пчельник.

— Конфискуй! — вызывающе, хором зашумели во всех концах.— А коль не найдешь, мы на тебе верхом поедем!

Все средства были испробованы.

— Хорошо,— сказал Перевощиков,— мы вам это мигом докажем! Эй, Григорий Крохин, где ты тут?

Мужики насупились и незаметно перетолкнулись. Крохин нагло, но уже с нескрываемым беспокойством улыбался и не двигался. Зов повторился,— и тогда мужики, впотайне думая отделаться одним за всех, сами вытолкнули его наперед.

— Вот у него,— показал с уверенным торжеством комиссар,— под Маурой-горой насыпана яма, а под бывшей мельницей — другая. К зятю остатки свез.

Мужики неловко затопались, а Григорий Крохин сорвал шапку, хлопнул ею оземь и будто разъярился на несправедливую обиду.

— Что ты, сукин сын, домовой нешто: чужой хлеб проверяешь! Из оболока подглядывал?

— Даешь лопаты! — весело вставил Колыгин.— Копанем помалу везде! Ходи, братва, разом! Старички тут загребистые!

Отряд в сопровождении мужиков отправился к Мауре-горе. Пойманный тесть Константина Андреяновича трясся от старчества, однако жадно шептал направо и налево:

— Это, мужики, своя, деревенская измена! Комбед бесштанный! Неужель спускать можно?

Комбедский мужик подтрунивал над неудачником:

— О! Записывайся к нам, отдавай все лари, даром будешь паек получать!

Комиссар,— и на нем, как на деревенском пожаре, сосредоточились все помыслы,— не вшуточную приступил к хлебной проверке. Откопали у одного, у другого,— и в мужицких рядах прошли дрожь, колебание, поглядывали на собственные запятки. Перевощиков чуял перевес в свою сторону и нажал. Он объявил повальный обыск.

Мужики не допустили до него. Продовольственники уже заговорили другими голосами, чем начали. Всякое товарищеское, предупредительное обращение не оправдало себя, а даже послужило во вред. Мужики готовы были тянуть проволочку насколько мыслимо. Отряд наконец заставил мужиков снарядить подводы с хлебом.

Десятилошадный обоз — его провожали Колыгин и Евграфов с пятью продотрядцами — отправился на ссыпной пункт. Мужики шли за возами в величайшей подавленности. Они не хотели замечать вооруженную стражу. Они били ненужно лошадей, ссорились со встречными пешеходами, между собой, сварливо укоряли друг друга в излишнем несогласии и напрасной волоките.

За своей деревней они как будто сразу растратили всю смелость, точно обессилели навсегда, принизились, но досада от поражения кусала, как летний надоедливый овод. Верстах в десяти, когда коней уходила распутица и тяжелая погрузка, дорога скрылась в непроглядную неопределенность, и пришлось сделать остановку и кормежку до света,— Платон Кутьков выразил общую мужицкую боль от неудачи. Он в

продольную хватил свего мерина кнутом и в отчаянии посмеялся над мужицкой судьбой.

— Эх, и краса же, ребята,— подзудил старик,— свой хлеб на своих лошадках отвозим!

Глава пятая

Комиссар запоздно развязался с ершовскими. Кончили так, по видимости, миролюбиво в наиболее злой и бедовой деревне, что уверились в благополучии и перестали опасаться других. На ночь глядя, не захотели плестись обратно в исполком, а решили переночевать в Молеве, на месте завтрашней работы. Перевощиков с Четвериковым и половиной отряда разместились у Еньки, остальные — на другом конце деревни.

Поверженное Ершово оставалось еще продолжительное время в ошеломлении. Как только отряд удалился, мужики пожалели о своей уступке, представили себя обойденными и обиженными, не разошлись, а тесно и грудно полезли в избу к Григорию Коохину. Увезенного хлеба было невыносимо жалко. Крохинская изба точно от курной печки потонула в махорочных облаках. Неразличимы были ни окна, ни двери, ни люди. В духоте, в кашле, в потливой жаре отсидели незаметно полуночные часы. И мужики накопили настоящее кипение гнева.

— Да что же это такое за глум! — вдруг воскликнул Григорий Крохин и плаксиво схватился за голову.— Как же после этого жить, мужики? Дело ведь выходит хуже царского!

Восклицание вырвалось неспроста. Хитрый мужик почувствовал общую подготовленность к действию, а кроме того он вдруг до очевидности увидал дорогу на Мгу, а на ней ершовский обоз и в первой телеге свои

перемеченные мешки. Гужевую повинность мужики разыграли: Крохину не пришлось ехать. Он нагрузил свое зерно на кутьковского мерина.

— Вернуть! — одновременно сказалось короткое и решительное слово в разных углах.

Павел и Еремин радовались, что выемка обошлась легче и удачнее, чем они рассчитывали. Исполкомцы оставили одних мужиков и вернулись на Березники. Никандр с Енькой занялись устройством отряда в Молеве.

Охотников скакать верхами за увезенным хлебом не пришлось искать. Живо пересчитали лучших жеребцов, взнуздали коней, вспомнили о принесенных из солдатчины седлах, нашлись фронтовые винтовки и берданки, вооружились, — и дюжина всадников взяла большую рысь вдогонку.

— Заваривай кашу! — покрикивал Крохин. — Корми их мужицкой тюрей, дармоедов! Не удавай! Кажинный мужик за свое встанет. Начни, ребята, все волости подымем! Ходоков не зря же слали!

Остервенелая деревня кинулась в Молево.

Тяжкий, многопудовый сон сломил замученных продовольственников. Двое охранников притулились к крыльцу, задремали и подпустили мужиков. Часовые опоздали дать тревогу. Их схватили, сломали, бросили наземь.

Но Крохину были нужны не они. Он имел тайную цель рассчитаться с комиссаром. Он ловко использовал мужиков и уверенно вел их будто бы за одно общее мирское дело. Часовых оставили недобитыми. Их забыли. И они немного погодя отлежались, тяжело уползли за деревню и спрятались в стога.

Григорий Крохин размахивал фонарем и лез в избу. Враз сверкнули фонарями и другие мужики. Комиссару сперва показалось спросонья, что мужики

опять прятали хлеб в полях и светили над ямами. Он, однако, очнулся. Но сонная стрельба комиссара из нагана не причинила мужикам никакого урона. Продотрядцы, застигнутые врасплох, дрались недолго, кое-кого поранили и сдались. Часть их успела скрыться. Перевощикова кончили последним.

— А! — ненавистно шипел Григорий Крохин,— Кстати под образа улегся. Нажми ему воздуха, братцы!

Никандр пал первым. Он раньше всех пробудился и спрыгнул с полатей на середину избы. Фонарный свет обнаружил его, как верную цель.

— Не увещуешь, предатель! — гаркнул Терехин.

— Бей заодно исполкомщиков!—взвыл Подувалов.

Широкое тело опрокинулось от выстрела. Другим — уложили Аннушку. Она показалась с печки,— и отвалилась обратно.

Мужики бросились в поиски за уцелевшими продовольственниками. Но уже, разбуженное, поднялось Молево. Оно само чинило расправу на другом рабочем ночлеге. Ершовские только помогли.

В промежуток между вторым появлением мужиков в лепаковской избе Енька соскользнула с полатей, задохнулась слезами, дотронулась до Аннушки, ощупала Никандра, замерла, заломила в отчаянности руки, но превозмогла себя. Осенний холод, сквозивший в растворенные двери и выбитые стекла, вдруг пронзил ее. Дрожь крупой пробежала по телу. Привычно Енька разыскала свое одеяние, надернула ватную кофту, полуботинки и зорко прислушалась. И она поняла, что ей необходимо было спешить и уходить отсюда. Невдалеке раздавался шум, и как будто называли ее имя. Это так и было.

Енька после падения Никандра проглотила крик. Возглас Подувалова ошеломил ее. Енька ждала своей очереди. Невольно как-то перестала она вдруг по-

мнить о всех кроме себя, не выглянула с полатей и предохранительно уползла взад. Там накрылась всяким хламьем и не шевелилась. И ее миновали. В возне и горячке память изменяла мужикам.

Теперь близились с улицы торопливые голоса. Енька колебалась: она не могла уйти сразу. Енька одичало металась в темноте от Никандра до дверей и обратно. Вдруг слух ее внял одному странному звуку. В переднем углу настойчиво и хлюпко что-то капало с лавки. Ужас рванул ее в сени. Затаившаяся в глубочайшей тишине изба представилась ей меотвецкой: оставаться в ней было тошно и свыше сил. Енька почуяла внутри себя живое тепло жизни и с содроганием больше не захотела прикоснуться к мужу. Она отшатнулась перед мертвой застылостью его. Она не захотела больше слышать унылой капели под образами.

— Не выпустить бы!—услышала Енька голодный, нетерпеливый голос Крохина. — Промахнулись! Запамятовали!

— Не-ет,— сказал сосед-односельчанин.— Поди, воет над мужем! Захватим!

Суетливый топот ног был слышен совсем рядом, за две, за три избы. Енька поняла, о ком говорили. Она шмыгнула к корове. В крыльцо уже нельзя было выскочить. Енька схватилась за деревянный запор у ворот, пропустила гремевшие по ступенькам лестницы шаги — и очутилась на свободе.

Ершовские всадники застигли мужиков на кормежке. Ночь еще не переломилась к свету. Тишь и темь гнели гололедную землю. Осень выстудила тепло. Один из первых заморозков скользко и некрепко связал скупой в ширину проселок.

Всадники гнали напропалую. Они боялись далеко отпустить обоз. Доберись он до Мги — тогда было бы труднее отбить его. Тогда пришлось бы столкнуться

с продотрядцами и охраной на ссыпном пункте. Всадники кляли слепую дорогу, задерживали прыть в редких попутных деревнях, высматривали между дворов, заезжали в проулки и едва не проскакали остановку.

— Складывай оружие! — загалдели они сразу и наставили винтовки на стражу.— Вяжи их, сволочей!

Мужики точно того и ждали. Они внезапно вывалились из ночлежной избы, стянули веревки с телег, похватали продовольственников, обезоружили и связали.

— Давно бы так,— довольно сказал Платон Кутьков,— я и то весь путь голову назад ворочал: не чуть ли, думаю, копыт? Неужто мужики нас бросили? Неет, взялись-таки за ум!

Осторожный Колыгин ночевал вместе с мужиками. Когда те вскочили и стремглав понеслись вон, он дал им выйти. Колыгин неслышно последовал за ними, юркнул по темной стене на задворки и притаился там. Он подготовил наган. Но скоро понял, что проигранное поле нельзя было отстоять одному. Всадники подняли всю деревню от сна. И Колыгину стала еще яснее безнадежность положения. Он в жуткой тревоге за товарищей наблюдал.

— Комиссарик-то убег! — с сожалением произнес Платон Кутьков.— Ну, да ничего: другой у нас в плену! А может, ребята, поискать бы его, прохвостину!

Мужики не согласились. Какой-то всадник матерно выругался и возразил:

— Прожехторами не обзавелись! В такой мгле все равно што мышь ловить!

Колыгин немного отдалился и продолжал подслушивать. Торопливо запрягали лошадей. Мужики разговаривали открыто и не стеснялись связанных пленников. И от этого небрежения к ним сердце Колыгина томительно сжималось. Ему уже представлялась

решенной судьба товарищей. Он в безрассудном порыве желал открыть стрельбу, желал кинуться на выручку, вставал и приседал — и сдерживался. На высоте теплились почти у всех всадников цыгарки. Коням не стоялось, они ржали, тянулись к кошелкам с сеном на телегах. Всадники понукали мужиков.

— Шевелись, черти! Домой пора! Теперь некогда размышлять! Начало-ось! Наши, поди, в Молеве всю ораву укокошили! Нас послали за вами, а сами туды! Давай, давай быстро! Мы тоже не с пустыми руками подъедем. Взвод — не взвод, а шестеро есть! Добро и без главного. Главного в Молеве приставим.

Обоз заскрипел в обратную дорогу.

— Не сумлевайтесь! — кричали мужики этой деревни.— Одно тягло всем! Мы пойдем! Мы не отстанем! Куда хошь! Натерпелись! Будет! Давно пора руки отшибить городским! Завтра подымем все села и деревни в приходе!

Тогда Колыгин окончательно и разобрался в своих прямых обязанностях. Он даже подумал, что каждый из товарищей молчаливо передавал ему свою часть из них. Они теперь всецело сосредоточились в нем одном. Колыгин пережил мгновенно возросшее волнение. Он с болью сознал, что не имел права растрачивать на бесполезную защиту обреченных товарищей свое, сразу вздорожавшее время. Другое, более ответственное, связанное с сонмами людей дело толкало его не промедлять срока. Колыгин начал обходить по трудным задворкам деревню, чтобы не угодить в мужицкие руки. Все его чувства получили единое направление: он должен был своевременно, в остаток ночи, пока еще спали деревни перед восстанием, добраться до ссыпного пункта.

Едва забрезжил серый, как снежная слякоть, осен-

ний рассвет, Колыгин разбудил сторожевое охранение. Станция Мга как бы перекувырнулась в тревоге.

— Где составы? Почему не подают составы? — требовательно вопил Колыгин и носился по путям, тащил за собой дежурного, подгонял сторожей, стрелочников.— Почему хлеб не отправлен? На погрузку! Все на погрузку! Хлеб должен быть вывезен!

Станционная беготня была более безнадежной, чем полезной. На станции застряли только два пустых вагона. Покуда встревоженный телеграммами снаряжался городской узел,— там в неизвестности суетились и торопились еще отчаянней,— Колыгин поголовно выгнал на улицу малочисленное станционное население.

Вагоны вручную подкатили из тупика к месту, и началась бешеная, крикливая, беспамятная насыпка зерна. Недоставало мешков. Нагребать, казалось, было некогда. Зерно таскали ведрами, корзинами, чем попало.

Колыгин назойливо думал, что мужики вставали рано, и он не успеет до их прихода спасти хлеб. Он работал бегаючи, того же требовал от остальных. И ему все представлялось, что работа почти не подвигалась. Все, кроме него, работали нехотя, сознательно затягивали и выжидательно оглядывались по сторонам,— Колыгин выхватывал наган и заставлял перепуганных людей чрезмерно, в поту, носиться с тяжелыми ношами.

Этот же рассвет тускло и жалко открыл сброшенных в овраг шестерых поодотрядцев. Ершовские мужики недалеко подвезли Евграфова с товарищами.

— Ребята,— кто-то мрачно сказал из всадников,— а не глупость ли делаем, везучи лишнюю кладь? Лошадям и так тяжело. Верхом, что ль, седоков еще садить! Убрать — и разговоров мене.

Тут же без споров раскачали на руках и свергли с высокого овражного гребня пленных. Как будто обозу стало легче, и он двинулся вперед скорее.

В эти же часы колыгинского беспокойства Енька, Павел и Еремин укрылись в подозерном рабангском волоку. Когда мужики начали поиски в лепаковском строении и на печке очнулась раненая Аннушка,— ее мужики не добили,— Енька была уже за деревней. В березниковском поле она натолкнулась на Павла и Еремина. Те ничего не подозревали и шли из исполкома домой. Они отшатнулись от Еньки...

Угроза сидела на вороту. Они свернули лугами к озеру, отыскали лодку Никандра и спустились версты за четыре ниже Молева. Недалеко от волока находился тот сеновал, в котором пережидали предоктябрьскую осень Гайгаров с женой и Ворохобин. Беглецам была понятна мужичья леность: они не пошли бы искать даже такую близкую нору!

Мужики не нашли Еньки. Они явились в Ершово, обыскали избы Павла и Еремина, не тронули умолившую о пощаде Настасью и помчались в исполком. Тут с помощью березниковских перевернули все вверх дном: истолкли и переломали бедную обстановку, искрошили ненавистные бумаги, выхлестали рамы, сорвали недавно обновленный красный флаг... Наказанный исполком напоминал заброшенное, нежилое, ненужное место. Он стал походить на свалку...

Всадникам не дали отдохнуть. Их поворотили в объезд по деревням. Волость точно обрастала черствой звериной шерстью.

После крушения исполкома мужиков снова потянуло в Молево. Пробивался тогда робкий свет через ненастные тучи. Бессонная ночь отнимала последние силы, и уже наваливалась усталость. Ночное убийство досаждало, омерзели мертвые продотрядцы, связы-

вали, мешали, грозили... Мужикам было невмоготу. Тогда за овинами и выкопали глубоченную яму, раздели донага рабочих, завалили сырые недра, утоптали верхний мерзляк до каменной гладкости и запорошили могилу соломой.

Верховые сбили деревни. В ближних и дальних приходах вдруг напропалую ударил сполошный набат. У Богородицы-на-Подоле отец Никифор зазвонил в знакомый колокол. Под его вестовую тревогу в Молево ворвался на полном скаку один из всадников и оглашенно завопил:

— На ссыпной пункт! На Мгу! Запрягай! Со всех деревень мужики поехали!

Березниковские телеги показались на большаке. Мужики завистливо вглядело в тележную флотилию, осудили себя за нерасторопность и ринулись к упряжкам.

Колыгин и к полудню не успел очистить склада. Набитые доверху два вагона так и стояли у погруза. Обнадеживающие городские телеграммы-приказы Колыгин получил еще ночью. Но со светом не отвечали на вызовы ни город, ни самые ближние аппараты. Вспомогательный поезд вышел и не дошел. Колыгин понял: где-то восставшие перестригли железнодорожное полотно и телеграф. Мга отложилась.

Колыгин решил не уходить. Но он снарядил ручную дрезину, погрузил на нее несколько охранников и пустил их на неверные пути в поисках вспомогательного поезда. Дрезина везла короткий и поспешный колыгинский рапорт городу. Кстати он отправил с нею все лишнее оружие и кассу ссыпного пункта. Он не забыл навалить на нее даже ненужные теперь запасные полушубки охраны. Колыгин все утро слышал безумолчный набат. Казалось, он гудел со всех деревенских колоколен. Колыгин наблюдал мужицкое движе-

ние. Мгу окружали. Верховые, пешие, конные в упряжке, на телегах и двуколках покуда еще держались поодаль, но заставы уже перегораживали полотно. Вооруженные люди выглядывали из-за насыпей. Неминуемое приближалось...

Березниковская волость ускорила развязку. Мужики, как пластуны на фронте, поползли отовсюду. Весь луг вдруг начал заполняться мохнатыми кочками,— то мужики один за другим укладывались на подступах к ссыпному пункту.

Кочки замирали на месте, подскакивали, откатывались, трепетали, дико кричали, чудовищно взмахивали руками... Мужики неотступимо подползали. Отряд был разорван в клочья, как гнилая ветошь.

— Разбирай свое добро! — торжествующим воплем взвыли победители.

Сразу начался грабеж хранилища и разгрузка вагонов. Телеги и двуколки загремели застоявшимися колесами. В жадном азарте мужики даже кинули на поле раненых.

Когда все зерно было выскребано, точно его выклевали начисто куры, Григорий Крохин с искаженным в злобе лицом гаркнул на всю окрестность:

— Подпаливай большевистскую хранилку! Не лежать тут боле мужицкому хлебу!

Ссыпной пункт сухо и трескуче запылал.

В то время дрезина выполнила поручение. Под обстрелом, окружаемая со всех сторон, останавливаясь перед наваленными на полотно камнями, бревнами, скидывая их, отбиваясь от восставших почти врукопашную,— она прорвалась к городу. Снаряжение на выручку продотрядцев по волостям пошло не вслепую. Гайгаров уже слал отряд за отрядом. Город хмурился на бесцельную мужичью помеху его планам.

Глава шестая

Недобровольное заточение в Митинских Угодьях кончилось раньше намеченного срока. К этому послужили волостные события. Маслодел Федька Боков, как ручной зверь, был прикормлен хозяином. Федька Боков был разборчив в яствах и печлив только о своем животе. Игумен Агафадор, когда выморочный маслодельный завод со смертью Гаврилы Федоровича Рысина прекратил боковское питание, доверительно приютил бывшего маслодела у монастырского стола. Он превратил его в белого почтальона. Федор Боков и принес на Митинские Угодья набатные вести. В этот же крамольно-всполошный день мужицкого бунта пришпорили взмыленные гонцы из разных других мест.

Один такой верховой посланец загубил коня возле самого хутора. Он сломал коню спину в прыжке через вечернюю подслеповатую канаву. Неудачный верховой доставил генералу Водовозову шеинский рапорт из Гориц.

Митинские Угодья воспрянули. Безмерно завеселевший генерал шутливо поднял стакан монастырского хлебного кваса и провозгласил первый тост за «великую и неделимую Россию». Вина и водки за выпитием не оказалось в лесной даче.

Своенравная Вера дала зарок простым рядовым участвовать в освободительной от большевиков кампании. Она тут же сменила свое девичье платье на солдатское обмундирование. Оно было заготовлено заранее, правда, из более мягкого и терпимого наощупь сукна, но все-таки отличавшегося от офицерского пошивного материала. Белое войско пополнилось беззаветным, хотя и юным кавалеристом.

И все прочие беженцы, по примеру шеинской невесты, не пожелали оставаться в штатском. Митинские

Угодья военизировались. В ночь генерал объявил выступление на Горицы.

Тридцать восемь ключей, которые отмыкали заповедную калитку, действовали. Обладатели двух ключей неосмотрительно попались Яну Монстовичу и за неделю до всеобщего переполоха были введены в чекистский кабинет председателя. Молоденький офицер и усатый служака империи были взяты на противолежащих краях Заозерья. Они упорствовали в разноречивых и сбивчивых показаниях.

— Вы не знаете друг друга? — спрашивал Монстович и насквозь сверлил иронически понимающими глазами притворщиков и заведомых лгунов.— Хорошо! Допустим! Но почему такое необъяснимое совпадение: ключи совершенно одинаковы?

Офицеры делали глупо недоуменный и простоватый вид, точно поражались бессмысленности задаваемых вопросов.

— Да, да, — усмехался председатель,— вы ссылаетесь на массовое изготовление ключей? Но массовое массовому рознь. Ваши ключи не подходят к указанным вами дверям.

Монстович вкрадчиво и как будто дружески попрекал:

— Вы совершили ошибку. Вам следовало действительно взять самый обыкновенный замок. Обман был бы легче. Мы не имели бы данных заподозрить что-либо неладное. Общераспространенный замок и ключ к нему — Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией делать нечего. Но мы проверили... у нас тоже есть знатоки... замок старинного образца, каких нынче не производят.

Председатель строго и резко возвышал голос:

— Значит, где-то ваша организация имеет тайное помещение, запертое редким, единичного происхожде-

ния замком, к нему подобраны ключи, розданы по рукам близким людям, в том числе вам, и вы туда собираетесь. Там ваш штаб!

Монстович еще убежденнее и серьезнее уверял:

— В этом для нас не может быть никаких сомнений. Вы напрасно отпираетесь. Сознайтесь, что вы были неосторожны, и... против вас говорят бесспорные улики.

Председатель прерывал и задумывался, затем словно спохватывался и говорил:

— Мы приблизительно даже догадываемся, где искать ваше белогвардейское помещение. Такие замки могут быть в барских особняках, в государственных учреждениях — последние исключаются, они наши — и, наконец, в монастырях. Молчание не спасет ваших сторонников. Арест их только отсрочивается, но он неизбежен. Мы уже ведем проверку. Ключи пущены в работу...

Монстович немного помолчал и живо воскликнул:

— Добровольное раскаяние — я предупреждаю — значительно облегчит вашу участь! Запаздывание, граждане, вредно.

Все усилия Монстовича не поколебали офицерского запирательства. Они не отвечали на допросах. Они небрежно стояли перед председательским столом и точно не интересовались тем, что ожидало их.

Монстович видел, как ненавистно укрывались в заросших бровях и пылали глаза старшего. Этот лобастый человек был упорен. Тупое армейское чувство офицерского долга лишало вояку рассудительности. Он не защищал никакого своего душевного дела. Оно было для него просто непонятно, но кадровый раб был на службе. Молодой офицер алел со всей нежностью, не отравленной возрастом крови. Он не умел еще ценить жизни. Он не понимал вплотную беды. Он тя-

нулся за старшим и подражал ему. В голове его вертелись выдуманные мысли о сумасбродных поступках, которые будто бы он взялся осуществить.

В сырую ночь их вывезли за город. Монстович сам руководил расстрелом.

Людской ущерб был так мал, а потеря двух ключей столь незначительна, что никто в Горицах не заметил исчезновения офицеров и убыли в ключах, точно с идущего поезда потеряли двух незадачливых пассажиров. Один Монстович удержал в памяти несговорчивых контрреволюционеров. Он досадовал на нераскрытый заговор, от которого отстриг ничтожный кусок хвоста.

Михаил Георгиевич Шеин не дожидался результатов пленения Чекой военных заговорщиков, подумал о них мельком и мысленно включил в заупокойный список. Он не обеспокоился и несомненным наличием при них ключей. Пора уже было подавать сборный клич,— и даже малодушие, прямая выдача горицкой лазеи не зажала бы трескучего горла военного рожка.

Монстович горевал не напрасно, но он запоздал еще до казни...

В ночь ее свершения монастырская калитка не запиралась и пропускала уже остатки стекавшихся по лесным тропам дальних и ближних пешеходов. В обители собрались все, кому надлежало сюда явиться. Мужицкий преждевременный и внезапный скачок из собственных оглобель был в значительной мере подготовлен белыми. Они во многих местах временно даже надели личину комбедцев, исполкомщиков и партийцев.

Заговорщики стекались не только обходными путями. Как раз приурочилось к тому времени обительское чествование какой-то трехсотгодовалой девственницы. Белый богомолец безнаказанно валил в откры-

тые ворота за трое суток до празднества. Он нес в дорожных узелках оружие и необходимые припасы, а под цивильной одеждой — офицерские и солдатские гимнастерки. Радостные черницы разводили обильное людское течение по убористым внутриоградным пространствам и подвижнически натруждались в гостеприимно приветливых поклонах.

Усердные божьи пилигримы невзыскательно устроились во всех уголках. Они не отринули даже холодного ночлега на дежурной колокольне. Богомолец, как дождевая вода, стекавшая с крыш, разлился и по всему горицкому селу. Он не обошел избы и Михаила Черепанова. Он запоздало стучался под председательскими окнами и был с ругательствами отогнан.

Золотокрестная, голубоглаво-звездистая обитель помещалась на горке. Отсюда ее наименование. Она редко бывала в таком почетном людском насыщении. Особливость сего чуда была в несвоевременности сборища. Сюда, на этот украшенный, плывущий по озеру остров, который достаточно запустел от длительного людского небрежения, вдруг потек ошалелый православный гражданин.

В исполкоме зряшно поносили не выбитую даже обухом вероотступных лет крепкую сучкообразную святость. В те дни по окольным проселкам в лесок, за озером, на уединенную просеку одиночками съехались две сотни наездников. Эти конные тати под водительством Шеина и назвались впоследствии гусарами смерти. Другой кавалерийский табун, меньший по числу голов, но превышающий знатностью чинов, под командирствованием самого генерала Водовозова, следовал уже целым скопом и прямо на место.

Трехцветное знамя весьма гордецки развевалось в положенном ему кавалерийском возглавии. Генерал Водовозов разминал конскую прыть и браво управлял

конем. Он был жив в умелых повознических движениях, точно в цветущих порах своего кавалерийского бытия или точно полководца восстановили от дряхлости, пришив ему железу от овцы.

Отряд был смешанным, как поезд с разного класса вагонами. За следуемой впереди конницей правились пешие вневойсковики. Они были хотя и вооружены, но в своей одежде. Вещевой обоз — на подаренных игуменом Агафадором лошадях — тянулся длинно и тесно в хвосте. Однако поголовно все не забыли придавить плечи погонными пряниками.

Новизна и необычайность ночного похода возбуждали Веру до неудержимого трепета. Новообращенной кавалерийской девице ничего не стоило вообразить в надоедливом цоканьи копыт медное громыхание маршевой музыки. Вера не взирала на некоторое затруднение в посадке. Оно повлекло чувствительные стертости на непривычном сиденьи. Тем не менее амазонку посетили головокружительные вымыслы в дороге.

Она воевала с такой ретивостью и ожесточением, что побеждала большевиков на каждом шагу. Шипящая пуля вырывала у нее поводья. Однако не управляемый умный конь мчался на неприятеля. Она держалась за гриву левой рукой, а в правой уже была взмахнута наотмашь сабля. Вера вносилась на своем бегуне в большевистскую растерянную шайку — и одну за одной рубила дешевые головы. Они отваливались и катились по земле, как опрокинутая с воза красная капуста. Недорубленные большевики с плачем опускались на колени, поднимали просяще руки, но воительница не могла оказать им пощады. Она неумолимо отсекала руки, перерубала просителей пополам, мяла конем и неслась дальше...

Вера ерзала в тесном седле от продолжительности

пути, а следовательно, и от усиления неудобств. Но она начала и кончила войну довольно быстро.

Отечественная баталия была завершена уже совершенно громоподобно. А именно — повсеместным водворением помещиков в усадьбы, в которые везли господ на каких-то огромноколесных музейных колесницах; духовые оркестры с начищенными, как самовары, трубами предшествовали и заключали процессии, а по сторонам вповалку лежали и каялись мужики.

В самое Старое Куркино березниковские возвратили с лихвой раскраденное саблинское имущество, униженно ползли от ворот с хлебом и солью, а Вера стояла на террасе в белом газовом платье и решала—простить их или подвергнуть дополнительному наказанию?

Вера довела свою мечтательность до прадедовской террасы и пожелала залить ее летним солнцем, и таким беззаботным, каким оно только и бывает в самые счастливые человеческие мгновения.

Дальше Вера развесила на стенах свои и мужнины военные доспехи, развела красивых детей, поровну мальчиков и девочек, и села писать мемуары.

У отца Веры, Леонида Григорьевича Саблина, не было никакого воображения. Он сознавал безвыходность, которая заставила его залезть на лошадь, надеть на себя вооружение и кинуться в неизведанный океан. Покуда он с подавляемой тоской, так как не мог ничего предпринять другого и подчинялся обстоятельствам, глядел на изящного кавалериста и с жалостью думал о его прекрасных пушистых волосах. За день перед тем они падали до пояса, а сегодня были острижены под мальчишеский бобрик.

Приблизительно такие же чувства перед опасной неизвестностью собрались в душе Семенкова, губернского комиссара Репьева, Федора Бокова и даже у злополучного стратега-вояки полковника Оранского.

Всю ночь белое воинство шествовало без затруднений. В спящих деревнях спросонья торопливо выходили редкие недоуменные мужики, справлялись о проходящих, ошалело шарахались и провожали смущенными, раздумывающими взглядами.

В одной такой деревне,— наставал уже розовато-осенний рассвет, встречных попадалось больше, и расспросы возникали чаще,— генерал Водовозов и пустил игривую шутку:

— Мы не белые и не красные: мы редиска!

Деревенские разведчики хотя засмеялись, но видно было, что непонятная генеральская загадка заставила их сильно смутиться. Тогда шутник самодовольно расхохотался на собственное остроумие и тут же разъяснил смысл веселого каламбура.

— Это значит,— заблестел слезливыми глазками Водовозов,— снаружи мы красные, а внутри белые.

Мужики опоздали отозваться на разъяснение, как генерал вдруг перестал быть благодушным стариком и превратился в строго допрашивающее начальство:

— А вы за или против большевиков?

Мужики хмуро глянули на движение конницы, недоверчиво воззрились на словоохотливого вожака и вяло, с неприветливостью пробурчали:

— Мы... против...

Генерал Водовозов не ожидал другого ответа. Он по опыту знал, как говорит человек в зависимости от обстановки. Она для мужиков была явно проигрышна. Генерал не почувствовал ни малейшего удовлетворения от вынужденного признания. Однако он попытался в небольшой речи выяснить всю вредность большевистского хозяйничания на земле. Не особенно складно в толпу было брошено несколько выразительных изречений и костоправских призывов.

Мужики слушали понятный язык кары и расправы

с любопытством, тем более, что оратор требовал мести якобы за отбираемый крестьянский хлеб и обещал в свою очерёдь за то же самое наказать виновников со всей воинской быстротой. Слушатели даже оживились, и кто-то безымянный с ухмылкой за всех ответил:

— Така редиска нам люба!

За генеральским отрядом смыкались подбодренные деревни, и молва о редиске-защитнице пошла с поля на поле.

Скоро Вере пришлось окунуться и в самую войну. Она оказалась ни капельки не сходной с ее героическими представлениями. Воинственная мечтательница выскочила из нее ошпаренной, точно из ванны, которую нацедили недостаточно разбавленной горячей водой.

Случилось это так. За разговорчивой деревней вступили в лес, беспрепятственно его в полчаса миновали, а едва выбрались на опушку, как пришлось внимательно вглядеться в примыкавшее к дороге поле. Оттуда раздавались выстрелы. Поле отлого взбиралось навстречу. По нему с котомками за плечами, в желтых полушубках и высоких папахах бежало человек десять каких-то людей. Снизу раскинутыми широко многолюдными кучами частью без шапок, в пиджаках нараспашку, в лаптях и валенках догоняли беглецов мужики. Гонимый отрядец явно намеревался проскочить в лес, где рассчитывал найти спасение. Генералу Водовозову немного нужно было времени, чтобы сообразить, кто были бегуны и кого преследовали деревенские.

— Полковник Оранский! — крикнул генерал.— Это большевики-продовольственники! Вот вам и дело!

Всадники Оранского вздрогнули, подготовились и пошли вскачь. Преследуемые заметили конницу. Мужики замахали приветственно руками и наддали бега. Большевики беспорядочно закружились. Они разделп-

лись и принялись палять в трех направлениях. Залп остро хватил над головой Веры. Она моментально прижалась к конской гриве, словно девушку ударили по затылку.

— Девчонка! — загородил ее собою, толкнул резко в бок и взвизгнул отец.— Спрыгивай, спрыгивай скорее! Беги вон туда за канаву!

Леонид Григорьевич показал за бугор. С побагровевшей шеей он наклонился и тщетно старался высвободить ее ногу из стремени. Вера перетрусила, но ее оскорбил грубый, немыслимый тычок отца.

— Ни за что! — вспыхнула она и гордо подставила себя пулям.

Одиночные выстрелы продолжали крошиться над отрядом. В эту минуту она и увидела ужасные, взбешенные и даже ненавидящие ее глаза Леонида Григорьевича.

— Марш! — повелительно возгласил он, столкнул ее коня с дороги и поворотил назад.— Скачи к обозу и укройся!

Вера поскакала и укрылась за телегами. Но ей не пришлось долго гореть от ребяческого стыда. В свое утешение она заметила, что находилась за телегами не одна. Сюда же генерал Водовозов почти одновременно или во всяком случае следом за нею отвел всех конных. Он нисколько не стыдился, не стыдились и другие. Наоборот, все весьма любопытно выглядывали из-за телег на схватку с большевиками.

— Вот тут безопасно. Тут можно и на лошади сидеть,— подъехал к ней и как-то грустно сказал Леонид Григорьевич.— Оранский и без тебя справится.

— Копуша! — нетерпеливо проворчал и фыркнул рядом генерал Водовозов, недовольный затяжными действиями полковника.— Пустяк! А он не может справиться! Теряет людей!

Война даже в таком пустяке — это водовозовское слово неотвязно затокало в ушах Веры — показалась сразу непривлекательной до последней крайности.

Лошади мчались вдоль опушки с такой быстротой, точно летящие каменные глыбы, которые швырнули с горы. И все-таки они не доскакали. Враз одна отпрянула в сторону и завалилась на бок, загребла воздух ногами и придавила седока, а другая сделала движение кверху, не смогла взвиться на дыбы, уронила всадника на спину и ткнулась вперед мордой. Эскадрон сбился с ходу, кони столкнулись. Люди были в недолгом, но явном замешательстве. Эту неудачу и критиковал командующий.

Стрелки торжествовали какое-нибудь одно мгновенье. Наездники затоптали и зарубили их вслед. Мужикам уже нечего было делать. И опять Вера увидала противоречие между своим воображением и действительностью. Ей пришлось разувериться в первом и с неохотой признать вторую. Большевики поступали в диком несоответствии со своим смертным положением. Они не бросили оружия, не подняли рук перед конской сминающей лавиной, а били по ней в упор из винтовок и револьверов.

Вера старалась черство и равнодушно, как подобало относиться к врагу, рассматривать с коня обезображенное, разрубленное на куски человеческое мясо. Но не получилось ни черствости, ни равнодушия, ни жалости. Сознание наблюдательницы неустойчиво зашаталось.

Всю дальнейшую дорогу ей ни разу не вспомнились бессильные, молчаливые груды тел, она помнила только живых, смелых и гордых людей. Вера испытала неприязнь к обману, в который она попала. Ей было неприятно, что большевики не походили на воображаемых противников, а к этим она вынуждена была ис-

пытывать даже подневольное уважение. Это же чувство только подкреплялось, когда Вера оглядывалась на обоз, на заднюю телегу, в которой везли раненого Федора Бокова, а в предпоследней — неизвестного ей безымянного кавалериста.

Начало войны смутило Веру. Подвиги свершить оказалось гораздо труднее. Вера завяло покачивалась в седле. Горицкая встреча с Михаилом Георгиевичем подчеркнула еще нагляднее всю взбалмошность ее воинских затей. С улыбкой и нежностью, с торопливостью заждавшегося человека Михаил Георгиевич подбежал к ее коню. По усвоенной привычке он потянулся к руке кавалериста, оторопело опомнился, и оба они неудобно покраснели. Потом они расхохотались, но испуганные глаза недоверчиво и в смятении проверяли, не была ли замечена окружающими эта смешная неловкость.

Но окружающим было не до того. Генерал Водовозов, которого задержал военный пустяк в пути, прибыл с опозданием. Зато и вознагражден же он был за лишение чести объявить крестоносный поход против большевиков. Встреча преосвященного Александра — первостепенная по торжественности картина вхождения в обительские врата высокого пастыря — была подобна бедной свадьбе. Величием коронации упраздненного самодержца можно было затмить монументально-многоэтажный горицкий въезд вождя вождей.

С того дня средний колокол и дал трещину. Трезвон был настолько оглушающ и неистов, и дерзновенен по безрассудству, что колокольня устояла на фундаменте лишь охранительным благоволением к обители закопанных в ее земле невинных и никогда и никем не поруганных дев и лишь благодаря прочности старинного рукомесленного цемента. Но многие виде-

ли, как она шаталась точно огромный язык огромного, на всю волость, колокола. Похоже было, что действительно звонили на волостном небе.

Флаг нации — трёхцветный, пестро-змеистый, как постельная тиковая наволока, плескался на том же исполкомском месте, на коем пришлось трижды выгорать красному, потухать до черноты и, наконец, совсем расстаться с высотой.

Ярмарочное людское расточительство было на широкоплечей горицкой улице. Такой уличной пространственности заказали быть древние мать-игуменьи, дабы издалека ковыляющий богомольный смерд содрогался трехпролетному раствору врат в грозное божье местопребывание. Но то смерды!

Ныне же из господних чертогов понесли золотые, серебряные, медные, оловянные, деревянные иконы, словно разобрали по рукам целый иконостас в пять тябло, вытащили склад широкоподонных подсвечников и столпообразных свечей, вздыбили жерди одинарных и раскладных хоругвей и с трудом пропихали их из ограды под житийные арки.

Народ, который был вытеснен металлическим нашествием богообслуживающих предметов, разлезался в бока. Догадливые зеваки заранее оседлали крыши и князьки, и трубы, и даже перекладины качелей.

За два часа перед чествованием генерала Водовозова, после обедни, когда заговорщики решили открыться, убереженный Калерией от бесславного конца колокол—исполкомский недобитый враг—загремел набатом. Комбедских, всех исполкомских мужиков, кстати и двух учительниц убили свои же односельчане, убили милостиво, сразу, одним духом...

Председателя взяли не скоро. Он защищался. Он умело разряжал и заряжал свой казенный наган. Черепанов забился в угол своего исполкомского ящика,

выдвинул перед собой столишко с рассыпанными на нем пулями — подобие баррикады — и не спускал сумасшедше-ненавистнических глаз с лестницы. Он метко подстреливал каждого, кто неосторожно выскакивал вперед. Тогда и пришлось приспособить против него заграждения. К неподступному месту приволокли толстенные погребные двери и засели за ними.

Михаил Черепанов выпустил все пули. Тут он напоследок и совершил поступок, которым удивил подстерегавших более, чем своим беспромашным револьвером. Председатель внезапно оставил угол, в ярости пинком ноги опрокинул стол и со всей силы метнул пустой наган в неприятельскую загородку.

— Все! — гаркнул он отчаянно.— Бери меня, белая сволочь!

Михаила Черепанова неуверенно и тревожно схватили, замешались, не тронули и вывели на улицу.

Михаил Георгиевич поджидал развязки. Он рассеянно стоял у колодца и заглядывал внутрь, в глубокую спокойную воду. Он оторвался от лицезрения своей терпеливой особы в колодезном отражении и презрительно усмехнулся на потного от усталости председателя.

— В колодец, что ли, ладишь меня, гадина?—вызывающе спросил Михаил Черепанов.

Шеин был так поражен дерзким наскоком, что с гримасой стоял напротив и молчал. Толпа разъяренно сплющивалась вокруг. Михаил Черепанов воспользовался замешательством и с удушьем, заботливо продолжил:

— Не погань мужикам воду! Место у нас высокое — до жил сверлить далеко. Дураки наши... после утопленника новый колодец примутся рыть.

— В монастырь его!—тяжело приказал Михаил Георгиевич.—Н-на бо-го-молье!..

Председателя сопровождала вся улица. Солдаты отгородили его от жадневших людей.

Когда Михаил Черепанов сравнялся со своей избой,— она, казалось, была пуста,— как-то затих, пристально всматривался на двор, стянул с мокрого лба папаху и громко выкрикнул:

— Прощай, жонка!

Никто не ответил, никого не было видно ни у окон, ни на дворе, но председатель еще несколько раз оглянулся на оставляемое свое глухое, молчаливое жилье.

Смертью Михаила Черепанова занялась трудовая монашеская коммуна. Председатель сам подсказал свой конец. Игуменья Калерия одобрила. Волостного антихриста утопили не в колодце, а в озере. Чтобы утопленник не всплыл, привязали ему к ногам два тяжеловесных камня.

Горицкий лавочник и церковный староста помогал сталкивать с монастырского рыболовного карбаса бунтаря и злобно вопил:

— Станови его на стражу до второго пришествия! Пускай помается, нехристь!

Глава седьмая

В шеинском особняке происходило ночное соединенное заседание революционного совета загорской армии и губкома. Заседали уже с вечера. В ответственные часы настигшей опасности не могло не возникнуть некоторой растерянности перед событиями.

За круглым барским столом, объединявшим старых владельцев в суетной и сытой болтовне, теперь сошлись другие люди. В тревоге за свое дело, которое было для всех бесспорно, они искали кратчайших подступов к его защите. Спорили о внешнем, о технике, о способах и не колебались в существе...

Гайгаров не предлагал еще никакого решения. Он безмолвно выслушивал длинные и короткие речи, серьезно и пытливо вглядывался в оратора, точно интересовался больше его внешним видом, чем выступлением. Он останавливался глазами на какой-либо особенности ораторского поведения. Каждый обращался в значительной доле к Гайгарову, видел склоненную низко голову и белый исчерканный лист бумаги перед молчаливым председателем.

Тут же лежали его карманные часы. Вот уже начались новые сутки. Часы с недельным заводом пробили двенадцать. Двенадцать подобранных колокольчиков по-разному вспорхнули внутри мраморной темницы, куда их заключил столетие назад французский мастер. Они наполнили помещение меланхолической мелодией. Гайгаров давно испытал и проверил старинное изделие. Ход был безукоризненно правильный, словно солнечное чередование дня и ночи. Гайгаров прослушал бой и отвел на место нетерпеливую стрелку в своих убегающих часах.

Он отвлекся на малое время и снова занялся той же старательной работой. Она как будто поглощала все его внимание. Гайгаров давно срисовывал часы, достигал полного подобия и по форме и по объему, прищуривался, заглядывал сбоку, касался пальцем и точно ощупывал выпуклость. Он ухищрялся на тесном циферблате начертать даже секундную частоту. Он отступал от образца в одном, произвольно переставляя стрелки. Размноженные на бумаге часы показывали ни в одном случае не совпадающее время.

Товарищи следили за ювелирным трудом нового часовщика. Никому из них не пришла мысль заподозрить председателя в легкомысленной забаве. Гайгаров изменял захватившему его художеству в редкие перерывы между очинкой карандаша и приступом к

следующему рисунку часов. Тогда он в сторонке, как в стихотворном столбике, располагал какие-то короткострочные записи. Их набралось много, целая газетная гранка, точно длинная поэма из неразборчивых иероглифов. Была видима в Гайгарове и еще одна странность: рисование ему давалось так трудно, что он часто вытирал лоб платком.

Бодрствование Гайгарова и обнаружилось, когда прервал свой невеселый доклад Ян Монстович. Рисовальщик зачеркнул поперек недоконченные часы и обратился глазами к манускрипту.

— Ну, на что это походит! — как-то обиженно сказал Гайгаров.— Мы нюхаем воздух. Пустое занятие! Пахло восстанием, а мы не знали, где находятся генерал Водовозов, полковник Оранский, офицер Шеин! И другие, и пятые, и сотые! Почему мы позволили убежать Слободчикову, Пустозерову, Саватьеву? Почему они не сидят в одиночках, а возятся теперь на свободе с глупой Учредилкой в ста верстах от города и... организуют правительство? — саркастически сморщился Гайгаров.— Демократическое вече под монархическими знаменами! Ты, Монстович, излишне кроток.

Председатель Чеки с каким-то особенным удовольствием признавал преимущество Гайгарова во всем. Он подчинялся ему почти беспрекословно. Пальцев на одной руке остался бы излишек после подсчета происходивших между этими людьми столкновений и несогласий. Нынче прибавилось еще одно. Вдруг Монстович на короткий миг возмутился.

— А ты, Гайгаров, неправ и несправедлив! Мы дольше других товарищей уберегли нашу область от гражданской войны.

— Уберегали,—поправил Гайгаров,—и не смогли уберечь. Да и не от нашей воли это зависело: не было причин или они не успели развиться!..

Монстович хотел продолжить возражения, заикнулся, но Гайдаров уже миролюбиво оправдывался:

— Я не о тебе одном говорю. О всем нашем аппарате. О всех нас. Товарищи, мы еще не умеем управлять государством! Конечно, мы научимся, а покуда плошаем и попадаемся, как простофили.

Он утерся влажным платком, резко сунул его в карман, точно надоевшую и досаждавшую принадлежность и с горькой укоризной воскликнул:

— Чека должна быть стеклянным колпаком, под которым все видно, кроме нее! А у нас наоборот: ее все видят, а она — слепая. Мы многое, многое прозевали!

Гайгаров непродолжительно забарабанил по столу пальцами. Затем, твердея голосом, спокойнее и уравновешеннее он продолжал:

— Начнем исправлять погрешности... Мы засыпаны проектами. Может быть, из всех сладим один, наилучший...

Гайгаров пробежал глазами свои заметки, вымарал тут, там, что-то приписал еще—и закрыл столбик карандашом. Он осмотрел мельком каждого из заседавших и обратился к представителям революционного совета армии, Рериху и Войскобойникову. Те вместе с ним промолчали весь вечер:

— Мнение реввоенсоветчиков!

Военные встрепенулись. Рерих раскрутил маленькую бумажную трубочку, которую скатал вроде папиросного мундштука, заглянул в смятый лоскуток, сухо, с латышской тяжеловесностью и неправильными оборотами речи начал медленно говорить. Войскобойников не прибегал к бумаге, запинался, звонко и горячо сделал дополнения.

— Можем мы защищать город или нет?—спросил Гайгаров.—Достаточно у нас сил или мы слабы? Что выгоднее? Оставить город и накопить средства для

победы или же попробовать отбить теперь же наступление?

Рерих—серый, белобрысый, с лицом трудолюбивого латыша-скотовода, гладкий, лоснящийся, невозмутимый—ответил не сразу. Он как-то отчужденно, безвыразительными, уставшими глазами воззрился на Гайгарова и неохотно пробурчал:

— Можно пробовать...

Войскобойников внес большую определенность. Он вскочил, загремел стулом, толкнул стол, задел плечом Рериха и как бы раздвинул всех сидящих. Рерих безучастно наблюдал суетливое поведение товарища.

— Не можем, а должны биться!—воскликнул Войскобойников с жадным нетерпением.—Какая тут сдача! Какие тут откладывания! Революционная армия должна только наступать! Бойцов хватит! Резервы наши неисчерпаемы! Лягут одни, встанут другие!

Войскобойников производил заражающее впечатление. Каждая частица его тела трепетала, напрягалась, жила. Бодрая вера, безудержная смелость каким-то шумящим ливнем прорвались в его словах. Он так горячился и волновался, словно товарищи не понимали совершенно очевидной необходимости повести армию в бой, не учитывали всей ее революционной стремительности и желания встретиться с врагом, напрасно и слепо осторожничали и могли сейчас совершить непоправимый промах, упустив победу, как пойманную было и вылетающую птицу из клетки. Гайгаров увидел, что большинство товарищей были в какой-то малой и большой степени Войскобойниковыми.

— Я думаю по-другому,—непоколебимо сопротивлялся Рерих,—надо делать надежно. Надо ожидать подкрепления. Проиграть легче, чем выиграть. Армия храбра, но раздета, плохо снабжена хлебом, артиллерией...

Войскобойников сорвался с места и разбежался с протянутыми руками к Гайгарову.

— Так что же, что же!—восклицал он и добивался поддержки.—Сидеть на зимних квартирах, на стоянке, весеннего урожая дожидаться, валенки катать, заводы артиллерийские строить?

— Ты сядь,—предупредительно отозвался Гайгаров на беспорядочную торопливость Войскобойникова и показал ему на стул возле себя.—Зачем зря носиться по комнате. Мы обсудим разногласия.

Собрание явно поддерживало горячку командира. Оно все оборотилось к Войскобойникову, как будто даже с враждебностью забыв о его противнике.

Рерих снова свертывал в трубочку использованный листок, так же уверенно сидел и неуступчиво твердил:

— Я не отказываюсь от дела. Я тоже хочу опрокинуть белую гвардию, но... Она лучше накормлена, обмундирована, вооружена... Армия наша встретила англичан, французов, американцев...

— Хоть всех чертей!—вставил недружелюбно Войскобойников и умолк по движению руки Гайгарова.

— Армия наша,—тянул Рерих,—не готова. И не совсем верна. Два полка ушли к белым. Нужно влить новых. Рабочих. От станков. Мужик ушел...

Тут перебил Рериха Гайгаров:

— Последнее недоказательно и несущественно... Переходы будут с обеих сторон. И туда и сюда...

Войскобойников торжествующе улыбнулся и беспокойно зашевелился на стуле. Он почувствовал ничем еще ясно не выраженную, не высказанную склонность Гайгарова к себе. Он уловил это по голосу и по бессозательному жесту руки, точно бы отстранившему дальше от стола упорного маловера.

— В остальном Рерих прав,—сказал Гайгаров,— дела наши не так блестящи. Нам нельзя утешать ни

себя, ни страну. Благополучные реляции составляются только для обмана большинства меньшинством. Рерих обязан был предупредить нас. Однако вдвойне убедительнее Войскобойников. Нельзя отдавать без боя областной центр с десятками тысяч рабочих. Нам неоткуда ждать армии с иголочки. Она завтра будет снабжена беднее, чем сегодня. Средств у нас нет. Достать она может оборудование только у врага. Попытаемся отнять. Все районы опрошены. Бросим все, что имеем. Я—за.

Восторженное выражение засветилось в глазах Войскобойникова: он достиг всего, зачем в тревоге и смятении пришел сюда. Он боялся неуступчивости и несворотимости Рериха. Они до заседания долго и напрасно убеждали друг друга, каждый в своем, не согласовали решения, и явились разошедшимися дальше, чем это было допустимо для пользы дела. Сторонники Войскобойникова приветственно кивали ему отовсюду. Рерих вдруг отнесся придирчиво к своей бумажной трубочке, она надоела ему, стесняла, он раскрыл недовольно губы и принялся разрывать ее на мельчайшие кусочки. Потом собрал в горсть ворох, старался не накрошить на стол и свалил в пепельницу.

— Вы, кажется, товарищ Рерих, тоже окончательно не возражали?—схитрил Гайгаров и посмотрел прямо в упор на командующего.—Следовательно, постановление мы можем вынести единогласно?

Рерих глубоко вздохнул, сконфуженно поморгал глазами, сразу окреп, энергично встал и твердо произнес:

— Да. Будем драться!

Войскобойников первый кинулся рукоплескать ему.

Происходило это месяца два спустя после прославления генерала Водовозова в Горицах. Старый волк с редкостной удачей приближался к концу своей военной карьеры и обогнал многих генералов. Генерал Во-

довозов был провозглашен командующим заозерской добровольческой армией.

Сенька Кулик не напрасно стращал мужиков, когда городил колючей проволокой волостные горки, лощинки, поля и мосты, не напрасно он рылся в земле, когда ладил изворотливо-извилистые окопные канавы. Оттуда по устье-угольским лесным дорогам и пришла генеральская рать.

Сенька Кулик опять скитался в подугольских лесах, забрел в Сосновую Щель, где впервой повидался с пирующим генералом Водовозовым два года назад, наступил на ржавую под снежком кучу жестяных банок, припомнил все и посетовал на тогдашнее расставание. С жалобным воплем, будто ударили его, однорукий замотал головой, непристойно выразился и плюнул.

Устье-угольские бумажники и уфтюжские стекольщики не ужились под одной кровлей с главнокомандующим. Они также воспротивились лицезрению вернувшегося из тайных скитаний Владимира Викентьевича Семенкова, который оказался порядком потрепан, точно часто бывал бит и не совсем досыта кушал.

Не могло, конечно, пленить и обратное вселение в отрадненскую усадьбу репьевского рода. Братья прибыли налегке, только что не на перекладных. Прибытию предшествовало весьма крутое изгнание исполкома посредством казачьей плетьевой выучки. Бывший человек—губернский комиссар Репьев—за свое бедное и нимало не почетное укрывательство в Митинских Угодьях так много обижался на все сущее, что с большим удовлетворением утешался теперь отдыхом в возрожденной вотчине. Правда, в полях гарцовала нанятая стража, но на то и было безвременье, чтобы остерегаться злых покушений на имущество и на комиссарскую личность!

Мужики разохотились на чужие земли, раздраженные только временным их обладанием, а к ним пристали рабочие. Тогда же в непроезжих заозерских волоках появились красные новоселы. Анохинский путь увязался вместе с ними. Случай оторвал его от города. Анохин собирался туда из побывки в Устье-Угольском, а генерал Водовозов уже стоял на дорогах лицом к нему.

Океанские корабли, нетерпеливо призванные на выручку восстановителями отечества, с небольшими просрочками во времени подплыли к заозерским причалам. Британия и Америка с подсобной подручной мелкотой из задолжавших им за войну королевств и республик, все острова и материки прибыли воссоздавать заблудшую в неведении «великую неделимую Россию».

Генерал Водовозов и Слободчиков, и Пустозеров, и Саватьев не изменили восточным обычаям родины и оказали союзническое гостеприимство пришельцам. Владычицы морей и океанов получили неоскудевающие дары, которые полной и щедрой рукой зачерпнули для них из заозерских вековых запасов. Броненосцы и крейсера привели за собой вместительные буксиры и шкуны. Бронзовые сосны, зеленые ежи елей, черно-сизые кедры, с протемью дубы,—весь заозерский лес сдвинулся с болот и горных увалов, а в запретных рыбацких водах, на немерянные никем мили, погрузились гостевые сети.

За дружественную плату, за лес и за рыбу, за пшеницу, за недоеденный скот и жир, за темные земельные недра укротители российской баламуты доставили обтянутые френчи и галифе на патриотические кормленые животы и ляжки.

За ненадобностью чужестранцы свалили белогвардейцам лишние орудийные склады, подбитые танки, аэропланы...

Сенька Кулик и Анохин не чувствовали склонности к западным братьям. Они одинаково жаловали как российских генералов, так и генералов приезжих. Они до времени уклонялись от нерадостных встреч с ними.

Рабангские леса, уже прозванные партизанскими, были доступны с осторожной оглядкой. Там партизаны выжидали подходящий день. Они как бы слушали в лесной гулкости отдаленные грабительские топоры Европы, которые валили никогда никем не тронутые рощи, целые лесничества, заповедники. Этот гул приучил партизан к суровой настороженности. У них как бы отросли звериные уши. Партизаны по-звериному нюхали и готовились к прыжку из дебрей.

Ночной привратник Прилуцкой обители Сергунька Никуличев и кучерской местоблюститель Лафтаков оставили обогретые места с неусыпимой никогда в них догадливостью. Ян Монстович напал на архиерейские и архимандритские следы, но уже не застал друзей на вышеупомянутых должностях. Пришлось взять только Феофана с некоей братией и преосвященного Александра с поварской, кухонной и соборной челядью.

Слесарь Фома обнаружил врожденную неразговорчивость и с чекистским председателем, каковой отличался в беседах с архимандритом. Его никак не могли подвигнуть к членораздельному говорению. Он больше глядел исподлобья. Он не признал предъявленных ключей за свою поделку, повертел их и вернул с неудовольствием обратно. Фома в молчании отсидел положенное испытание, отчужденно стоял на очной ставке с Феофаном и никак не мог вспомнить заказчика. Новоявленный молчальник поработал еще в чекистской тюрьме —исправил попорченные разные запоры — и был выпущен на волю без явного подозрения.

Незримый человек все-таки поселился в недалеком от него расстоянии, проглядел все глаза на слесарские

двери—и скоро выселился без всякой удачи. Напоследок он пришел к слесарю с потайным поручением. Он выложил перед ним несуразный замок, который напоминал распластанного рака с клешнями и очень похожий на феофановский. Заказчику было нужно наварить бородку к ключу.

Фома кропотливо рылся в ржавом механизме, развинчивал и свинчивал его, разбирал и собирал, отдирал и разглядывал каждую планочку, гвоздик, заклепку с таким прилежанием, что раскровянил пальцы, вытер их о штанину и обсосал, а в конце концов возвратил замысловатое изделие с отказом. Слесарская натуга была велика и тяжела. Фома приобрел немыслимый для него по продолжительности забытый дар слова.

— А я малограмотный,—сказал он с обидчивой угрюмостью, точно считал самым большим своим пороком не давшуюся ему азбуку,—не нашему разуму за прежними мастерами гоняться. Сделать ключ сделаю, а отпирать не станет. Так не люблю.

Фома потыкал перстом в разбросанные около замочной скважины, выглаженные временем знаки, в близком подобии с буквами, и еще безнадежнее отказался:

— Тут надо знать секретное слово. Сложи его—и повернешь ключ. Без этого не отопрется. А я с нечистым духом не знаюсь. Слово то уставлял мастер—давно покойник. В могилу с собой унес секрет...

Ян Монстович делал другие городские выемки. Он, как товарные склады, набивал централ порочной, заложной людской кладью.

В каждое немытое каторжное окошко уже тускло смотрели беспаспортные, инакоименные дворяне, суесловые адвокаты, заугольные шипуны—лица разных свободных профессий, тощающие в мякотях купцы и отчаявшиеся в промышленности заводчики с фабрикантами.

Но город неубывающе смердел, нехорошие глаза надзирали из поднятых воротников, ползла клевета, кружилась около учреждений, штабов, казарм и расселяла уныние.

Лафтаков ринулся на черногрядское свое пепелище. Он примеривался больно куснуть виновников октябрьского разорения. И... конечно... куснул. Сергунька Никуличев наследовал отцовскую лесопилку и стеклянный завод. Он мигом выгнал из клубного прибытковского дома рабочих-захватчиков, сдал в водовозовскую контрразведку главарей—оттуда не возвращались—и с большой лихвой заторговал лесными делянками на заграничный вывоз. Океанские корабли усилили грузооборот. Они стали чаще отплывать от заозерских пристаней и увозили никуличевское производство.

Акиндинин с товарищами раньше ушел с Уфтюги в леса. Сергунька рыскал за ним столь же напрасно, сколь рьяно. Эта несвоевременная встреча представлялась Акиндинину необязательной, и он от нее уклонился.

Не все избегли смертного ярма. На десятый день после самосуда над продотрядцами в Ершово пришпорил Шеин со своими гусарами. Искали Павла. Настасья уперлась, взвыла, ее нещадно высекли, но не добились местонахождения мужа. Аннушку допрашивали у крыльца, одну на всей улице, мужики попрятались в дворы,—она крестилась и не выдавала. Тогда под Шеином и прыгнул чем-то вспугнутый конь. Всадник заскрежетал молодыми зубами и со злости полоснул Аннушку нагайкой вдоль спины.

Шеинский отряд заглядывал опять, наезжал внезапно то середь ночи, то под утро, проверял спящих баб и обыскивал избы.

Аннушка и Настасья попеременно выбегали к ус-

ловленным местам за деревню, куда подкрадывались ночами беглецы, и передавали харч. Вслед за первым появлением Шеина лесные люди—к ним присоединились четверо убежавших из Молева продотрядцев и двое часовых — попробовали пробраться в город и не смогли. Шеинские гусары смерти без путей и сроков уже носились по волостям, чинили правеж над большевиками, исполкомщиками, комбедскими мужиками и бабами. Зажатые в безвыходной рабангской путанице отшельники тихонько и сторожко отсиживались. Опасность не проходила ни на минуту, и к ней понемногу привыкали.

На четвертой неделе холодного шалашного проживания, так как большой огонь опасались разводить, бабы догадались обогревать жилище корчагами с углями. Тепла было вдоволь. Аккуратный харч—с растяжкой на дольше—не иссякал. Берлогующие поголодали только вначале и когда приезжал впервой Шеин.

Несчастье угрожало, его боялись, но оно все же обвалилось неожиданно, как покосившаяся, худая крыша.

Константин Андреянович Косарев посоветовался с тестем. На мошенском тайном совете присутствовали Василий Дормидонтович Бураков, прасол Чепакин и Антипа Иванович. Они решили разом расквитаться с исполкомом за все обиды. Зять и тесть укрыто думали больше о Еньке, чем об остальных. В ярости они не сочли вреда, который исходил от нее. Вреда наросло, точно волоса в нестриженой по обещанию бороде. Григорий Крохин взялся за сторожку Настасьи, а в Молеве подговорили стеречь лепаковскую избу сородичей Кузичевых.

Давно кончился на каторге Степка Кузичев, который убил за Еньку Ваську Ивнягова. Еньке казалось, что даже ничего этого не было, что она никогда не стояла с Васькой и он не целовал ее и что не было ни

метели, ни молодости. Но Кузичевы не забыли протекшей маяты и слез. Шел третий десяток лет — и все еще жалели погибшего работника Степку. Лепаковское строение Кузичевы сторожили ревниво, точно то был клад, который мог вырыть кто-то другой.

Аннушку не провели сторожа. Самый робкий и осторожный и глазастый зверек не оберегал так свой шаг, как это делала Аннушка. Она обнюхала все около избы, пошла — и вернулась. Поутру Аннушка бросилась к Настасье. Бабы были в капкане.

Тут Енька, в очередь, выползла за передачей. Окольной и кружной дорогой, от куста к кусту, она не добралась еще за версту до деревни, как лоб в лоб столкнулась с Григорием Крохиным. Сторожили в деревнях, сторожку вынесли в поле — и враги встретились.

— Дай сюда! — находчиво рванула ружье из рук обомлевшего сторожа Енька, отступила в смертную близь и навела на него дуло.

Григорий Крохин безмолвно скользнул на колени и застыл.

— Ты мне, Гришка, всю жизнь будто чурка под ноги катился, — вполголоса сказала угрожающе Енька.

Она кинула глаза на чуть заметную в низких нагромождениях изб деревню без огней, молчаливую и спящую, и ей настойчиво захотелось освободиться от этого бессонного человека.

— Ты один караулишь? — требовательно спросила она. — Или вас нашлось несколько молодчиков? Где они? Кому еще не спится на теплой печке?

— Я не один, я не один, — залепетал он, стремился оправдаться и умалить свою вину, — в деревне ходят Кузичев... — Сторож вдруг всхлипнул и непонятно повысил голос — Попутало, попутало меня! Прости! Никому не скажу: не видал, не слыхал про тебя! Не

подымусь боле ни разу! Рот зажму до могилы! Отпусти!

Енка приказала замолчать ему. Она поняла, как был опасен и ненужен этот выстрел сейчас, и решила увести Крохина.

— Вставай! Пойдем!—услышал он суровое повеление неуговоримой бабы.

Спустя час-другой—Григорию Крохину не удалось за темнотой хорошенько даже разглядеть Павла и Сергея и продотрядцев—его затащили в густую чащу и повесили.

Судьба Павла и Сергея разошлась с судьбой Еньки. Убежище больше не охраняло, и жить в нем становилось нельзя. Исполкомцы, каждый только в надежде на свою ловкость и умелость, расстались у землянки. Вскорости один за другим промахнулись Павел и Сергей и попались в подстерегающие западни Шеина. Они отошли верст за сорок, натолкнулись на разъезд, спутались на опросах—и сдались. Продотряды набрели на какую-то красноармейскую часть и вместе с нею остановились у рубежа восставшей волости.

Енька нашлась скорее. Голод подсказал ей выход. С предосторожностями Енька переправилась в соседствующую волость. Там уже было легче.

Тогда-то под окнами и застучалась новая нищенка. Она была скромна, не выпрашивала назойливо и жадно, собирала в обрез для кормежки. Не отступала от окон только тогда, когда застигали ее тут проходившие солдаты, конные, военные обозы и проезжавшее белое начальство.

Выдумка не покидала Еньку. Она решила нищенствовать и постаралась преобразить себя неузнаваемо, излохматила все свое одеяние, извалялась в грязи и в сору. В этом отвратном виде как-то Енька заметила на придорожной канаве Марфушу-юродивую, задума-

лась, внезапно усмехнулась и засияла немытым своим лицом так, точно на него свалилось слепящее радостное солнце и долго не потухало.

Енька пристала к Марфуше непрошеным поводырем. Препятствующих большаков, проселков и обходных тропок больше не существовало. Марфушу-юродивую не трогали и пропускали через все рогатки. Енька преобразилась на полноту: по Заозерью начали бродить, возбуждая смех и сожаление, две блаженненьких. Не всякий мог различить, кто тут был поводырем,—и не различали.

Глава восьмая

Часы с недельным заводом Гайгаров заводил два раза. В эти две страшных недели от начала обороны Загорска он вдруг забыл, какой шел месяц, какие были числа и когда сменялись свет и темнота. Гайгаров даже однажды подумал—не находился ли он в сновидении...

Года изменили мало даже внешний облик бывшего помещения ревкома. Многие вещи лежали подобно прикованным к своим местам и не сдвинулись на толщину паутины. Знакомую комнату не городил больше концертный рояль. Карта лежала не на лакированной спине его, а на жидконогом некрашеном столишке, который вполовину занял рояльное пространство. Исколотая красными флажками, будто весенняя степь в маках, областная карта вместо прежней городской так же привлекала Гайгарова. Он наклонился над ней с трудолюбием садовода, рассаживающего цветы по грядкам.

Били по четвертям часы. Ломберный гайгаровский столик, живуче приткнутый в простенок, был так завален, словно он за трехлетие не убирался. Венский

стул просиделся: взамен плетенки в сиденье вставили деревянный вдавленный круг. С неменьшей усидчивостью, чем раньше, расположился за столом на подновленном стуле Гайгаров и принимал сотни людей, которые безостановочно двигались к нему подобно нескончаемому мотку ниток, рассучиваемому на гигантском колесе.

Опять торопливо появлялись Ворохобин, Монстович, Осташкин, Анохин. Пришли откуда-то новые— Рерих и Войскобойников. Но Гайгаров точно бы знал их уже раньше. Не вместо ли Столбова засохший как кость,—но в кости был мозг,—горел молчаливым пламенем Рерих? Не на смену ли другим, рабочему Семену или ткачу Студенцову, словно заряженный патрон, горячий, дымясь, высекая зубья огня, гремел беспокойный Войскобойников?

Окружающая обстановка наглядно обманывала. Гайгарову показалось, что вся жизнь его была вертящийся волчок, который был запущен незапамятно давно, он не останавливался в круговращении и, видимо, не должен был никогда остановиться. А эту комнату, пусть она даже теперь раздвинулась до пределов целого города, он никогда не покидал.

Гайгаров разобрался в своих прошлых и нынешних переживаниях и не нашел в них различия. Как и тогда, в Октябре, отмерли в нем все разнообразные человеческие мысли и чувства. Он превратился в редкостного человека, только с одним еще не утоленным желанием. Оно вложилось в несколько букв алфавита: о б о р о н а и п о б е д а. Два коротких слова, однако, обладали удивительным значением: Они являлись командующими над всем городом.

Он распался, как по трещине, на две неравных части. Слова эти покоряли и подчиняли всех без разбора. В едином движении город устремился за свои границы.

Его все вычерпывали и вычерпывали—и не могли вычерпать. Уходили дни и не возвращались. А на их место уже готовили других.

По всем улицам шло скороспелое и жадное учение, громыхали грузовики, скакали всадники, угрюмо и тревожно плелись больничные дроги, их обгоняли увертливые мотоциклы, с ревом бежали воинские, облямпанные грязью автомобили, и проходили неостановимой, тревожной походкой густые и черные рабочие предместья. Фабрики и заводы, казармы, учреждения, каждый дом и каждое малое человеческое гнездо не знали тишины, сна, покоя, человек разучился не торопиться, молчать, разглядывать свои руки. Огромный шумящий, суетливый пчельник копошился на городской земле.

В городе не было хлеба, недоставало света, тепла. Люди убывали в тифах, люди валились от голода, замерзали, надрывались под тяжелой ношей сопротивления — и не уступали. Генерала Водовозова били кулаками, рвали зубами, душили за горло, засыпали землей, камнем, отбивали дрекольем—и тысячами тысяч устилали неподступные городские дороги. Раздетые, голодные, безоружные люди заменяли недостающие машины, пушки, пулеметы, снаряды... Враг ломился медленно, осторожно, отчаивался и оглядывался. Но ему не было дороги назад: гибель сопровождала его, как армейский обоз.

Акиндининские стекольщики, анохинские бумажники и мужики Сеньки Кулика крутились на заднем дворе добровольческого хозяйства. Они облюбовали вражескую спину и подкалывали ее. Отряды разделились поровну.

Анохин переправился через Миглеевское озеро в выхоженные рабангские боры и чащи, поднял из тления и праха когда-то служившие ему норы и землянки — и обосновался. Партизаны не засиживались в безделье.

Генерал Водовозов разрывался надвое: он вынужден был беречь свой лоб и закрывать затылок.

Феликс Францевич Фирс не любил докладывать командующему о дерзких проделках тыловых разбойников. Проделки возникали каждый день с точностью выходившего при штабе бюллетеня, который повествовал о всеобщем одолении красных. Генерал не выносил этого фирсовского доклада, негодовал, вскакивал, бегал по ставке и разносил нерасторопных своих соратников. Партизаны раздражали и мешали, как лопавшиеся автомобильные шины в спешной генеральской езде. Фирсу даже снились красные бродячие банды.

Снился ему и сам командующий. Он будто бы метался в какой-то загородке, выпучив глаза, двигал взбешенно усами, и голова кружилась отдельно от тела на длинной прямой палке, как самодвижущийся шар.

Где были добровольцы, там позади коренастым грибным полем вылезали из земли партизаны. Скоро Анохин, Акиндинин и Сенька Кулик взялись за руки с товарищами из других мест, — и партизанская красная завеса протянулась во весь водовозовский тыл.

Тайные дупла по деревням связывали партизанскую вольницу между собой, с армией Рериха и Войскобойникова и со всем светом. Лесной мрак не затмил быстроглазую переметную птицу. Она вылетала на загорские проселки, большаки, подгоняла отстающих, заклевывала, уводила в свои берлоги и кортомила чащобного зверя сытой добычей.

Белая лавина катилась в непроходимой тревоге. Красное обозное воронье отбивало провиант, оружие, снаряды, взрывало мосты, разбирало рельсы, закладывало на путях фугасы, жгло склады, перегрузы, элеваторы...

Вера из упорства не сняла кавалерийского мундира

и не отказалась от трудностей походной жизни. Но конь уже был уступлен более умелому и бесстрашному наезднику. Вера понимала, что конские табуны перевелись за войну в великой чересполосной России, каждая хилая лошаденка была на учете, и генерал Водовозов не давал застаиваться на свободе конскому племени. Вере дали другого, ручного коня.

Прилежанием и усидчивым трудом она объездила его: Вера состояла штабной машинисткой и сидела в уютном седле ундервуда у самой двери кочевого командующего. Она первая в напряженно подставленное ухо узнавала от Фирса невеселые новости о Сеньке Кулике, Анохине, Акиндинине и многих других.

Богоугодное притворство Еньки высоко оценил и одобрил Гайгаров. В радостном изумлении он потирал руки и волновался. Марфуша-юродивая сидела на дворе шеинского особняка, куда ее завела поводырша, пела свою блаженную песенку, а за тайгаровским ломберным столиком поместилась Енька и рассказывала. Гайгаров внимательно разглядывал невыносимые лохмотья посетительницы. С давнишнего пристанища Гайгарова у Еньки между ними не прерывались дружелюбные связи. Во всякий свой приезд в город Енька встречалась с Гайгаровым, и они подолгу не расставались. Нынешнее появление было так нежданно и необычно, что Гайгаров посмеялся над ее одеянием и отправился смотреть Марфушу. Под юродивое пение он невольно припомнил ночную передгрозовую встречу с ней. Марфуша, не подозревая, служила революции.

Енька, как мелкая рыба в широкие сети, проходила через белые и красные фронты. Она разносила незримую городскую почту к товарищам и дозирала за врагом. Она разыскала Анохина. Старый друг захохотал и кинулся обнимать ее, увеселяя свою обомлевшую от

удивления банду. Тогда и открылась новая тайная опора. Енька свела Анохина с богородице-подольской учительницей Агриппиной Ивановной Сверчковой.

Тут, в придорожной школе, собирались уцелевшие деревенские красные. Отсюда же распространялись по деревням большевистские листки, которые призывали к воссозданию советов. Днюя у окон, Агриппина Ивановна наблюдала за загорским большаком, по которому совершалось все тыловое белое движение. С той поры как Анохин и Сверчкова узнали друг друга, у рабангских партизан появились незаметные вестовые. Старые сверчковские школьники не раз успевали предупреждать Анохина о подвигавшихся обозах, о передвижках опасных отрядов и о самонадеянно катившем горделивом белом начальстве. Обозы не доходили, а путешественники не доезжали до положенного им места. Отсюда же, собираемый по комбедским избам, пошел хлеб, а смелая деревенская молодятня дала пополнения.

При партизанской скудости погодились и малые лепаковские склады. Енька и Анохин вспомнили о запасах впрок, сделанных в царские времена. В сухих картофельных ямах вылежались и бомбы, и ручные гранатки, и огнестрельное, и холодное снаряжение, и всякая иная боевая сбруя. Аннушка ахнула, проглотила счастливые слезы, вцепилась в анохинский полушубок в ту внезапно ошеломительную ночь, когда устьеугольский старопрежний гость просунулся, сгибаясь, в низкие избяные двери в Молеве.

Вывозя потайной груз в лесные рабангские закоулки, где приставали с Енькой в войну и дожидались Никандра, Аннушка свиделась с невесткой. Бабий лепаковский дом еще держался на земле. Бабы влипли друг в друга точно близнецы и долго не разжимали объятия. Аннушке нашлась нужная работа: Анохин шутли-

во произвел бабу в партизанского хлебного поставщика. Агриппина Ивановна и Аннушка завели между собою скрытную гостьбу.

Енька завязала и еще один узел. Ученый совет Молочного института со своим совхозским управляющим, профессорами и лаборантами, обладай он пушками, встретил бы праздничными салютами водовозовский переворот. Торжество пришлось ознаменовать скромнее. Сохранились от прошлогодних рождественских елок палочки бенгальских огней. Это невинное детское развлечение и было использовано для фейерверка в честь «великой неделимой России».

Ночное институтское небо вспрыснули радостным кипением шумливого огня,—и совет института собрался на непродолжительное чрезвычайное заседание. Тут под стариковское пение венценосного гимна, без голосования, единодушным порывом, верноподданно восклицая, приняли приветствие дедушке заозерского отечества, большевистскому погубителю, генералу Водовозову.

Однако одной мирной забавой не ограничились. Директору инстутута Краснораменскому и его заместителю Лягавому представлялось необходимым произвести во славу новой эры очистительное умыкание в составе неблагонадежного институтского населения. Тогда шеинские гусары и явились за рабочкомом и всеми подсобными органами.

Председатель Костров ухудшил и осложнил положение. В деревянном его вещевом сундуке нашли дюжину обстрелянных маузеров, а в портретной пачке большевистских вождей—изображение добровольческого командующего, которое было вырезано из какой-то газеты. Костров не сумел ни убедительно, ни толково объяснить страсти к собирательству картинной галлереи. Особенно у него и не допытывались.

Тыловая контрразведка малютствовала в селе Кубенском. Бродячая Енька открыла красную мертвецкую.

Большое расторговавшееся заново купеческое село было гористо и трудно на подъемах, и его нельзя было скоро обойти с милостыней. Подавали к тому же столь щедро, что несчастненькие застряли под благодетельскими окошками на нужное число дней. Анохин воспылал нетерпением. Енька повторяла разведку,—и скоро выбрали подходящую и дерзкую ночь.

На другие сутки обычный утренний доклад Фирса главнокомандующему откладывался и откладывался. Адъютант решался достигать только до Веры, брался за ундервудскую каретку и напуганно косил преданный свой глаз на кабинетные генеральские двери. Сообщение было так неприятно, что хотелось оттянуть его на дольше.

Машинистке не работалось и грустилось. В голубых ее глазах, которые Михаил Георгиевич считал достойными, если бы это было возможно, сохранения в музее, переваливалось какое-то тусклое и скучливое сияние. Она с пренебрежительным и усталым видом морщилась на адъютантскую нерешительность. Вдруг ей штаб представился чрезвычайно тоскливым и сереньким, как выношенный башлык. Она пережила горькое чувство обиды и резкой досады на всех штабных офицеров, точно состоявших в кровном родстве с Фирсом и братски похожих на него. Дикая, шальная партизанская ватага — Вера была не в состоянии отделаться от сравнения ее с благонравной, шепелявой, искательской штабной толпой — кощунственно привлекала и нравилась. И когда наконец Феликс Францевич шагнул к кабинету, Вера зло шепнула:

— Вы бы перекрестились, Фирс!

Адъютант покраснел, заплелся в собственных ногах

и не сразу догадался, в какую сторону открывалась дверь.

— Что вы гремите? — раздалось раздраженное восклицание командующего.

Дверь наглухо захлопнулась. Скоро Вера с ноющим сердцем поехала вскачь на своем металлическом скакуне. Она старалась заглушить беспокойную беготню расстроенного генерала, который помчался из угла в угол, крепко стучал каблуками, шаркал подошвами и, кажется, намеревался враз сносить свои походные сапоги.

Накануне Водовозов засиделся позже полуночи в поисках лучшего оперативного плана, пересоставил его и надеялся ускорить падение Загорска. Оттого такая робость овладела адъютантом. Он не желал омрачать полководческой мысли.

Неудача не влияла в целом на грандиозные операции. Она была таким же малым препятствием, как выщербленный булыжник мостовой под железным колесом броневика. Но она имела все же язвительное жало намека на некую неокончательную продуманность и законченность генеральского сооружения.

Противник был норовист, способен к головокружительным прыжкам, — и его не держали никакие барьеры. Сомнение в задуманном главном ударе отравило адъютантскую душу. Феликс Францевич Фирс опасался снизить генеральское парение. Он поневоле сделал это. Водовозов бешеной поспешностью метания по кабинету прикрывал уныние.

Командующий отвергал партизанскую войну, давно написал о ней насмешливую книгу,— теперь он усомнился в своей старой правде. Разгневанная голова командующего так стремительно подергивалась, что адъютант тут и понял не случайное происхождение своего сна.

В эти поздние часы штабного утра едва-едва поднялись и партизаны. Удача была полная, радостная, горделивая. Председатель рабочкома Костров не сумел удержать чувств. Во сне он плакал и ныл, подавленно бормотал, вскакивал, от кого-то бежал, но пробудился, глянул вокруг, юркнул под изголовье рукой, навесил очки и начал улыбаться.

— Товарищи! Братцы! Братишки! — застыдился он дрогнувшего своего голоса. — Да неужто же нас не израсходовали?

Он не владел собой.

— Да мне впору одуреть! — подскочил на месте счастливый старик, и вдруг, под смех и приветливое одобрение товарищей, он криво изогнулся, затопал, пляшучи обошел малый круг, сунул толстые пальцы в рот и неожиданно для всех по-мальчишески свистнул.

Костровская выходка развеселила партизан. В лесном утре была пахучая, возбуждающая, бодрая прель. Восстановленные силы так же буйствовали в каждом, как прорвались в плясуне.

— Глядите, глядите, — удивленно закричали совхозские, — да ведь старый хрыч и очки уберег в разведке! Не потерялся. Когда же это в такой перепалке?

Все заметили костровские очки, которые он стащил с носа и бережно протирал ухом от ватного пиджака.

— Вот еще оставлять нужную вещь, — проворчал осуждающе Костров, — и то чуть не запамятовал. Из сенцей ворочался.

Теперь на удовлетворенном лице председателя рабочкома улыбка была заметна, как очки.

Анохинский отряд возрос на двадцать пять товарищей.

Кабинетный бег командующего оплодотворил его мысли. Они было запутались, сбились со всякого пра-

вильного строя, но мыслительная связанность продолжалась не дольше, чем потребовалось полководцу пробегаться, профыркаться и прокричаться. От тройственного союза этих неумеренных действий кровяное орошение генеральского мозга полностью восстановилось. Михаил Георгиевич Шеин появился в штабе стремительнее скакового коня.

Командующий стоял посреди кабинета и извергал словесную лаву:

— Поймать! Расстрелять атамана на месте! Четвертовать, чорт возьми! Пытать! Вырезать ему на спине пятиконечную красную звезду!

Гусары смерти двинулись в рабангский поход. Звезду вырезали. Хотя вырезали ее не на атаманской спине, но полем для вырезания послужила спина одного из бумажников. Для вящшего успокоения требовательного вождя зарезанного партизана выдали за Анохина. На опушке леса, на Кубенском тракте, в назидание и устрашение всем мнимого атамана распяли на телеграфном столбе звездой к пешеходам и проезжающим.

На этот раз гусары смерти имели опустошительный успех. Анохинский отряд прозевал и подпустил врага к землянкам. Становище погибло. Отряд с убылью далеко ушел в болотную глубь.

Немного позже, одно к одному, попалась и Агриппина Ивановна.

Отец Никифор Знаменский, расставшись с сыном, пережил странные душевные передряги и несогласия. Они мучили его почти два года. Он не оплакивал убиенного воина и точно бы даже не вспоминал его. Однако он пребывал в непонятных причудах.

Через сорок лет приходского пастырствования отец Никифор вдруг подверг колебаниям свою обомшелую веру. Богохульство потрясло богородице-подольский

приход. Отец Никифор одичал, как бездомный, гонимый бродяга. Мужики в возне смуты мало заглядывали за церковную ограду. Тогда в одиночестве отец Никифор и решил, что быть пусту его ненужной никому и обманувшей церкви. Он поджег ее.

Мужики сразу забыли недосуги, вспомнили о прошлых затратах на молитвенный дом и отстояли его от огня, как отстояли бы общественную магазею. После этого испытания понемногу жизнь Никифора-отступника вернулась с окольного русла в настоящее. Лютый поп восстановил вкус к своему потревоженному бытию: он стал кусаться. Теперь Агриппина Ивановна не провела приглядчивого охранника.

Зимой, в новом году, вернулась из Кубенского школьная сторожиха. Она заболела в контрразведке неразговорчивостью. С оглядкой и опаской ее попервоначалу расспрашивали, — старуха крестилась и безмолвствовала. Не любопытствовал один отец Никифор. В запустовавшей школе сторожиха была больше не нужна. Она приютилась у другой такой же бобылки в Ершове. Почему-то вдруг стало непереносимо старушечьим ушам и глазам служение богородице-подольского батюшки. Разборчивая прихожанка не взирала на лишнюю версту и перенесла свои требы в монашескую обитель. Там она облюбовала икону Варвары великомученицы, валилась перед ней на студеный пол и казалась мертвой. В обтрепанный поминальник старуха так и не осмелилась внести Агриппину и укрыла ее под именем Варвары. Аннушка убереглась от случая.

К человеку с пятиконечной звездой на горбу никто не решался подойти, ни воздать ему последнее на земле. Над мерзлым партизаном день-денской кричали зимовавшие птицы. Они осыпали его пометом и жадно расклевывали. Ночами к столбу сбегались вол-

ки, выли, грызлись за добычу и не могли ее снять с высоты.

Енька с Марфушей-юродивой, точно они уходили куда-то в далекий сбор, отсутствовали около двух месяцев. Они опять начали передвигаться от крыльца к крыльцу. Они и закопали недоклеванные останки придорожного пугала генерала Водовозова.

К тому времени командующий сидел уже в Загорске и починял свою помятую армию. Он не мог предаваться воспоминаниям: неизведанные и непреодолимые дали грядущего захватили все его помыслы.

Загорск защищался пятнадцать дней, — и защита сломилась. В тягучие часы предпоследней ночи Гайгаров внезапно прервал работу, взял обеими руками голову, устало склонился к столу и понуро уставился глазами на сломавшийся цветной карандаш. Тупой кончик красного графита, как застывшая капля крови, вывалился из деревянной оправы и мелко забрызгал бумагу.

Гайгаров долго не изменял положения. Чем продолжительнее оставался он в бездействии, тем причудливее преображалась графитная крошка, принимая самые разнообразные цвета. Напряженное зрение ломило, даже болели виски, но эта игра в превращения занимала Гайгарова. Во всяком случае она как-то отвлекала от всего неприятного, что медлительно-настойчиво накапливалось в последнее время.

Вдруг в сознании Гайгарова явились как будто посторонние, пустые и маленькие мысли,—и графит принял устойчивую, постоянную свою окраску. Мысли эти заставили Гайгарова сморщиться и вернуться к накопленному внутри беспокойству. Гайгарову показалось совершенно не нужным сидеть на стуле и чинить карандаш. Он непроизвольно смахнул уже раздражавший графитный сор куда-то в сторону и вскочил с места.

Гайгаров быстро прошелся до никогда не сбивавшихся часов, для чего-то закрыл ладонью циферблат и застыло постоял. Потом он передвинулся к багровевшей флажками карте. Тогда лишней, как очинка карандаша, представилась ему и передвижка военных вешек.

Под утро, точно старались ступать как можно тише, чтобы кому-то не помешать и чтобы не обратить на себя подчеркнутого внимания, показались Рерих и Войскобойников. Они были столь непроглядно замкнуты, словно хранили в себе тайну, о которой еще не только никто не знал, но даже не мог и догадываться.

Гайгаров оглядел их и сочувственно подумал, что, видимо, до того, как притти сюда, товарищи провели, как и он, озабоченную и мучительную ночь, ходили, думали и, главное, спорили.

Постоянная осторожность в отношениях друг к другу, явственная отчужденность были заметны и сегодня. Военачальники стояли рядом, но это было подневольное соединение: каждый из них был сам по себе, самостоятелен и чужд другому. Бессознательно они были рады присутствию с ними третьего.

Гайгаров не ко времени мельком усмехнулся на шероховатых полководцев. Он сдерживался, пытаясь проявить полнейшее спокойствие, ничем не обнажить тревоги этой значительной минуты, а наоборот, сделать ее заурядной. Гайгаров непринужденно, насколько был в силах, и равнодушно сказал:

— А, вы уже бодрствуете! Очень хорошо. Кстати! Не надо посылать за вами! Я тут кое-что надумал...

Рерих грустно обвел комнату упорными большими, навыкате, глазами и покосился на неловкого, суетливого мрачного Войскобойникова. Тот никак не мог справиться с руками. Они вскидывались к голове и

шевелили волосы, забирались в карманы, застревали у пояса, теребили пуговицы шинели... Войскобойников был красен и потен. Рериху почудилось, что от него как будто шел душный и горячий пар, шинель дымилась, и ворот ее прилип к шее точно в летнюю жару.

— Какое уж кстати! — с отчаянием воскликнул Войскобойников. — Чего станем лицемерить! Генерал нас вздул! Нас одолели! Мы разбиты!..

Отчаяние Войскобойникова представлялось безграничным. Голос его дрожал на таких предельно высоких нотах, так пересекался и захлебывался горечью, как будто Войскобойников каялся перед Гайгаровым в какой-то огромной провинности, которую совершил только он один и вследствие которой Рерих привел его сюда на суд.

— Очень плохо, — неповоротливо, почти шопотом произнес Рерих и как-то обиженно взглянул на Гайгарова, — необходимо отступление верст на тридцать.

Войскобойников беспрерывно мигал, глотал слюну и беспорядочно шевелился, покуда говорил Рерих и рассказывал Гайгарову, как надо отвести армию на подготовленные и укрепленные раньше позиции. Слова подбирались трудно. Рерих говорил покачиваясь— и этим движнием помогал себе. Было ясно, что он все время чувствовал Войскобойникова и думал о нем. Командиры принесли с собой незаконченную ссору.

Войскобойников скоро и взорвался. Он раздражился деловитостью и толковостью Рериха, с какими тот просто и точно, без всяких затруднений разводил по местам разбитую армию. Войскобойникова всегда раздражала неколебимая, какая-то внешне мертвая, бесчувственная уверенность Рериха.

— Ты торжествуешь надо мной!—вспыхнул Войскобойников и перебил Рериха, когда тот будто бы намекнул на обнаруженную еще в начале защиты Загор-

ска горячность и поспешность.—Так напрасно! Мы мы... все рабочие-максималисты!.. Нам надо все. Мы, мы не постепеновцы! В этом наше отличие... от меньшевиков!..

Рерих с нескрываемым негодованием защищался от кощунственной неправды.

— Ты должен принимать лекарство!

Гайгаров вмешался. Он уже отступал. Лицо у него было нечеловечески бледно. На бескровном поле, мертвенно неподвижном, светились неослабевавшие мыслью глаза. Углубленные, они словно видели гораздо больше, чем глаза соперничавших реввоенсоветчиков. Они примиряюще прищурились и приглядывались к ним.

— Товарищи,—с легчайшей досадой промолвил Гайгаров,—сейчас нужны не препирательства. Никто ни в чем не виноват. Могут же победы и поражения чередоваться. Мы должны быть готовы и к тем и к другим. Никакой неожиданности нет. Положение определилось раньше. Кое-какие меры мы уже приняли. Кое-что вывезли. Некоторых крепких большевиков перевели в подполье. Будем отступать, пока это нужно... Конечно, в расчете на возвращение.

Гайгаров, как никогда в эту пятнадцатидневную оборону Загорска, научился привередливо относиться к людям. Он разделил их на два пласта и не хотел признавать ничего промежуточного и рыхлого между ними. Порой он осуждал себя в узости, но все же не отказывался от схемы. Герои и малодушные, были ли то товарищи или просто горожане, населяли осажденный Загорск. Рерих и Войскобойников относились к первым,—и Гайгаров ошеломил обоих. Он неожиданно взял их за руки и соединил вместе.

В тягостный канун сдачи города Гайгарову пришлось еще больше укрепиться в правильности его людского отбора. Малодушные наводняли улицы, бежа-

ли, спотыкались, разносили ядовитую пыль уныния и прятались по щелям, как на морозе тараканы. Малодушных знал и шеинский особняк. Ян Монстович свертывал свои чекистские мрежи, настигал фронтовых беглецов и брезгливо убирал их. Загорск пал.

Енька с Марфушей-юродивой остались на базаре и усердно домогались милостыни у освобожденных от большевиков патриотов. На радостях, под колокольный звон, под проходившую военную музыку, под похоронно-протяжное пение имперского гимна подавали наперебой, подавали из последнего, подавали с умилением и с исконной привязанностью к худоумным.

В конце трехнедельного сбора, когда в ненасытной любознательности Енька заглянула и пролезла в каждый доступный и неохраняемый от юродивых угол, — от добровольческих казарм до парадного входа генерал-губернаторского дворца, где прославленно и почетно разместился главнокомандующий,— и случилось ей дополнить слежку очевиденьем одной гибели...

Бегучая, зловещая, жадная, заглотившая соборную площадь толпа накатилась сразу. Яростный вой и крики будто заглушали все иные голоса. Сидевшая на панели у собора Енька тотчас начала поднимать Марфушу. Неостановимо прущее человеческое смешение подхватило блаженненьких, отшвырнуло в сторону и прижало к железной ограде. Марфуша недовольно заупрямилась, отталкивалась руками от несущихся мимо людей — и не шла дальше. Енька вынужденно и бессильно застряла.

Вдалеке вздымались над человечьими головами помавающие конские морды. Кавалерия шла густо. Впереди ее под трехцветными знаменами—в безветрии они напоминали зонтики в аляповатых чехлах—несли тупые широкопузые барабаны. Там между конницей кого-то вели. Енька приподнялась на цыпочки и узнала Ми-

хаила Георгиевича Шеина с его гусарами смерти. Она с притворной дурашливостью спросила у толпы нараспев:

— Ково, православные кормильцы наши, волочете-то?

Поспешно проходили дальше, посмеивались на убогую и не отвечали. Енька повторила вопрос. И тогда какой-то большой, неизвестно чему блаженно-радостный дядя шутливо удовлетворил ее:

— Большевистских шлюх ведем, мать святая богородица! Следуй на Торговую — потеха предстоит! Нищих пирогами станем одаривать!

Енька чуть не вскрикнула. Она была не в силах дождаться, пока схлынет толпа, и насильно потащила упиравшуюся Марфушу. Юродивая вдруг завопила и расцарапала Енькины руки. Тогда и помогло усмирявшее буйствующую Марфушу средство. Енька шепнула ей на ухо:

— Пойдем, Марфинька, канфеты там!

— Леденцы, леденцы! — взвыла сияющая блаженная и ринулась вперед.

Теперь уже ее надо было удерживать. Енька воспользовалась, подтолкнула Марфушу в переулок, обогнала шествие и вышла как раз против конницы.

Еще одно мгновение — и Еньку бы присоединили к ведомым.

С криком она протянула руки и выскочила на дорогу. Ближний гусар взмахнул отгоняющей плеткой. Но Енька и сама опомнилась.

Ксения Гайгарова и Енька коротко впились друг в друга глазами. Первой отвела их Ксения. Она многозначительно прищурилась и явно не одобрила опасный и неосторожный крик товарища.

Еньку оттерли на угол. Маленькая Ксения была уже густо заслонена. Енька в беспамятном безразличии

пропускала мимо себя толпу. Марфуша теребила поводыря и плаксиво звала итти за леденцами. Миновали почти последние кучи,—и только тогда Енька припомнила других знакомых товарищей, которые находились рядом с Гайгаровой.

Генерал Водовозов справлял новое патриотическое торжество. Енька с тоской отчаяния поняла, что это вели на казнь подпольщиков, оставленных в городе и выловленных контрразведкой.

Высокую триумфальную арку — ее большевики воздвигли поперек Торговой улицы в честь октябрьских побед — белый победитель украсил вторым полукружием из повешенных. Взамен содранных красных эмблем на оголенном челе арки черно и крупно грозила надпись:

ПОВЕШЕНЫ ЗА ТО, ЧТО ПОШЛИ ПРОТИВ ВЕЛИКОЙ НЕДЕЛИМОЙ РОССИИ.

Енька на другой день выбиралась из города и прочитала это надгробное. Она выглянула из-под низко опущенного платка, дрогнула, смертная ненависть поднялась к горлу, пошевелила невнятно бормочущие губы, — и наблюдательница отвернулась.

Удавленники еще висели. Около виселицы толклись немногочисленные присмиревшие зеваки и целые табунки детей всех возрастов. Они, казалось, сбегались отовсюду. Дети любопытно разглядывали мертвую арку. И взрослые и малые люди переговаривались шопотом. Тишина была и дальше лобного места. Бойкая и крикливая Торговая улица как-то вдруг страшно опустела, точно прекратили по ней людское и конское движение.

Нежданная загорская вестница нескоро разыскала Гайгарова. Наконец под вечер какого-то дня в прифронтовой деревушке, верст за пятьдесят от Торговой

улицы, она вошла к нему. Изба была полна товарищей.

Гайгаров медленно и тяжело встал. Тогда Еньке почудилось, что и тут, как у водовозовского эшафота, родилось не колеблемое даже вздохом молчание.

Вдруг около Гайгарова образовалось порожнее пространство. Все отдалились от стола в углы, к стенам, к лавкам... Гайгаров крошечными глотками начал пить воду из стакана и не мог. Он осторожно поставил стакан. Но разбуженная вода долго еще дрожала и сверкала сквозь стекло.

Гайгаров закурил папиросу, сделал одну-две затяжки—и бросил. Он оглядел расширенными и малопонимающими глазами избу, он попытался пройтись по ней— и остановился.

— Ах да, — шаря голову и даже застенчиво усмехнувшись, сказал Гайгаров,—что-то у меня внезапно отшибло память... Да... Я хотел сказать...

На него не смотрели. Никто не шевелился.

Гайгаров сначала был удивлен этой немой неподвижностью, для чего-то рассеянно погладил Енькины лохмотья на рукаве, а потом встряхнулся и неверно продолжил:

— Впрочем... дайте мне, товарищи, немного побыть одному...

Тут Енька вышла со всеми и обессилела, опустилась на крылечную ступеньку, прислушалась к бессмысленному щебетанью Марфуши и тихонько заплакала. Незвано пережитое, задавленное вновь оказалось живучим в сердце. Дальние и близкие обступили утраты. Енька вызвала перед собой Никандра и даже крохотного покойного сына, и даже убитого Ваську Ивнягова...

Марфуша забеспокоилась, задумалась о чем-то и принялась утешать ее вгромь, в дикий голос. Слышал и

Гайгаров, как под окнами трепетала заунывная юродская песня:

Ваня не был, Ваня не был, Ваня был...
Ваня не был, Ваня не был, Ваня был...

Глава девятая.

Казалось немотствующие московские сорок сороков готовы были откликнуться на загорские колокола. Мечтательные и нетерпеливые счетчики времени назначали неустранимые сроки. Время же было как непреодолимая кирпичная стена. Праздничный звон откладывался. Слободчиков, Пустозеров и Саватьев возились с образованием загорского правительства, которое так и не родилось.

Генерал Водовозов владычествовал. И шли месяцы. На третьем — по пленении Загорска — самовластный конь, однако, крепко споткнулся и повредил копыто. Полковник Оранский и Войскобойников схватились на недалеких путях к Москве. И Оранский поворотил назад. Это заиграла предутренняя сигнальная труба красных. Она выходила из ремонта.

Черные, с ночной неприветливостью во взглядах, попробовали встать загорские рабочие окраины. На генерала Водовозова плеснул точно никогда не остывающий кипяток — и ошпарил. Преждевременное пробуждение взбаламутило сонный, за ставнями, белый город. Но рабочих сумели уложить в кровати.

И генерал Водовозов познал горькую трудность бессонниц. Красными взрывными фонтанами вспыхивали склады, цейхгаузы, мосты, вокзалы, пристани, казармы, офицерские клубы... Белая пороша листовок, как пироксилиновыми пряниками, засыпала улицы. Контрразведка размножила свои темные подвалы. Тогда глаза командующего и ослепила расплавленным свер-

канием хвостастая бомба. Коляска успела проскочить точно ловкая ящерица, и полководец не оглянулся на сорванную фуражку. Ее доставили после...

Генерала Водовозова ловили, стерегли,—он не попадался. Но выезды редчали и редчали. Земля уже огнедышала, и облавные роковые флажки незримо обкладывали проездные генеральские пространства.

В ту пору Водовозов и почувствовал себя в заточении. Как он ни был брав и неувядаем в надеждах, заточение было непереносимо. У властелина отнимали могущество. Командующий оскорбленно кричал во дворце, грозил смелевшей улице и с предосторожностями прогуливался в укрытом стеной аршинном садике сзади своей тюрьмы. Он имел достаточно досуга вытоптать садовые дорожки. Генерал гораздо удачнее занимался этим делом, чем обдумыванием того положения, в котором находился. Водовозова тяготило неведение: он ничего не понимал.

Полководец давно и бесповоротно отвернулся от неисправимого рабочего города. Но даже, даже мужики обманывали! Командующий ежедневно требовал утреннюю сводку о мужицких вольностях. Покорное доселе мужицкое сугорбие выпрямлялось. Деревенская десятина не шла впрок разгневанному генералу.

Мужики уже искали неглубокие броды к переправе на другой берег.

Снова по всему Заозерью стали запретны мужицкой сохе барские земли, снова заказаны и леса, и воды, и пастбища, и луга, снова гугнивые поповские амвоны возглашали хвалу самодержавному праху, и гусары смерти скакали на всем конском маху, с неправедной управой.

Генерал Водовозов видел, что все вокруг ополчается на него, смятая трава встает, точно непослушный

ерш на голове, земля прорастает лесами, и ветки хлещут по глазам, осыпаются горы, выходят из меженей реки и озера, и злой встречный ветер треплет, как беспомощный сарафан, серую генеральскую крылатку.

Командующий так и не узнал в безымянной повешенной — Ксении Гайгаровой. Подпольщики не открывались даже в смерти. Того требовало подполье. Не узнал этого и Михаил Георгиевич Шеин. Но он не мог ошибиться в других.

Генерал Водовозов горевал о недостававшей ему свободе передвижения. Вдруг однажды он выглянул на запрещенную улицу из узнического окна и позавидовал двум нищим. То Енька и Марфуша пялили на него заинтересованные глаза.

Одновременно с такими завистливыми переживаниями полководца Шеин ужаснулся своей свободе. Дедушка Николай Петрович, этот снова как наливной от розовости старичок, этот грустящий недавно эмигрант в собственном отечестве, с бабушкой причалили к фамильному юровскому склепу. Стариковское изгнание кончилось. Внук водворил предков в поместный ковчег.

Мужики и рабочие задирали и не переводились в Заозерьи. Из подземелий изъяли новых большевиков. Показательное вешение применяли не ко всем. Убирали негласно. Михаил Георгиевич устал от усмирений и проникся родовыми привязанностями. Внук навестил обрадованного деда.

Но радостная побывка прервалась, точно лопнувшая жила. Тут, за слиянием речек Софьюшки и Дери-Нога, из ветвистой путаницы на Михаила Георгиевича и наскочили молодые братаны Еремины Иван и Сидор и Настасья Евстигнеева. Опознали их потом. Предводитель гусаров смерти оберегал свою жизнь. Он знал, как были неверны и гибельны земляные проиэ-

растания для неумолимого покорителя красных, как в каждом кусте могла затаиться подстерегающая месть с оскаленной пастью, — наездническая охрана скакала впереди и позади примерного внука до юровского подъезда. И здесь, в Юрове, где он набирался родной успокоительной благодати, которую источали всякий семейственный пень и всякая памятная былина, Шеин, однако, не разоружался от огнестрельных доспехов.

Он оплошал по нужде. Видимо дрожали нетерпеливые ереминские руки или помешали колючие сучья, которые прикрыли ружейные дула. Но два братских выстрела не достигли полной цели. Отпрыгнула, сплющилась и не пробила медную поясную пряжку одна пуля, а густая бекасинная дробь из берданки только растрепала шеинское шинельное обмундирование и милостиво наколола плечо. Шеин ошеломленно отпрянул, повернул к бегству, выволок на бегу револьвер, уронил первого стрелка и свистнул... Уцелевший Еремин снова выстрелил в Шеина и свалил его.

Но уже приближался топот спасительных шагов. Сидор позвал лежавшего ничком в прутьях брата, тот попытался подняться и ослабел. Между деревьев скакали гусарские френчи. Сидор поспешно полез обратно.

Настасья сделала короткий прыжок до Шеина, дико что-то забормотала и сильно сунула острый вересовый прут в голубой глаз офицера. Стрела с красным корешком стала прямо, как подпорка в цветке. Настасью захватили в первой же тесноте кустарника. Сидора взяли дальше. Черная повязка на выколотом глазу Шеина осталась унылой памятью этого мстительного нападения ершовских мужиков и бесноватой бабы. Командир гусаров смерти поплатился за березниковских исполкомщиков.

Еще до взятия Загорска Шеин внезапно вспомнил

о прежде не любимой тетке Марье Николаевне. Он кинулся на розыски Павла Евстигнеева. Наконец, Павел попался, а за ним следом Сергей Еремин. Тогда в Юрове и произошло одно событие. Михаил Георгиевич не мог предполагать о страшных последствиях из-за него.

Павла и Сергея не добили в кубенском застенке и привезли в юровские конюшни. Деревенские упирались и не шли на предстоящую барскую потеху. В гневе на мужицкое ослушание, Шеин выпустил гусаров смерти, плети взвились и щелкнули, как у разводящих вечернее стадо пастухов,—и к павильону в Юрове согнали Ершово, Молево и Березники.

Павел и Сергей долго стояли связанными, в сторонке, спиной к широкопоставой лиственнице. Михаил Георгиевич явно тянул казнь.

Приговоренные томились этой выставкой. Они не сомневались в исходе, не хотели его отсрочивать, но глум казался обидным,—и подымалось злобное возмущение. Павел наконец не удержался.

— Ну же, ваше благородие, — яростно закричал он, — орудуй! Ни на том, ни на этом свете боле не встречаться! Жалею, не вывалил тебя в свое время, змееныша, под обрыв! Папаше твоему свернули лошади неразумную голову—и тебе бы ее раскроить, щенок! Расправляй узкие плечики — пора!

Михаил Георгиевич вздрогнул и суетливо схватился за револьвер. Что-то ему мешало, где-то задело—и оружие никак не отцеплялось. Павел выигрывал время.

— Покуда твоя взяла! — в негодовании продолжал он.—Но помни, перед своим концом говорю, глаза уже закрываются мои: зря надеетесь! Не прыгать вам впредь с ветки на ветку воробьями! Придет вам конец, чирикальщикам! Раздавит вас всех, проклятые, наша

сила! Тешь, что ли, скорее теткин нрав, а то давай я тебя, пащенка, застрелю!

Михаил Георгиевич внезапно пережил какой-то страшный холод и тоску. Голос Павла поразил его похожестью с неуемным бунтом горицкого председателя исполкома Михаила Черепанова. Точно тот остался жить в Павле и теперь снова напоминал о себе. И такие были неистребимы. Офицер съежился.

Павел и Сергей дерзко уставились на Михаила Георгиевича. Шеин вяло махнул рукой всадникам, которые ближе находились к павильону.

— Ты бы сам нас застрелил, гадина! — выкрикнул ненавистно Павел. — Али ручки забрыкались? Да где уж тебе! Зови своих пешек: они мужики крепкие! Вон Федька Боков летит. Ему стрельнуть в человека—все равно что ручку у сепаратора повернуть! Жалко, и мне не довелось показать тебе, какие мы, большевики, до вашего брата добренькие! Разуважил бы тебя собственноручно!

Всадники, с Федором Боковым впереди, снялись.

Исполкомцы не успели упасть, как мужики кинулись в разбег. Шеин подумал было остановить их и поколебался. И вдруг он решил, что уже добился своего: мужики вняли неповадному примеру.

Настасья и братья Еремины не были допущены на казнь. Михаил Георгиевич опасался бабьего воя и лишней возни с родственниками. Из злорадства он, однако, выдал им трупы казненных.

И вот, затаенные в нетерпеливых месяцах, те же люди расквитались с ним.

Михаил Георгиевич диким и отчаянным буйством отметил свое выздоровление от нетяжкого ранения в спину. Потерянный, прикрытый трауром глаз не стеснял ни проворства беспощадных рук, ни пламенной

гневливости к врагам. Он выбил и старика Ивнягова, и австрийский отпрыск Настасьи, и всю еревинскую родовую. Лепаковский дом беспризорно зачах. Енька увела Аннушку в город — и тем спасла ее от ненасытного юровского кривого. Драная, изнасилованная, будто отданная на откуп гусарам смерти, Березниковская волость оплачивала свой неосмысленный бунт за хлеб...

Черная повязка на шеинском глазу дала Михаилу Георгиевичу полковничьи погоны. Но настойчивые поджигатели сновали вокруг Юрова. Одноглазый полковник нес бдительную сторожку и отрядил лишний взвод из своих гусаров для охраны.

Генерал Водовозов громометал в Загорске и подбирал отъявленных слуг. Они помогали ему и в городе и в деревне приближать тот полуночный генеральский час, который был не задержим никакими препятствиями.

Одним из генеральских радетелей, пыливших на разогнанных тарантасах заозерские крестьянские дороги, был и Леонид Григорьевич Саблин. Он скоро отвоевал, радостно отступил перед нетронутыми короедом времени военачальниками и устремился вслед за дружескими колесами Николая Петровича в свое Старое Куркино. Оно уже пахло свежей послебольшевистской краской. Печаль от приключения с будущим зятем-циклопом овеяла веселый возврат в собственнические лона. Но как и все печали на земле, она была изгладима. Молодой задор жизни обуял Леонида Григорьевича Саблина.

Мечты Веры о воскрешении помещичьего века почти осуществлялись. Она, не заменимая никакой другой ближайшей наперсницей у дверей генерала Водовозова, хранила ратный свой обет и не кинулась за полоумно торопившимся отцом. Она позволяла ему окончательно обстроиться. Вера показалась только на новоселье.

Оно было ознаменовано совершенно символичным восстановлением попранного герба рода Саблиных. Вотчина оскудела движимым имуществом, которое мужики вполне и без всяких видимых следов растратили. В вотчине не осталось ни коней, ни коров, мебельные гарнитуры ополовинились, разнобойны были гостиные и залы, и канделябры, и жирондели, и гобелены. Но и все задешево подновленное сверкало, плавилось, переливалось безмерным возрождением. Сам Леонид Григорьевич разметал и очищал садовые тропинки от лиственных перин, которые накопились в беспризорное трехлетие.

Старое Куркино начинало новую блистательную свою эру.

Тут, в общей законопатке дыр и прорех, вспомнили о каменной бабе, сиротствующей на Березниковской горе. В воссоздаваемом былом оказывался существенный пробел.

Сидение на березниковском воеводстве Михаила Георгиевича послужило потешной затейливости новосельного перевоза статуи. Полковник Шеин делал своей невесте редкостный по занимательности подарок. И для Веры и для Леонида Григорьевича с супругой таинственными знаками и намеками было наполнено это водворение на пустевший цоколь каменного урода.

Гусары смерти были пущены к приведению в новую покорность ершовских, молевских и ближнеокружных мужиков. Леонид Григорьевич разворошил свои памятные кладовые и безошибочно нанес на разлинованный лист виновных в вывозе барина из усадьбы.

Пал черед и Платону Кутькову отвечать за прошлые провинности. Безвозвратно убыли многие, не с кого было взыскивать за главное,—но потеха удалась. Леонид Григорьевич куражливо и начальственно покрики-

вал и гордецки нес краснооколышную свою дворянскую фуражку. На Березниковской горе был нынче для него сладостный и охмеляющий пир чувств. Мужики покорно и мрачно усердствовали в бережном поднятии каменного чудовища и трусливо озирались на черный рубец шеинской головы. Тому же дохлому мерину Платона Кутькова, с подпряженной на подмогу терехинской кобылкой, довелось тащить из придорожной побывки на старое жилье саблинского болвана.

Лакированная коляска с дамами увеселительно прибыла к самому началу. Тут прикорнули в теплой близости друг к другу, в жажде породниться, две старушки — Шеина и Саблина, а Вера помещалась на облучке, рядом с кучером. Николай Петрович влез на освобожденного из-под гусара смерти коня—давно он не езжал,—сконфуженно улыбался от этого не забытого еще наезднического счастья, важно отдувал ало-атласные щеки и даже подтанцовывал вокруг дамской коляски.

Верин глаз в каком-то неожиданном повороте вдруг заметил зеленые пушистые перышки на круглой бадейке кучера. Внезапный бой встревожил ее сердце, как частый-частый стук в двери. Как будто бы мирная, усыпляющая, убаюкивающая устойчивость бытия снизошла на нее... В такой шапочке она видела всех саблинских кучеров с детства. Но через одно мгновение это чувство сменили грусть, беспокойство, неверное дрожание руки в перчатке.

Сотни полторы мужиков, которых не отпустили и наказующе гнали до Старого Куркина, увеселяли и бодрили когда-то посрамленное и запуганное естество Леонида Григорьевича. Он зло посмеивался, подъезжал к дамам, наклонялся с коня, указывал плеткой на бредущих гуртом в молчании мужиков и высокомерно подшучивал:

— Они... как колокол... везут к себе в приход!..

Полковник Шеин невесело сопровождал каменную бабу. Со времени своего ранения он не знал покоя ни на минуту. А еще раньше—от расстрела Павла и Сергея—он навязчиво сомневался в успехе того дела, которому яростно и злобно служил. Теперь он неприязненно думал о мужицком безмолвии и ожесточался. Впереди замкнуто топотали подбитые, но всегда опасные враги. Михаила Георгиевича отвращали эти рваные, неловко скроенные, грязные, никогда не чистившиеся мужицкие пиджаки и штаны. Ему казалось, он гонит какой-то двуногий, довременно послушный и вредный скот... Порою ему делалось жутко от этой близости к мужикам, и он невольно задерживал коня, чтобы промежуток между ним и мужиками был больше.

О мужиках тревожно думали даже Николай Петрович и Елена Дмитриевна. Они никак не могли привыкнуть к черному шраму на глазу внука. Мужики представлялись им как затихшие змеи в густой сенокосной траве.

Вера как будто даже не смотрела на мужиков. Ей и не нужно было смотреть. Каждое утро она доверительно печатала на ундервуде секретные доклады о мужиках, которые составлял Феликс Францевич для командующего. Они были так красноречиво страшны, что эти несмелые, служившие ныне саблинскому роду перевозчики каменной бабы не доставляли ей никакого устойчивого удовлетворения. Они были случайно поверженными. Прежние ее мечтания о возвеличении Старого Куркина исполнялись как-то по-иному, робко, с незатаенной отравой. Словно бы все происходившее на дороге вплоть до Верина участия представляло жалкую и унылую игру, за которую, может быть, придется еще сугубо отвечать. Черная ленточка, вязавшая женихов глаз, еще сильнее омрачила ее мечты.

Вера думала о почетной боевой ране у мужа, но

представляла ее скрытой от всех, тайной, не безобразившей дорогого лица. Вера часто казнилась и не могла примириться с черной вехой на утраченном глазу. Она содрогалась, но борьба с собой не приводила ни к чему. Вера была бы не в состоянии открыть повязку и взглянуть на мертвую чернь ресниц. Вера боялась разлюбить. Сегодня она тоже покосилась вбок на Михаила Георгиевича и почувствовала дрожь. И тогда поверженных мужиков совсем не стало. Она заметила едкую густую дорожную пыль, которую подняли мужицкие сапоги.

Когда на подправленный заново постамент уставили тысячелетнее тупое божество, — а перед тем убрали с него следы придорожного небрежения — птичий помет, — и каменная рожа богини точно ухмыльнулась новоселам на господской террасе, — Леонид Григоревич внезапно помрачнел. Резко, повелительно взмахнул рукой на бабу и безнадежно крикнул мужикам:

— Вот ее надлежащее место!

Толпа сначала не отобразила никаких чувств, а потом кто-то из гущи ее скромненько, но с лукавством заметил:

— Бог дал, бог и взял!

Разрозненную, непарную пушку Леонид Григорьевич не захотел видеть на своем восстановленном крыльце, как неприятную память о старых ранах, — и ее не перевозили.

Мужики торопились наверстать быстрой ходьбой разбитый рабочий день. Гусары смерти обогнали их. Ни те, ни другие, казалось, не обратили внимания друг на друга.

Платон Кутьков и Терехин изменили деревенским. Они свернули на объездной ближний проселок и тронули свою нескладную пару. Мужики начинали несколько раз — и не могли разговориться. Наконец где-

то в пути Платон Кутьков нашел то, о чем думал и Терехин, и сам говоривший, и всякий встречный мужик, и баба. Платон Кутьков тягуче, уныло, насмешливо, словно у него болело каждое живое место, сказал:

— Солдатушек дай, коровку дай, хлебушка дай, с грядок отсыпь! Чужие земли и лесочки объявились: межи господские, монастырские, поповские, государственные!.. То не моги, другое не трожь! Всех ублажай и со всеми делись!.. А мужичку-то что же, други милые? Ему-то кто чего посулил? Терехин, а Терехин, ты не знаешь, почто это сызнова бариньё в волости гуляет?

Терехин недружелюбно взглянул на соседа, точно бы в его вопросе был ненужный подвох. Платон Кутьков горестно и покаянно воскрикнул:

— Не-ет, Тереха, так не годится! К большевичку надо в пояс: отгоняй к лешему оводов! С большевиком помиримся! Ровно бы от родства отказались не совсем складно! Нынче водой не разольешь. Побаловались некстати. В своей семье раздор. А враг настоящий—по затылку!

В новосельный саблинский день старшина иностранных миссий потребовал от генерала Водовозова решающих мероприятий и погрозил отъездом. Океанские корабли не ослабляли паров и готовились к отплытию. Командующий изменился в лице, грузно встал напротив не хотевшего садиться и спешившего англичанина и тихо обещал наступление.

Глава десятая

Двойня загадочных офицерских ключей во внутреннем кармане френча Яна Монстовича совершала длительные и причудливые рейсы. Ключи странствовали по всему Заозерью, отступали и наступали, укрывались в провальных бегствующих фронтовых обстоятель-

ствах, перебывали в сотнях замочных скважин и попробовали перевернуться. Лукавую усмешку, скорее — малое зерно оной рождали глаза Монстовича, когда он разглядывал простенькие грубоватые поделки Фомы. Он уже знал имя мастера. Молчаливый клад для всех и каждого носил председатель в карманном укрытии. Терпеливое сердце Монстовича оценивало его иначе. И по праву.

Незадолго перед укладкой к отъезду загорской Чеки прилуцкий архимандрит Феофан и пожелал продлить свое пребывание на заозерской земле. Доселе судьба не затмевалась по-настоящему ни разу. Двухгодовавшие большевики были неприятны. Опасные знаменья проявлялись в большевистском пронырстве во всякую чужую надобь и не сулили ничего хорошего. Но покуда, по занятости, они были не хуже прежних, ничему не мешавших богохульников. Прилуцкая обитель питала и обещала оставаться таковою без назначения предельных сроков. Единственно хлопотливыми казались Феофану неоднократные поездки в загорский централ. Но и они постепенно приобрели столь знакомый характер, что воспринимались как времяутрачиваемое переездное повторение.

В тюрьме так привыкли к непоседливому архимандриту и обжились с ним, что озорничавшие уголовные даже ухитрялись на прогулках подходить к нему за кощунственным благословением. Надзирательский смех сопровождал эту увеселительную церемонию.

Наконец наступило и безвыходное омрачение обстоятельств. Достигали тогда уже до тюремных окошек дальние, но явственнные пушки генерала Водовозова. Архимандрит окончательно убедился, что е... еще не доводилось встречаться с большей людской недоверчивостью, чем та, которой почему-то отличался Ян Монстович. Председатель не владел уликами против

Феофана, а заподозренно усмехался, не отставал и требовал сознания. Архимандрит тянул с ответами, как купец, откладывавший платежи. И Монстович и архимандрит прислушивались к близящимся пушкам генерала Водовозова. Они следили друг за другом — и оба задумывались, каждый на свой лад.

Тут скоро ядра «великой неделимой России» загремели будто о городские крыши, и пушечное приближение ускорилось, и уголовные разнузданно дожидались отпуска на волю. Но Феофану пришлось наблюдать в одиночестве молневое и громокипящее движение генеральской бури. Ян Монстович показал архимандриту пальцем на останки заката, багрянисто влезавшего в узенькое решетчатое окно, и сказал:

— Пора, отец архимандрит! Пушки близко. В кого-нибудь из нас они должны попасть!

Феофан понял предупредительное иносказание, но и напоследок с проверкой и хитрецой обернулся в невинно судимого человека.

— А не пролетит мимо?

— Нет, только в цель, — отрубил Монстович и взглянул на архимандрита с такой пустотой во взоре, словно уж никого не было в направлении его взгляда.

Председатель вдруг утратил любопытство к посещениям заключенного, — и тот заскучал. Архимандрит, как продавец, стоял за базарным лотком и отчаянно запрашивал, торговался, преувеличивал цену. Монстович не оспаривал понятной и ненасытимой алчности. И торг состоялся.

Монстович кинулся за Фомой. Слесарь, однако, безоглядно исчез. Тому предшествовали уважительные обстоятельства. Чекистский соглядатай, выйдя от Фомы, когда тот догадливо уселся в угол около своего производственного хлама и прищурил хитрое зрение, действительно прилип с проверкой к окну. Но он мог

сколько угодно разглядывать безвыразительную спину кустаря. Легкая испарина, как от усталой лошади, стекала с широких плеч Фомы. Однако она была и незаметна из-за стекол и, конечно, неподсудна.

Фома отсидел без движения достаточно долго, чтобы наблюдение за ним могло надоесть. Потом Фома лениво вышел из неподвижного состояния и с озабоченным лицом занялся продолжением прерванных трудов.

Не пойманный слесарь заждался возвращения архимандрита. Недоверчивость к людскому языку вдруг обеспокоила его,—и не захотелось оставаться в Прилуках. Сергунька Никуличев открыл Фоме бегствующие свои планы. Сергуньку встревоженный молчальник и выбрал новой пристанью полезного своего слесарного ремесла. Монстович жалел о несостоявшейся встрече.

Генерал Водовозов подходил к Загорску. Умирая вместе с преосвященным Александром, поваром его Питиримом и соборным клиром, Феофан с последней досадой на этом свете понял, что он просчитался и что доверие — худшее из человеческих качеств. То же думали другие заложники—инженер Именинников, упраздненный городской голова Овчинин, кадетствующий студент Лизунков и многие иные и прочие, которые решили спасать свои потасканные и злопыхательские жизни предсмертной болтливостью. Они запаздывали с сознанием преступлений.

— Иезуиты! — взвизгнул потрясенным голосом Лизунков и беспамятно задергал пуговицы с потускневшими двухглавыми орлами на двухбортной своей студенческой тужурке.—Инквизиторы!

Брошенный вызов его имел такое малое значение, что Монстович даже не повернул головы к неистовому студенту.

Заговор, как полузакрытый глаз, своевременно не был предупрежден. Он открылся по сю сторону водовозовских пушек. Монстович приберегал ключи.

Генерал Водовозов так и не успел исполнить своего обещания: наступление не состоялось. Рерих и Войскобойников опередили его. Командующий пожалел свое заточение, когда пришлось отбывать из Загорска. Заточение было неприятно, связывало генеральские действия, но все-таки полководец еще грозил, полководец еще был победителем, его боялись. Теперь обратное движение его не устоявших легионов напоминало стремительное бегство вспугнутых конских табунов в степи. Генеральская звезда устала висеть на небосклоне, мерклый свет ее, погасая, кончался. Она не отставала от бегущих комет, теряла в блеске и настойчиво плыла с загорского неба. Она остановилась там, откуда получила начало. Командующий отступил до Гориц.

Белые разбегались, как пойманные хозяином грабители.

Одни уносили в руках, подмышками, на спинах узлы с набранными жадно вещами, другие гнали порожняком. Рерих и Войскобойников научили быстроте не только отечественных патриотов, а и пришлых печальников о непослушно вихрастой заозерской стороне. Миссии развили славную отъездную скоропалительность. Они бросали хорошо упакованные ящики сигарет, недоеденный шоколад, недопитое виски. Они роздали последние чаевые неудачным союзникам. Промахнувшиеся генералы, эсеры, советники, консулы, послы ринулись к дымившим океанским кораблям. Неловколапый варвар неосторожно замахнулся дробительным, как кувалда, кулаком.

Миссии обгоняли друг друга, озирались по сторонам, принимали неоглядные российские кочки за вылезающих из земли большевиков и мчались с проклятиями

на сумбурность непокладистого российского государства. Туземные соратники миссий цеплялись за них.

Миссиям было не до того. Их сталкивали. Они бежали вслед. Они подобострастно замирали у высоких спасительных подмостей на океанские корабли. Туда пропускали с разбором — и отгоняли неподходящих. Беглецы висели мартышками на причальных канатах, плыли, ползли в сутолоке между бочек, ящиков и тюков...

Слободчиков, Пустозеров и Саватьев отстали. Течение унеслось раньше. Они все еще доверчиво оглядывались назад. Они с тайным томлением ожидали, что заозерские рабочие и мужики еще установят безбольшевистское благоденствие.

Слободчиков, Пустозеров и Саватьев опасались оказаться в отлучке в самую дорогую пору. Они не хотели заставлять разыскивать себя.

Мечтатели задержались дольше, чем это требовалось. В конце концов и они повлеклись к тем же океанским пристаням. Путники, кажется, пробирались самыми узкими и тайными лесными тропинками. Осторожностью своих шагов они не вспугивали дремавшего в глуши зверя. И тем не менее вскорости были захвачены поодиночке и собраны опять вместе.

Загорские незадачливые министры с чувством виновности и смущения встретились с Яном Монстовичем. Но они и в это свидание не вложили того необходимого смысла, который как будто бы подразумевался. Для Яна Монстовича он был неоспоримо ясен и нестерпимо жгуч. И председатель не пожелал узнать министров. Он хмуро, с резкой повелительностью взглянул на Слободчикова. Почему-то впервые, за долгое знакомство с ним, заметил чрезвычайно глупую бороду последнего. Она напоминала круглую пушистую сапожную щетку у сидящего на углу чистильщика сапог.

Монстович пережил еще большую недоброжелательность.

Голова Пустозерова начал походить на тупой квадратно большой черный хлеб машинного изготовления, а Саватьев представился каким-то старым чиновником самого низшего разряда. Хотя Монстович и допрашивал обвиняемых, но скоро сделалось совершенно понятным всем четверым, что им незачем и не о чем было разговаривать и даже было странным оставаться в одной комнате. Тогда Монстович и позвал стражу, небрежно и непочтительно махнул рукой на присмиревших демократических сановников и громко произнес:

— Возьмите!

Солдаты замешались.

— Да, — рассердился Монстович на недогадливость подчиненных, которые сбились с установленной системы и сомневались там, где сомнение не могло быть даже допустимо, — рас-стре-лять!

Стража выпрямилась и окружила приговоренных.

— Ян! Янушек! — горько, но точно не верил в распоряжение Монстовича, пытался подчеркнуть всю его случайность, немыслимость и даже жестокость, воскликнул Слободчиков. — Ты забыл... десять лет... совместной каторги! Орловский централ! Наши общие... выступления!

Председатель изумленно покачал головой и словно поразился непонятливости, чудовищной непонятливости Слободчикова. Монстович гадливо поморщился и отрицательно, черство процедил:

— Этого никогда не было! Ты не оттуда начинаешь летоисчисление!

Пустозеров и Саватьев не просили помилования. Они попытались выразить полнейшее равнодушие к приговору. Они были, однако, жалки, как и Слободчиков.

Щеки председателя неудержимо передергивало.

— Ты с Загорска считай! — продолжал морщиться Монстович. — Ты десять тысяч положенных под Загорском рабочих помнишь? А? Твоя каторга — это пустое!

Монстович вскочил из-за стола. Он сделал такое нетерпеливое, судорожное движение всем телом, точно уже был не в силах выносить присутствие рядом с собой этих людей.

— И эти... тоже... п-политические каторжане! — с презрением бросил Монстович Пустозерову и Саватьеву.

Тут Слободчиков сделал неестественную гримасу.

— Ты заготовил палача или сам нас застрелишь? — спросил он с последней укоризной.

Ян Монстович даже на какое-то время задумался, как будто решая — не лучше ли ему самому совершить наказание.

— Что же! Могу и я, если бы понадобилось... — ответил он.— Каждый революционер не откажется от этой полезной и честной работы.

В одиночестве Монстович испытал такое отвращение, точно никогда до сей поры по-настоящему не знал этого чувства. Оно возобновлялось не раз и потом. Ян Монстович выдирал чертополох, который разросся под трудолюбивыми лейками белых. Чувство это сопровождало председателя на всем его круголесном пути по Заозерью.

По беглым проселкам вслед за белыми вельможами двинулась мелюзга. Она спасалась от заработанных кар.

Ян Монстович вылавливал эту мелочь. Она была явно коварна и способна продаться на каждом базаре и торгу.

Игумен Агафадор мысленно пересчитал свои даяния

на укрепление «великой неделимой России», даже съездил на исторический хуторок Митинские Угодья, где кое-что в запас собственнолично припрятал,— и раздумался на три дня. Фреска на западной стене Мошенского собора, изображавшая страшный суд, была сущим пустяком в сравнении с предстоящим земным.

Агафадор приступил к спешной укладке избранного скарба, который ценился на любом материке. В необъятный чемодан игумен ненасытно погрузил золотые потиры, чаши, кресты, панагии, венчики и дарственные драгоценные каменья, ободрав их с ризничных икон.

Безбедное проживание изгнанника, казалось, было снаряжено и хорошо обеспечено. Незаезженные монастырские кони покатили бы кожаное хранилище агафадоровских прогонных сокровищ. Еще не все были перерублены уводящие на свободу заозерские тракты. Чемодан уже вынес в коляску дебелый келейник, и кучер натягивал вожжи. Но тут безназванная обительская трава — Феогност и Маркелка сновали среди нее — воспротивилась разлуке с главноначальствующим. Отъезд в закордонные государства не состоялся. На той же коляске, чтобы снискать прощение и пощаду, Агафадора вместе с чемоданом отправили к Яну Монстовичу.

Океанское плавание удалось Сергуньке Никуличеву. Фома починил ему все чемоданные замки и ушел с Уфтюги в нескончаемые крестьянские дали. В то время как Сергунька с последним грузовым пароходом, который увозил последние штабеля никуличевского леса, глядел на покидаемые берега отечества, переставшего быть купеческим, Фома мастерил деревенскую утварь и отдалялся от заозерских краев в непуганые места. Чистые полевые ветры продули ему свихнутую голову. Фома понемногу, но довольно рассудительно

разобрался, что в заозерской схватке он получил нелегкое ранение. Он, подобно Сергуньке, сделался бездомным.

Чистокровная никуличевская поросль, которая плыла на английском судне, уже повеселела и осудила как смехотворную слабость свое отъездное прощальное малодушие. Сергунькина веселость произошла от бережно ощупываемой в кармане чековой книжки одного из лондонских банков. На ней числились заозерские рощи и лесничества, которые были превращены в полновесные доллары и фунты стерлингов.

Сергунька, по унаследованной отцовской недоверчивости к пустотелым крикунам-генералам, не обольщался победными успехами полководца Водовозова. Он испытал непочетное, безденежное ночное привратничество в Прилуках, размыслил о гибели предка, уверился в большевистской понятливости и не пожелал подвергнуться второму расхитительному опыту. Сергунька хранил новоприобретенные капиталы не дома и не в ползучей российской валюте. Последнюю он держал толиками на скудный житейский размен. Сергунька уже замышлял побег...

Беглец покачивался на океанской струе. Он с внезапным прозрением понял смысл и значение своего плавания. Отечество было не позади, а впереди, где лежали послушные Сергунькины деньги. Непроходимое блистание искр возникло в его раскосо-азиатских, узеньких глазках.

А Фома, чем продолжительнее было его скитание в деревнях, тем сильнее переживал одиночество. Рана каких-то еще неясных до конца угрызений тревожила его и увеличивалась от недобровольных шатаний. Старые хозяева исчезли. Фома остался один со своим ремеслом. Но он мог не замечать исчезновения прежних заказчиков.

Бродяжничество, хотя и с запозданием, уврачевало нескладное сердце Фомы. Когда пришло раскаяние за прошлое, когда он сознал, что неизвестно почему мастер Фома находился по отдельности от других таких же мастеров и даже против них, то он тогда неожиданно увидал взамен утраченного нового хозяина.

И в городе и в деревне из каждого окна выглядывал настоящий и не оскудевающий заказчик. Фома понял, для кого он должен был работать, — и ему стало невыносимо отлучение. Фома рискнул объявиться в Загорске. Это произошло уже в нэпманское затишье, когда ключи от горицкой калитки хранились уже у коменданта уездной партшколы, которая была расквартирована в теплых корпусах набедившей обители. Объявление сошло Фоме; кустарь-одиночка вступил в кооперативную артель. В будущем — Фома поглядывал — ему не миновать завода... Не выдаваясь ничем, он затерялся среди остальных синеблузников.

Затерялись и другие, незаметно, как подсолнух в подсолнухе. Но то были заозерские тли. Константин Андреянович Косарев — потом и семейство соединилось с ним, Василий Дормидонтович Бураков не высидели на Моше, не перенесли приближения красного водоворота и кинулись в бега. Напуганные до смертельного часа Косарев и Бураков обогнули на сотню-другую верст Загорск и пригнали в Москву. Они снова понесли торговое радостное бремя. Оба обзавелись по ларю и по палатке. Один — на Смоленском рынке, другой на Ананьевском. Прасол Чепакин не тронулся никуда из смирного и темного угла своей избы. По безголосию его там и забыли. Отец Никифор развязал руки Яну Монстовичу прежде, чем тот успел затратить часы нужного и дорогого времени на проказливого попа: он во благовремении умер сам.

Сорвались, как застоялые настеганные кони от

трактиров и постоялых дворов, все, кто спокойно не мог оглянуться назад, кто знал за собой непрощаемые вины. Взвилась вся нечистая заозерская птица.

Войскобойников рьяно очищал Уфтюгу, Устье-Угольское. Сенька Кулик с Анкидининым добивали. Точно рыба с обнаженным хребтом была умирающая водовозовская армия. Ее рвали на части, обкусывали с боков, не давали ей уходить в глубину и неумолимо загоняли на мель. Мужицкое колебание кончилось. За Сенькой Куликом шла вся бедняцкая и середняцкая волость. Он не мог нарадоваться этому превращению. Сомневаться теперь было не в чем. Вчерашние продотряды на тех же дорогах вместе с мужиками подстерегали и ловили белых. Союз был восстановлен и заново запаян.

Снялись впопыхах, но своевременно, губернский комиссар Репьев с братом и домочадцами, Владимир Викентьевич Семенков с супругой. Снялась вся сановная тьма, военщина не у дел, раздетые донага и с сейфами помещики, чиновники, фабриканты...

Сенька Кулик с Анкидининым шмыгнули за озеро на подмогу рабангскому волоку с Анохиным и Костровым.

Тогда и пригодились сбереженные Яном Монстовичем ключи от горицкого потайного подземелья.

Но раньше, чем проникли туда, Костров схитрил и управился с Молочным институтом. Он обрадовался замене малосильного своего отряда ядреными крупными сборищами Сеньки Кулика с Анкидининым.

— Я братцы, отлучусь ненадолго, — сказал Костров,— весь я обдырявился... да и головорезы мои не чище... Ныне пора подфрантиться... Мы мигом оборотим!

Директору института Краснораменскому и заместителю его Лягавому с профессорами и лаборантами не пришлось снова собираться на патриотическое вече.

Костров поднял с нагретых ночных постелей всех, кого было нужно, и доставил в Загорск К Яну Монстовичу. Он подражал своему бывшему начальству. За совхозскими смельчаками белые даже не выслали погони.

Енька с Марфушей-юродивой бродяжила около Горицкой обители и высматривала расположение водовозовских дружин. И уже назначена была ночь нападения. Партизаны потянулись в горицкие трущобы и обложили монастырь по выверенным проходам.

Они точно сидели кружком у горевшего костра, видели через огонь друг друга, и глаза отражали жадное трепещущее пламя.

Сенька Кулик, так же как Ян Монстович, часто проверял ключи за пазухой. Другим ключом владел в беспокойстве Анохин.

Накануне, под вечер, когда подготовка была закончена и Енька с Марфушей уходили стороной к стоянке Сеньки Кулика, чтобы провести его первым к калитке, верстах в двух от обители на них выскочил конный Федор Боков. Енька низко опустила на глаза платок. Но она уже была узнана.

— Енька! — всмотрелся и как будто радостно воскликнул Боков. — Марфуша!

Он недолго приходил в себя, зло засмеялся, наклонился чуть вперед к конской гриве и заглянул под Енькин платок.

— А ну, подними же, подними платочек! Чего ты прячешься от своих деревенских? Али надобность чувствуешь?

Марфуша передразнила каждое движение Федора Бокова.

— С нищими связалась! — уже полный подозрений, злобно допрашивал гусар смерти и подъехал вплот-

ную к Еньке. — Что ты здесь делаешь? Выслеживаешь?

Он заметно положил руку на эфес сабли. Енька не замедлила. Покуда она схватила левой рукой за поводья, а правую сунула в тряпье на груди, вырвала револьвер и выстрелила в маслодела, он успел чуть выдернуть саблю, отпрянул и завалился на бок. Енька не выпустила коня. Он поднял ее от земли. Енька повисла на морде и удержала его.

Никогда в жизни Енька так не спешила, как в эту затруднительную минуту. И никогда в жизни она не испытывала большей ловкости и проворства. Быстро привязала коня к дереву, стянула на землю Бокова, отволокла его подальше с дороги в чащу и завалила хворостом.

Марфуша с разверстым ртом и выпученными глазами наблюдала, как Енька влезла на коня, не оглянулась и помчалась прочь. Марфуша продолжительное время оставалась в забытьи. Потом долго и внимательно разглядывала красные пятна на дороге, чему-то ужаснулась и, как кошка лапкой, осторожно закидала следы крови грязью. Марфуша посидела еще, о чем-то вспомнила — прищурилась и кинулась в чащу, куда был оттащен Федор Боков. Скоро с завываньями она выбежала из лесу и бросилась догонять Еньку.

Назначенное дело не было надобности откладывать. И оно состоялось. Енька провела до калитки Сеньку Кулика и Анохина с товарищами. Генерал Водовозов, полковник Оранский, Феликс Францевич Фирс, Вера, Калерия легли в эту судную ночь. Конь Федора Бокова унес Еньку обратно с отступавшими после тревоги партизанами.

Михаил Георгиевич Шеин принял командование над армией. Оно уже было никому не нужно. Рерих и Войскобойников накидывали на белых смертную петлю.

Глава одиннадцатая

Завершение радужной жизни Николая Петровича Шеина и Леонида Григорьевича Саблина — при них остались одни унылующие подруги — представляло такой своевольный зигзаг, о котором не мог бы догадаться ни один прорицатель, если бы таковые даже водились на этой недогадливой земле. Побитый саблинский зять, куда-то гоня мокрого своего коня, поздним ночным часом подъехал к освещенному окну в Старом Куркине, склонился второпях к узкой щелке в разошедшихся занавесях, с рванувшей болью заметил затянутое в траур стенное зеркало и бережно постучал.

— Уезжайте! Уезжайте! Скорее! Сегодня же! — отчаянно зашептал полковник Шеин в форточку дрожавшему от холода и страха Саблину. — Все погибло. Мы разбиты. Торопитесь! Вот возьмите это!

Михаил Георгиевич сунул темнозеленоватую книжку старику, не сказал больше ни слова, захлопнул форточку и поскакал к воротам. Леонид Григорьевич с недоумением откинул корочку книжки и оторопел. В руках его находился паспорт какого-то Петра Васильевича Утюгова. Как ни плохо он соображал от перепуга — понял и благодарно принял этот самый драгоценнейший из драгоценнейших подарков, какие только в такие мгновения и ценятся. Супруги Утюговы совершили почти немедленный отъезд и не загрузили себя лишними поклажами. Так же был снабжен и дедушка Николай Петрович. Он превратился в одноименного владельца бессрочной книжки, но с фамилией Тугунова.

Превратное людское бытие явно усмехалось, как обманчивая луна. Простейший, часто с соринкой хлеб безработных и незатейливое варево, пониженная оплата коммунальных услуг, освобождение от взносов за

углы в подвалах явились единственными желаниями новых нелегальных граждан города Загорска.

Николай Петрович торговал зубочистками. Это домашнее изделие Елены Дмитриевны, которая дошла в его изготовлении до умопомрачительной скорости, покупали так мало, что в тугуновской каморке, во-первых, обнаружилось перепроизводство, а во-вторых, продавец сделался удивительным и даже возмущающим скрягой. Он ворчал за каждую насущную покупку, считал ее в слепом скупердяйстве недопустимым роскошеством и расточительством.

Леонид Григорьевич торговал газетами. Сначала он продавал их в горделивом молчании. Но так как кричавшие мальчишки выручали больше,— они хвастались выручкой перед конкурентом, — то и ему пришлось перейти к тому же способу продажи. Саблин с завистливой нетерпеливостью, сперва в стеснении и неловкости, каким-то баском с хрипотой, еле слышным для обыкновенного уха, а потом с громогласием, достаточным даже для глухонемых, начал возглашать:

— «Красное Заозерье»! Берите «Красное Заозереье»! Новая вылазка классового врага! Победа Коммунистического интернационала! Происки контрреволюции в Одессе!

Так туго и круто повернулось пребывание на свете этих людей. Оно было теперь очень просто, не без некоторых удобств: две дружественных четы явственно закалялись в здоровьи, перестав переедать.

Михаил Георгиевич Шеин перевязал глаз и щеку пуховым серым платком как бы от флюса. Он встречал родичей и не признавался. Он не испытывал к ним никакой жалости. Ему было даже невмоготу при этих встречах удержаться от презрительной гримасы. Полковник Шеин думал теперь об одном себе.

Полковник Шеин был упорен и обидчив. Он из

упорства не пожелал сдаться и безопасно внести свой дорожный груз на океанский корабль. Он теперь жаждал одной мести. Он был растерзан, опустошен, но он пренебрегал уроками Рериха и Войскобойникова. Он пытался вызвать новые прибои.

Михаил Георгиевич, как довоенный коммивояжер, рыскал по Союзу и предлагал из-под полы запрещенные товары. Он появлялся везде, где вскакивали еще порой в малосильном бунте неусмиренные деревни, волости, кучки и шайки невыловленных бандитов. Но все это уже была мелкая рябь: буря не подымала валов и не расплескивалась в пьяной и грохочущей пене. Российская земля укачивалась и замирала в ненарушимой устойчивости.

Тогда он и понял окончательное, неустранимое уничтожение свое. Он сознался, что истратил себя всего, как близкие торговцы зубочистками и газетами.

— — — — — — — — — — — — — — —

Прошло полгода после горицкой ночи. Стояла первая спокойная осень в Заозерьи, с дождями и утренниками. Жизнь снова тронулась. Слежка Яна Монстовича нащупывала все ближе и ближе полковника Шеина. Она опутывала его, как цепкая заросль. Она наконец вынудила Михаила Георгиевича оставить Загорск.

Тут, в прилуцком придорожном леске, Шеин передохнул от утомительной гонки и припомнил долгое отсутствие из мест своей недавней громовой славы. Он скорчился от мучительной загнанности, в которой теперь находился. Вдруг он увидал, что земля стала узкой, пространства исчезли, и для него был еще свободен какой-то невместительный клин. Михаил Георгиевич решил, что и не следовало ему пытаться перешагнуть за эту черту.

Шеин задумался, машинально сунул руку в карман и потрогал нагретый револьвер. Внезапно опалила его величайшая грусть заброшенности, и он отдернул руку. Ему показалось, что весь окружающий его мир стал чужим.

Михаил Георгиевич долго находился в леске и прятался в кустах от каждого птичьего и звериного шороха. Он наглухо перетягивал лицо платком, чтобы совершенно, до неузнаваемости изменить себя. Он еще пытался укрыться от неизбежного конца. Он настойчиво думал о возможности спасения, взвешивая свои вины и проступки, и к ужасу своему не находил им оправдания. Он не мог рассчитывать на снисхождение...

Тем не менее мгновениями он еще на что-то надеялся. Вдруг приходило желание вскочить с места, без оглядки броситься в город, принести раскаяние и, может быть, в какой-то мере избегнуть суровой и заслуженной расплаты. Михаил Георгиевич выходил на дорогу, делал немного шагов по направлению к городу — и опрометью кидался обратно...

Тут он в полнейшем малодушии и пожалел, что отстал от беглецов и своевременно не покинул пределы роковой земли. Безвыходная западня прочно и непроницаемо захлопывалась.

Михаил Георгиевич до глубокой ночи скрывался в последнем своем убежище. По темному проселку, только бы куда-то уйти подальше от стерегущего города, только бы не прислушиваться к подозрительному и пугающему ропоту деревьев в ночи, он медленно и вяло вышел в поле. Здесь хватил по нему бесприютный и пронзительный ветер. Михаил Георгиевич ощутил дикую пустоту и ненужность своей ночной дороги: куда, зачем, для чего?

В этот час, как никогда, он понял, что значило быть выброшенным из жизни, как грозно, неумолимо

и непереносимо человеческое одиночество. Без смысла и без цели он прошагал несколько часов. Грязь застыла. Итти было удобно. Невольно с каким-то пренебрежительным сожалением к себе он порадовался, что хоть это удобство не было отнято от него.

Под утро пешеход вдруг опомнился и начал узнавать знакомые юровские места. И тогда пришли непроизвольные желания. Михаилу Георгиевичу почему-то внезапно захотелось достигнуть своей усадьбы. Эта мысль странно и прихотливо увлекла его. Он даже оживился, зашагал увереннее и бодрее. Усадьба манила. Ему во что бы то ни стало сделалось необходимым посмотреть на нее и узнать, что же с ней произошло за долгие месяцы его подневольного бродяжничества.

Стремление его исполнилось. Михаил Георгиевич вошел в знакомый парк. Он узнал то, что явилось для вернувшегося хозяина невыносимым. На юровской подновленной крыше на небольшом шестике мотался скромный красный флажок.

Михаил Георгиевич на минуту отвернулся.

Несмотря на рань и полное безлюдье, бывший владелец трусливо постоял за деревом, огляделся и осторожно начал переходить от ствола к стволу. Он не решился приблизиться к самому дому. Шеина не ждали: в родовой его колыбели была школа. Михаил Георгиевич с гримасой приковался к вывеске между свежевыбеленных пилястров по фронтону. Зрелище это отвращало его. Он так возмутился, что не пожелал больше никуда двинуться. Бессильно и скучно Шеин опустился на холодную землю, прислонился к заиндевевшей лиственнице и уныло сгорбился...

Тут его в неподвижности и заметили ребятишки, пробегавшие парком к началу занятий. Звонкоголосая школьная пасека окружила незнакомца. Он молчаливо повиновался суровой сторожихе Ольге и безногому

ее мужу Федору. Тому он отдал и револьвер. Ольга сразу узнала беглеца и вцепилась в него. Припомнил ее и Шеин.

Михаил Георгиевич, казалось, ничего не соображал, он только весь продрог и был рад, что его наконец ввели в теплую школу и заперли в учительской.

Покуда Шеин, безучастный и спокойный, отогревался, сияющая Ольга уже неслась со всех ног в исполком. Федор неотступно охранял под окнами нежданного гостя и в волнении держал на изготовке отобранный револьвер. Уроки в школе не надолго перебились, но их уже налаживал недовольный беспорядком школьрук.

Предводитель гусаров смерти сдался незадолго до празднования четвертой годовщины Октябрьской революции. В этот день косвенно упомянули и о нем. В Дворце труда, — где год назад генерал Водовозов принимал старшину иностранных миссий и подобострастно опускал купленные руки по швам, — происходило грустное и горделивое собрание загорских рабочих. Нарядная, в цветной кофточке, Енька сидела в президиуме между Ворохобиным и Монстовичем. Похудевший, с召 сединкой на висках, Гайгаров говорил:

— Товарищи! Сегодня мы вспоминаем тех, кто работал для нас. Без них не было бы этого победного вечера. Мы должны помнить: павшие дали нам примеры героического самопожертвования. Они отдали свою кровь капля за каплей за дело рабочего класса. И мы, если борьба этого потребует, повторим тот же путь. Товарищи, мы ведь в свою очередь работаем для нашего радостного сегодня и для тех, кто еще не родился, мы работаем для живущих и следующих за нами поколений трудящихся! Здравствуют эти счастливые!

Москва 1929 — 1930 годы

МОСКОВСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ

Иллюстрированная серия

Иван Батрак. Басни. Рисунки Б. Рыбченкова

Демьян Бедный. Восток. Поэмы. Рисунки Т. Мавриной

Артем Веселый. Гуляй Волга. Рисунки Д. Дарана

Леонид Гроссман. Записки Д'Аршиака. Рис. Н. Кузьмина

Александр Жаров. Москва. Рисунки В. Милашевского

Иван Катаев. Сердце. Рисунки Д. Дарана

А. Новиков-Прибой. Бегство. Рисунки В. Милашевского

Дмитрий Стонов. Голубая кость. Рисунки В. Эльконина

Москва, Ветошный ряд, 11.